

ДМИТРИЙ САВИЦКИЙ

НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ



im WERDEN-VERLAG
МОСКВА - AUGSBURG 2003



Дмитрий Савицкий. Автопортрет. 2000

© Дмитрий Савицкий «Никогда с любовью».
Новое, авторское исправленное и восстановленное издание, 2003

ПЕЧАТАЕТСЯ С РАЗРЕШЕНИЯ АВТОРА

© Электронное издание, «Im-Werden-Verlag», 2002

<http://www.imwerden.de>
info@imwerden.de

Предисловие автора к четвертому изданию

Свежим как порез сентябрьским днем среднего роста человек, небритый и одетый в дранные джинсы и старый свитер, волок мимо ресторана «Свиная нога», мимо корзин с устрицами, мимо розового в черных пятнах поросенка на цепи, мимо лежбища клошаров на ступеньках Святого Евстахия два больших грязно-серых мешка, на которых черной краской было отпечатано US Mail. Свернув в подворотню дома 19 по улице Дня, миновав плющом увитый дворик, человек выругался на неизвестном языке, и открыв стеклянную дверь ключом, оставив один мешок у ступней древней, мореного дуба, лестницы, второй потащил на четвертый французский этаж. Увы, на пятый — русский. С красным лицом и всклокоченными волосами человек вернулся за вторым мешком, пропустил надушенную герленом тень спускающейся соседки и, взвалив US Mail на спину, по синему бобрику ковра начал опять карабкаться на этот самый этаж, к распахнутой двери небольшой студии, в окнах которой громоздились, закрывая небо, старые кости церкви Святого Евстахия.

Чуть позже человек сидел со стаканом пива на бамбуковом к балке потолка подвешенном кресле, рассматривая содержимое мешков. В одном среди бумажного крошева были видны вполне уцелевшие, в мягком ковре, книги, в другом была битая перебитая бумажная масса, составленная из сотен разрозненных страниц.

То был мой первый роман, вышедший по-русски в Нью-Йорке, в издательстве «Третья Волна». Издатель слово свое сдержал и сто оговоренных экземпляров прислал дешевой, Second Class, US Mail, измолотившей почти восемьдесят экземпляров в пыль и крошку.

На обложке этого первого издания был ночной фонтан на площади Конкорд, Эйфелева башня вдали и мокрый после дождя асфальт. На обороте: автор с удивительно толстой ряхой, в смокинге, взятом напрокат в крошечной лавочке на улице Бюси для поездки в Зальцбург на музыкальный фестиваль, где было назначено интервью с Джесси Норман. Без смокинга на фестиваль не пускали, отчего, наверное, автор и смотрел в объектив с плохо скрываемой мукой. Впрочем, у каждого свои отношения с зеркалами.

Эпиграф к роману зудел у меня в голове гораздо раньше, чем я приступил к самому тексту. Строки цветаевского перевода «Плаванья» Бодлера, особенно первая часть, горели в небе первых лет моей эмиграции неонам страховой компании. Гораздо труднее было найти название. В итоге из Нью-Йорка прилетела открытка от Иосифа Бродского (как всегда с самолетом на картинке), который на мою просьбу разрешить выдернуть полстрочки из «Ниоткуда с любовью, надцатого мартабря...» лаконично отвечал: «Валяйте!» Но если для русского уха, тем более для тех, кто жил стихами, название аукалось именно так, как мне хотелось, во французском переводе название (Bons Baisers de Nulle Part) звучало как обещание очередное истории Джеймса Бэ, агента 007, что попортило мне позже немало крови.

Второе, уже перестроечное, издание «Ниоткуда» открыло серию «Русское Зарубежье» и было приурочено издательством «Радуга» ко дню рождения автора в 91 году, но на празднование в Третьем Риме автор не явился по той причине, что веря в возможность перемещения в пространстве, не поверил в возможность оного во времени...

Третье, совершенно кошмарное издание, с девицей вооруженной пистолетом, родной племянницей Джеймса Бэ, на обложке, вышло в Питере в 95 году в издательстве «ВИС» и долго пугало меня идеей найти девице работу, т. е. и вправду написать детектив.

В новом четвертом издании частично восстановлена по тексту «Третьей волны» та часть словаря, что носит в России удивительное название «ненормативной» лексики.

Переводы романа на французский, итальянский и английский языки были мероприятиями разной степени неуклюжести или даже — неудачи. Литературный перевод (в отличии от

перевода технического) на Западе оплачивается чрезвычайно скупо. И в области этой обитают либо безработные дамы, в молодости флиртовавшие с русским языком, либо люди состоятельные и переводящие амбиций ради, либо делающие карьеру слависты. Последние обычно имеют своих авторов, гневных кобылок литературы и политики, на которых они позднее выезжают под своды различных университетов, то бишь — кафедр. Проще — их ориентация скорее идеологическая, нежели стилистическая.

Устная переводчица из Юнеско, где за день, сидя в наушниках у микрофона, можно заработать столько же, сколько русскому автору выдадут за три рассказа в толстом журнале, обладала прекрасным письменным французским, что было несомненно удачей для книги, но весьма тощим русским, так что непонятные слова в моем тексте она выясняла в кулуарах Юнеско, у коллег по службе. В этом смысле можно считать, что частично перевод «Ниоткуда» на французский был занятием коллективным. Текст мой вызывал однако у переводчицы массу неудовольствия. Так к примеру, не знакомая даже поверхностно с библией, она понятия не имела, как перевести Песню Песен и откровенно пожаловалась, что ей пришлось впервые в жизни приобрести этот древний бестселлер, чтобы взглянуть на любовную песнь царя Давида, а заодно и узнать кое-что о царице Савской...

Перевод — кошмар для любого автора. Большая часть переводчиков, увы, не переводит, а импровизирует на тему текста; не ищет лингвистические параллели, а пытается догадаться, что именно имел в виду автор. Мне повезло один единственный раз: «Вальс для К.» на английский перевел хоть и устный переводчик из той же конторы (Юнеско), но настоящий лингвист. Я помню, как он предложил мне заменить кота, который был «веса дорогой колбасы», на английский пудинг, который, пропитанный сливочным маслом и виски, на весах тянет и вправду побольше...

Французский перевод получил специальную премию. Дело в том, что книга вышла в тот день, когда забастовали хозяева книжных лавок, что было равнозначно аутодафе. Наши книготорговцы могут взять у издателей новую книгу бесплатно лишь на две недели, через две недели они должны платить несколько сантимов в день или в месяц, бог их знает, за право держать на полке нового автора. Если за эти две недели ваша книга не пошла, ее отсылают обратно. Проще, изданная книга не обязательно появляется на книжных полках. Автора приканчивают не злые критики (эти лишь помогают ему выжить), а книготорговцы, отказывающиеся представлять его публике. Поэтому быть изданным во Франции не значит ровным счетом ничего. До того момента, пока ваша книга мало-мальски не пошла, вы не существуете.

Жан Бло, нынешний, кажется, президент нашего Пен-Клуба, решил «перезапустить» роман, дав ему премию, но в ту эпоху он был всего лишь навсегда председателем комиссии по переводу. Так, впрочем вполне приличный по сравнению с двумя предыдущими книгами, перевод был отмечен славной премией местного парижского Союза Писателей.

Английские права на роман я умудрился продать дважды. При этом роман никогда не был напечатан. Англичане купили права вскоре после выхода текста по-французски, но когда я получил гранки на проверку, я полез на стенку. Милейшая будущая оксфордская преподавательница русской литературы и член жюри премии Букера переводила коньки, как лыжи, а линию Мажино и впрямь считала линией метро... Я отослал перевод Бродскому, который ответил мне письмом на английском языке. Письмо было адресовано мне, но предназначено для издателя и по содержанию было вполне убийственным. Но на второй перевод издательство не пошло и контракт был расторгнут. Деньги однако были переведены моему американскому литагенту, что частично смягчило мою ярость.

После выхода в США в «Evergreen» «Вальса для К.» в переводе Кингслей Шортера, я познакомился в Нью-Йорке с издателем Гров-Пресс (который и выпускал альманах «Evergreen») — Барней Россетом. Россет был легендой, человеком свалившим американскую цензуру, уговорившим Генри Миллера перестать бояться что его линчуют, человеком

опубликовавшим «Тропик Рака». Он же, Россет, опубликовал и первый перевод «Тропика» на русский, так как считал, что книга эта нанесет коммунизму более сильный удар, нежели вооруженные силы НАТО. Россет же издал в США и большую часть современной европейской литературы, от Жана Жене, Самуэля Бекетта и до Славомира Мрожека и Маргэрит Дюрас. Заключить контракт с Россетом было не просто честью, а удовольствием. Контракт был подписан, а через несколько месяцев Барней продал свое издательство дочери нефтяного магната Анн Гетти с правом сохранения списка своих авторов и — директорского кресла.

Я помню Барней Россета с хайболлом виски в десять утра в его офисе в Гринич-Виллэджд: условия договора с Гетти были нарушены, Барней лишили президентского кресла... Мои надежды на то, что второй перевод будет сделан Кингслей Шортером на трансатлантическом английском, понятным на двух берегах Атлантики, превратились в дым... Лишь финансовая часть контракта, иногда литагенты все же приносят пользу, опять была выполнена.

Насколько я знаю, итальянский перевод, вышедший в филиале «Гарзанти» в Милане продается и до сих пор...

Но я больше не предлагаю роман западным издателям. Эпохи той нет, но она еще слишком близка к этой, нынешней, и поэтому расшифровка текста, не жившими в те лихорадочные годы, мне кажется невозможной. Советская Россия была огромным заповедником скуки и преступлений, подконтрольных радостей и герметического бунта, пространством, заселенным, по словам одного французского психоаналитика «детьми разного возраста», и в наших приключениях и страстях жил наивный идеализм не взрослеющих поколений. Последующая ломка была встречей этого наивного сознания с реальностью. Поэзия кончилась, началась проза. Хорошая то была поэзия или плохая неважно, хорошая или плохая началась проза — тоже. Принцип реальности, от которого и зависит взросление, если не восторжествовал, то начал пускать корни. И если нынче ко мне в Париж и доходят отклики читателей именно этой книги, то в них слышна, увы, ностальгия по взрослому детству, всё выпирающему сквозь насильственное взросление.

И последнее. Меня часто спрашивают — автобиографический ли это роман? Я думаю любые стихи, любая проза автобиографичны даже если они написаны про насекомых или строительство пирамид Египта. Мадам Бовари была Флобером и Герберт Уэллс, описывая марсиан, рассказывал о самом себе. И в этом смысле «Ниоткуда с любовью» это действительно ниоткуда и явно с любовью, то есть то, что и произошло с вашим покорным слугою. А раз так, то можно забыть про эпоху, ибо все что происходит с человеком происходит всегда, и деление времени на периоды, эпохи — это лишь уловка нашего ума, пытающегося систематизировать то, что систематизации не поддается, зато всегда пишется с большой буквы.

Дмитрий Савицкий, август 2001, Париж

Ольге Потемкиной

Что нас толкает в путь? Тех — ненависть к отчизне,
Тех — скука очага, еще иных — в тени
Цирцеиных ресниц оставивших полжизни —
Надежда отстоять оставшиеся дни.

О, ужас! Мы шарам катящимся подобны...

Шарль Бодлер. Плаванье

«Единственным его приобретением за последние месяцы была устойчивая бессонница. Серый остов собора в окне поджигал закат. Розовое, шутя, в полчаса менялось с голубым. Разгорались костры ночных рестораников. Борис одевался, хлопал по карманам, проверяя ключи, нащупывая в пистоне джинсов облатку лекарства — в последнее время шалило, не в ту сторону стуча, сердце, гасил свет, — отчего исчезнувший было собор наезжал, сшибая плечом стайку звезд, на окна, прихватывал под горло перевязанный пакет с мусором и выходил пройтись перед сном.

Пакет он оставлял у ворот, в обществе таких же угрюмых удавленников. Стук ножей и вилок сопровождал его, пока он огибал развороченную стройкой дыру Чрева. Столики ресторанов доживали последние недели под открытым небом. Он пересекал скучную прямую Риволи и спускался к реке. Пахло гнилью, бензином, из иллюминатора яхты тянуло подгорающим маслом, накрапывал Шопен. Пробегала, бесшумно суча ногами, тень породистой собаки. Совсем близко в мутных волнах проплывала длинная баржа. На корме шептались огни двух сигарет. Ночь внятно дышала, на каменной скамейке кто-то невидимый то ли стонал, то ли смеялся, и однажды из-под моста на него выпрыгнул худощавый подросток с ножом в руке. Удивляясь себе, Борис нож легко отнял и бросил в воду. Секунду он стоял в замешательстве, не зная, что теперь делать: ударить или уйти. Но парень сам втянулся назад во тьму моста, и та сожрала его без остатка, и Борис по крутой лестнице, со всхлипывающим сердцем, вскарабкался наверх и, уже перейдя Сену, сообразил, что парень шутил, требуя жизнь или сигарету.

Он пил пиво на шумной веранде в разноязыком гомоне пестрой толпы. Появляясь горластый толстяк, обвязывался цепями, шелкал замками, страшно хохотал дырою рта. Цепи с бутафорским грохотом спадали. Вертлявый красавчик со смоляной матадорской косичкой и шрамом через всю щеку, хлопая в ладоши, освобождался от грязно-белой рубахи. Подергав отросток ремня, он благоразумно оставался при кожаных джинсах и долго, стоя на коленях, пил вздоржавший бензин. Борис видел фальшивую работу его звериного кадыка, хихикала пьяная простушка, скользил наклонно, наплевав на закон притяжения, официант с круглым подносом над головой, язык рыжего пламени взвивался к зеленому небу, высвечивая черепа булыжников, трупы окурков и шляпу пожирателя огня с чешуей монет на истлевшей подкладке.

Первое время после Москвы Бориса забавлял этот уличный театр: циркачи, шарлатаны, музыканты. Но, решив не возвращаться в Союз, сразу потяжелев, он уже серьезно провалился в новый мир и остыл к чудесам улицы.

Официально он гостил у родственников — седьмая вода на киселе, выездная виза была лотерейным выигрышем, везением, чьей-то ошибкой — и сохранял советский паспорт. На самом же деле он попросил политубежища, ждал ответа и жил в пустующей комнатухе нового приятеля, владельца русского ресторана «Тысяча вторая ночь». Впрочем, все было новым, с иголки, и кололось немилосердно. Курчавая бестия, делившая с ним летом все, что делилось на два, вечно подкуренная, вечно с фотокамерой, выстригающей из будней золотые прядки, исчезла с долговязым флейтистом в юго-западном направлении. Вестей от нее, кроме ночных, утром недействительных, не было.

От нее остался пакет снимков: размытая движением толпа в берегах солнечной улицы, женские, грехом обугленные, тела с обидными, все разрушающими деталями и отличный портрет небритого молодого человека с чересчур живыми туберкулезными глазами — это и был флейтист. В ванной Борис нашел выгоревшие красные трусики и грустный тампон, так никогда и не побывавший в ее маленькой пизде.

* * *

Он расплачивался, мучительно стараясь правильно сосчитать до сих пор непривычные деньги, и со все нарастающей ненавистью к жаркой подушке, ускользающим простыням, к этой верной, поджидающей его бессоннице брел напрямик через два моста домой.

Часть ночи он лежал в некрепком тумане полусновидений: усталость тянула на дно, но уступчивое прежде лоно сна обладало теперь упругой сопротивляемостью. Он тратил последнее терпение, уговаривал себя, елозя, зарываясь с головой под подушку, и наконец скользил по наклонной в рваную мглу, все с большей скоростью, все сильнее теряя себя дневного, растворяясь, счастливо наполняясь собственным отсутствием, как вдруг, в бледнеющей тьме, совершенно трезво открывал глаза.

По ночам его слух обретал географию. Где-то у Коммерческой биржи зарождался скачущий сжатый звук. Чем ближе он был, тем сильнее разрастался, пока не заполнял всю ночь клокочущим ревом. Дрожали стекла в окнах, мотоцикл сворачивал в конце улицы и исчезал около почтамта. С домашним перестуком в улочку вкатывалась тележка, несколько раз за ночь свершавшая короткий маршрут из пекарни к бессонным ресторанам. Медленно, со стрекозиным трепетом, проползало под окнами такси. Обязательное пьяное пение, не способное взяться за руки, спотыкающимися мужскими голосами проходило от угла до угла. Пели по-немецки. Одиночки по-французски. Исключений не было.

Борис вставал и, несмотря на влажную духоту, закрывал окно. Пил воду, ложился спать. Зажигался огонек комара. Пикировал, делал развороты, шел на снижение, щекотал где-то у щеки. Нужно было выждать, дать ему приземлиться и, когда от наглого покалывания становилось невтерпеж, прихлопнуть. Окрестности аккуратно поставляли ему одного, от силы двух кровопийц за ночь.

* * *

Под утро он все же рушился в розоватое болото сна, но пленка, отделявшая его от мира, была так тонка, что он чувствовал все подробности заоконной жизни, всю пульсацию дома. Соседи сверху возвращались в пять. Она, однажды виденная на лестнице вислозадая блондинка, журчала в ванной прямо над головой. Затем, после плохо скоординированных звуков, перебиралась к окну, где, судя по всему, стояла старая, разбитая кровать. Муж ее возникал из глухого покашливания, гула неразличимых слов и однообразного напористого раскачивании матраса. Она фальшиво постанывала, ни разу не сбившись хотя бы на крошечное крещендо.

Кровать умирала, над головою опять плескалась вода, а снизу с улицы уже раздавались тупые удары тесаков, взвизгивание ножей, шмяканье туш на деревянные выскобленные столы. Ночные разделщики мяса, мягко бранясь, танцевали в черных резиновых сапогах, в тяжелых окровавленных фартуках на усыпанном опилками полу.

Как-то на рассвете Борис спустился выпить пива: в оцинкованные короба были навалены сердца и почки, розовая пена стекала на мостовую, а чуть подальше, ближе к собору, банда детей с засученными рукавами потрошила огромных серебряных рыбин, с хрустом извлекая перламутровые жабры, перекладывая тяжелые влажные ломти траурной хвоей папоротника. Водосточная решетка была забита бесславно погибшими тошнотворно-розовыми креветками.

* * *

Ровно в восемь, когда сон, сжалившись, подсовывал плохо отснятый фильмик из детства: обморок дачной аллеи в Салтыкове, очки велосипеда в дровяном сарае и все куда-то идущую в лиловом летящем платье мать, — ровно в восемь с двух сторон ударяли отбойные молотки, все тряслось, как у дантиста: шел ремонт соседних домов. Веселый этот ад разрастался, на улицу врывалась помоечная машина и с танковым скрежетом что-то пожирала, урча и отплевываясь.

Он еще проваливался урывками на пять минут, на полчаса — время совсем перепутывалось, и, — когда наконец оставлял измученную постель, было около одиннадцати, в индийском магазинчике внизу тренькал колокольчик, он распахивал окно — красная пожарная машина задом пятилась в гараж, золотошлемные бойцы, запутавшись в кольцах чудовищно напрягшегося шланга, изображали Лаокоона, кричал, задрал голову, никуда не глядя, стекольщик, и Борис шел в ванную и, охая, залезал под ледяной душ.

После кофе он оживал, но ненадолго. Бессмысленно перебирал бумаги на столе, перепечатывал что-нибудь позавчерашнее, мимоходом правил, выкидывая эпитеты и утяжеляя глаголы: чтобы продвинуться в тексте, нужен был разгон, разогрев. Наконец что-то сдвигалось, и он исписывал крупным скачущим почерком ворох страниц, уговаривая себя не раздражаться и не обращать внимания ни на сирену пожарников, ни на грохот рушащихся перекрытий в соседнем доме.

Он старался не перечитывать написанное, но за очередной чашкой кофе, не выдержав, сначала урывками, а потом по порядку прочитывал, морщился, сникал, собирался сесть и перепечатать, исправить неровности, убрать лишнее, и вдруг все бросал на завтра, мрачнел и думал о кружке холодного пива.

Несколько раз этой осенью он вдруг засыпал посреди дня как был, одетым, и это смахивало на короткий оглушительный обморок. Тогда, вынырнув обратно, взмокший, со слипшимися волосами, он необычайно оживал, бросался звонить по совершенно ненужным номерам, прибирал квартиру, стирал, делал неожиданные заметки, отправлял целую голубятню писем.

* * *

Так или иначе, к октябрю задуманное эссе было окончено, переписано дважды, переведено невесть откуда взявшейся студенткой и отдано в журнал. Зарядили дожди. В их характере было желание взять на измот. Мир слинял до однообразно серого марева. Стены собора промокли и почернели. Жалкие исхудавшие голуби жались по карнизам. Камин дымил. Денег на дрова не было, и теперь по вечерам он отправлялся на охоту за топливом.

Весело и быстро прогорали ящики из-под апельсинов. Вспыхивали грудастые красавицы. Тлели караваны дромадеров. Если везло, он притаскивал чурку с соседней стройки. Тогда огонь занимался не на шутку, и под унылый шепот дождя он читал, лежа на полу у камина, книгу за книгой, запретное дома, в России, читиво.

Вместе с дождями вернулся и сон. Теперь он спал по восемьдесят часов, погружаясь так глубоко, что чтобы проснуться, приходилось всплывать сквозь целые пласты, слоистые этажи сна.

Кончались последние одолженные родственниками деньги. Дожди унесло ветром, один за другим распахивались свежие голубые дни. Утром вызолоченного до мелочей, до дверных ручек, до пуговиц продавца газет дня маленькая переводчица принесла журнал с напечатанной статьей.

«Мост назад, — читал он, положив русский текст рядом и угадывая французские слова, — строится в кромешной тьме; сорвавшихся вниз не хоронят. Но культура современной России не может быть восстановлена иным путем. Без осознания своего исторического и культурного прошлого невозможно шагнуть в настоящее. Революция уничтожила в первую очередь именно носителей исторической памяти, создателей культурной традиции. Она кричала о строительстве с нуля, о взлетной площадке в будущее и, расчистив страну бульдозерами от гор трупов, создала пустыню духа... Эмиграция не поиск удобств, не побег в нормальное, несуществующее, общество. Для нового поколения русских это попытка второй жизни. Неофициальная культура сантиметр за сантиметром все же реконструирует прошлое. Мост висит уже над бездной, но его строят русские и с той, и с этой стороны. Будет ли когда-нибудь уложен последний пролет? Обнимутся ли люди над пропастью преодоленной исторической лжи? Не знаю. Может быть, если новый взрыв не разнесет в щепки кропотливый труд последних десятилетий... Эмигрировать — все равно что совершить самоубийство с расчетом на скорую помощь. Гораздо надежнее, когда тебя просто выкидывают из здания светлого будущего: звон разбитого стекла и вопли означают заодно и ожидающую внизу бригаду врачей. Но в обоих случаях жизнь со сломанной спиной — это пожизненное распятие. Скрепки в позвоночнике держат не спину, а развалившийся мир. Новое самосознание начинается все так же — с боли...»

* * *

Журнал был из новых, читаемых, странных. За успехом маячила обреченность: люди были слева, деньги справа. На фотографии Борис был похож на младшего брата — та же кривая ухмылка, прищуренный глаз. Но вывеска парижской булочной на заднем плане рокировку исключала.

Ожил телефон. Звонили соседи по прошлой жизни. О существовании на новом берегу одних он и не догадывался, о других и вовсе забыл. Мыча что-то в трубку, выгадывая время, мучительно роясь в захламенном углу памяти, среди миниатюрных пирушек и трамвайных встреч, он вытягивал за хвост спотыкающийся заснеженный переулок на Старом Арбате; кривой особнячок — запах мастики, оттаивающие на вешалке шубы, священнодействующий наверху рояль — все это существовало, а вот супруги Маклаковы, в два голоса протискивающиеся в трубку, никак не воплощались.

«А помните, Борис Дмитриевич, — (он и отчество не запомнил!), — вы еще обронили шарф и я возвращался?..»

Приходилось соглашаться, договариваться о встрече, записывать русскими буквами плохо звучащий французский адрес — ничего, потом найду по плану — и накануне звонить, ссылаясь на дядю из Цинциннати, простуду, неожиданную беременность, выступление в клубе эксгуматоров-любителей, — одним словом, безбожно лгать, чувствуя головокружение и тоску.

Супруги Маклаковы со Скрыбинским музеем вытащили на свет Божий, сами того не зная, призрак молодого человека в волчьей ушанке. Припоминая его, Борис пропустил автобус. Стоял, бессмысленно таращась в лиловую лужу, пытаюсь увеличить удаляющуюся сутулую спину. Соскальзывало. Память не срабатывала, и приходилось все прокручивать сначала. Спина приближалась, наезжал торчком стоящий воротник легонького пальто, глыбы грязного льда обозначали февраль. Подкатывал из парижской действительности автобус, Борис садился, арбатская кариатида с сифилитически облупленным носом сгущалась в вечеряющем воздухе, мелькал Бульмиш, нужно было сходить, и, уже огибая Люксембургский сад, раскрывая упрямый, не в ту сторону выгибающийся зонт, он вспоминал, с идиотской улыбкой

останавливался, спазм памяти ослабевал, и волчья шапка с облегчением удалялась навеки, и с грохотом рушилась преувеличенно стеклянная метровая сосулька.

То был болезненно-наглый однокурсник, навсегда заигравший синий томик Камю, цена на которого на черном рынке подскочила до пятидесяти рублей и покупать не было никаких сил.

* * *

Звонили и совсем неизвестные личности. Не всех удавалось переключить на более доступный английский. Они внятно и однообразно сожалели, спрашивали, сколько лет во Франции, уже порядком, скоро год, что же вы еще не говорите, только в булочной, жаль, говорят, у русских талант к языкам, не у всех, а мы-то надеялись пригласить вас выступить, но не по-английски же?..

Из Онфлера, из оккультного, судя по словечкам, общества пришло письмо — в статье Борис упоминал Распутина, Гурджиева, Макса Волошина, русских масонов, — просили быть в следующую пятницу. Какой-то молодчик позвонил из Канады. Голос был напористым, вопросы идиотскими. Продолжалось это недолго, с неделю, с маленьким рецидивом после перепечатки статьи в Америке.

Он старался не пить, в крайнем случае стаканчик, не более, но, как-то лавируя между собакой и волком, был либо по-собачьи тосклив, либо по-волчьи зол, а в итоге к полуночи изрядно навеселе. Если так можно было назвать его мрачное ёрническое через три языка протискивание в ближайшей забегаловке...

Он уже подумывал о серии статей для одной левой полусредней газеты: продолжение темы, разработка деталей, ему давали картбланш на целых восемь номеров, — как неожиданно в два дня подписал контракт с молодым, но уже известным и оборотистым издательством, получил аванс и на той же неделе, стараниями хозяина ресторана, на дохлой двухсилке переехал.

От прежних жильцов осталась целая плантация пальм, цветов, в стеклянной колбе плавал папирус, пыльные водоросли плюща ползли по стенам. В белых пустых комнатах гулял сквозняк. Во всех тускло мерцали зеркала и чернели каминны, но разрешение было лишь на один, второй нужно было чистить, а в третьем жила жилистая телеантенна. На барахолке он приобрел новенький невинный матрас, рыжее верблюжье одеяло. Все это устроилось на полу напротив узаконенного огня, а французские приятели привезли тяжелый раскладывающийся стол и пару хромых стульев. Штор не было, но неширокий балкон палубой шел вдоль всей квартиры и на ночь закрывались скрипучие, в стружьях облезающей краски, жалюзи.

Однажды по дороге с рынка он неожиданно для себя купил мощный приемник и теперь ночами, пока трещали все те же марокканские ящики или стреляло выжуженное из канала Сен-Мартен мокрое полено, он обшаривал мир, сантиметр за сантиметром, и засыпал под бесконечный речитатив убийств, крушений, переворотов, похищений и угроз. Маленькие стремительные экскурсии на просторы родины вызывали неизменную тошноту: все то же величаво-фальшивое звучание голосов, сводки о перевыполнении плана и отчеты о забастовках и подорожаниях на Западе. По заявкам передавались вальсы Штрауса, доярка из Чувашии интересовалась этюдом Листа, вползало бархатно-стальное сообщение ТАСС об очередном запуске на орбиту экипажа из чукчей и кубинцев, и Борис переходил на средние волны, нащупывая то парение трубы Дэвиса, то тяжелые пассажи Монка.

* * *

Консьержка подсовывала под дверь письма и унылую русскую газету, и этот мышинный звук будил его по утрам. Пишущая машинка, некогда побывавшая на экспертизе в Лефортово и малой скоростью наконец добравшаяся до Парижа (одолженный древний «ремингтон» был

с благодарностью возвращен старичку белогвардейцу, вполне младенцу, судя по нескольким неудавшимся разговорам), устроилась на столе, заваленном теперь россыпью постаревших за последний переезд фотографий, рядом со стопкой отвратительно белой бумаги.

С утра он просиживал над контрабандным прошлым, разглядывая лица друзей, щели переулков, трамвайные рельсы, полинявшие пляжи, праздничные, с зарослями бутылок, столы. Подтаявший пласт прошлого с трудом удерживала от последнего обвала какая-нибудь загорелая рука, лежащая на плече московской приятельницы, — все, что осталось от ее ухажера, — или крест колокольни, повторяющий крест окна, у которого негром застрял неопознаваемый профиль. Он завел ящик с карточками и, путая бывшее с выдуманным, заселил их именами, биографиями, чертами характера, происшествиями. Книга еще не была начата, а толпа ожидающих уже теснилась на входе, сплетничала по ночам, жаловалась на обстоятельства и вычеркнутые знакомства.

Соотечественников он не видел, да и не жаждал. И лишь странные ошибки во вдруг спотыкавшемся русском языке толкали его на редкие встречи. Но друзья по Москве и Питеру, перебравшись в Париж, они узаконили немисливо разнузданный тон, за которым сквозили разочарование и неуверенность. Селились они ближе к Латинскому кварталу, вечера просиживали в одних и тех же брассри и, с небольшими вариантами, пережевывали заплесневелые, все более неузнаваемые истории из бывшей жизни. Большинство, уехав, никуда не приехало, и из незахлопнувшейся двери прошлого тянуло сыростью и неодолимой хандрой.

* * *

В среду, стоя в ярко освещенной ванной комнате, Борис с удивлением обнаружил, что виски его оголились и волосы, сквозь которые еще недавно с трудом продиралась гребенка, дымчато просвечивают и остаются в пальцах, если дернуть посильнее. Он криво усмехнулся зеркалу, криво усмехнувшемуся в ответ. Маленькие ножницы, которыми он поправлял усы, мелко дрожали.

Позже, напустив горячей воды в ванну, он лежал и пытался сообразить, когда же начал лысеть отец. Но от отца в памяти осталось лишь что-то виноватое: скомканный взгляд, вывихнутый жест. Смешная поначалу мысль — я старею — наливалась тяжелой угрюмостью, и от волглого жара вспотевшей враз комнаты, от удушливого пара и рыжеватой воды ему стало плохо. Пять лампочек над помутневшим зеркалом поплыли, уменьшаясь, во тьму, дыхание, расширившись, остановилось совсем, и он, боком, кое-как, выплеснувшись из ванной, залил пол водой и больно ударился затылком, о стену.

Несколько расплывшихся минут он сидел, сотрясаемый крупной дрожью, на кухне надрылся телефон, из-под двери тянуло холодом — он открыл ее слабым ударом пятки — чернеющий ручеек убегал в коридор, на белом кафеле, шипя, оседала пена, и мелко кололись остатки несмытых волос на ужасно голой бритой шее...

* * *

Был день вернисажей, свежий, хорошо проветренный, с затянувшимся хэпенингом заката, с розовыми в густеющих сумерках мостами, с иголкой самолета, тянущей расплывающуюся нитку воздушной пряжи, с шарами фонарей, с медленным потоком машин на левом берегу, со взрывами бешеных мотоциклов, ленивыми свистками постовых, с черными в сумерках, медленно падающими, листьями платанов.

Они встретились на Одеоне. Птички мира спали на заляпанном Дантоне. Крепко обтянутые джинсами мальчики, позвякивая связками ключей, хороводились у подножия памятника. Двое фликов в растопыренных пелеринах тормозили животастого клошара, уже устроившегося почивать с бутылкой красного в руке.

Она появилась совсем не с той стороны: улыбающаяся, коротко стриженная, в чем-то мягком зеленом. Ее крошечная машина была запаркована в переулке, и Борис, загипнотизированный, на секунду остановился — она возилась с ключами, зацепившимися в сумке за нитку бус — у витрины магазина хирургических инструментов: когти стальных крючков, пилки и ножи лунного цвета, зажимы — тяжбы плоти и смерти.

Выставка была совсем рядом, и все было бесконечно знакомо: толпа, запрудившая тротуар, скопище безадресных улыбок, пластиковые стаканчики в руках: «Старик! Сто лет...», пара навьюченных кофрами фотографов, чья-то рука, лезущая здороваться, с жаром вlepленный неизвестной тетей в самое ухо поцелуй — на каком языке она говорит? — пустое, но кипучее оживление.

Уже разбредались по соседним кафе, обменивались телефонами, выуживали из-под ног играющих детей, договаривались встретиться попозже где-нибудь на Сен-Жермене. Протиснувшись в галерею, Борис никакой живописи не нашел. Со стен свисали разлохмаченные веревки, окровавленная рубаха была распята над чистеньким зеркалом, заглянув в которое он прочел — ЭТО ТЫ! Работало несколько магнитофонов одновременно, наговаривая нарочито невпопад один и тот же текст.

Борис добрался до столика, налил два стакана скотча, добавил, для нее, лёд. Пили на улице, сидя на капоте чьей-то машины. Двое бродяг, уже изрядно набравшись, со своими стаканами переходили из галереи в галерею. «Она шлюха, — раздавалось из-за спины, — а он прохвост. Оникупают все по дешевке, а потом в Нью-Йорке...» Знаменитый критик, абсолютный двойник Карла Маркса, шевеля подкрашенными губами, поучал стайку одинаково неулыбчатых очкастых поклонниц, поглаживая сальный загривок заспанного блондина.

«Скорая помощь», захлебываясь плачем, медленно пробиралась сквозь толпу, напрочь стирая все остальные звуки.

* * *

Они перебрались в Маре. Накрапывало. Тянуло гнилью. Сержант полиции на углу шептался с вокитоки. В крошечной галерейке на черных кубах сидели оплывшие, словно сделанные из горячей жвачки фигурки. Мелькнула (между двумя стаканчиками) мысль, что уродцы в шляпах и карлицы в капотах плавают не по прихоти похожей на них, в серебряное завернутой художницы, а из-за давящей растущей духоты.

Борис, плотно прижатый к француженке, вдруг с дурным смехом понял — она подняла бровь, — что забыл ее имя, напрягся, но память была загорожена пустяками, всмотрелся в ее разгоряченное лицо, стало щекотно от бобрика ее волос, она притиснулась ближе, было жарко, и безразлично спросила:

«Са ва? Ты бледный!»

Ехать больше никуда не хотелось, но под крупно скачущим дождем они доплыли до американского центра на Распае, пришвартовались, потолкались и там: несколько сотен развешанных под потолком госпитальных халатов. Выпив с долговязой худой американкой, живущей между Бостоном и Иерусалимом, они уже повернулись уходить, как вдруг Борис, вздрогнув раньше, чем понял, увидел у столика с закусками старинного московского приятеля — сгорбленные плечи, седые лохмы, но он, несомненно, он — протягивающего официанту пустой, крупно дрожащий стакан.

Борис не знал, что Осинский уехал, и теперь, глядя, как рука в несвежей манжете тянется к зарослям бутербродов, конечно же вытаскивая нижний, отчего все рушится и ползет набок, испытал не замешательство, а дурноту мгновенных перемещений. Но подойти, поздороваться, обнять он не мог по той же причине, по какой невозможно занять денег во сне.

* * *

Снова плыли через весь город, разбрызгивая синие маслянистые лужи, спотыкаясь о светофоры, потягивая из прихваченной бутылки остатки шампанского. Ее колено глазело из скачущей тьмы, ее рука шевелила детскими пальчиками на набалдашнике рукоятки скоростей, словно собиралась что-то сказать. Потом сквозь густые заросли дождя, сквозь его малиновые (киношка) и изумрудные (китайский ресторанчик) ветви бежали к подъезду; она сняла туфельки; карабкались на самый верх по винтовой лестнице, оставляя темные, невпитывающиеся следы. Пока она рылась в сумочке, второй раз за вечер ища рыбью, недающуюся связку ключей, он опять ощутил летящую со всех сторон стискивающую сердечную дурноту. Он раскрыл рот, но отпустило и лишь перебросило из жара в хлад, и ткнулся губами в ее шею. Она обернулась, слишком порывисто обвила его мокрыми руками, слишком энергично впилась мягкими раздающимися губами. Целуя, она косила незакрытый глаз, и он вспомнил: Даниэль, Дани...

* * *

Ужинали при свечах, молча, с неуклюжей неизбежностью разглядывая друг друга. Был момент, когда он хотел встать и уйти, но пропустил, запнулся сам в себе, и в следующий миг они уже лежали на полу среди разбросанных подушек и он помогал ей избавиться от узких намокших трусиков. У нее были детские неразвитые соски и неожиданно упругий животик. Борис вяло втиснулся в нее, ее маленькие пальчики лихорадочно помогали ему, стал разбухать и набирать силу, но тут она так фальшиво задышала, загулила, гортанно заворковала, что он съежился опять и все попытки сосредоточиться ни к чему не привели.

За окном — он встал, стягивая через голову уцелевшую на теле рубаху, — мокро горели веранды кафе, по круглой площади медленно ехала битком набитая открытая машина, дождь изнемог. Но еще плыли, встречались и расходились зонты, съезживались в дверях бара; гарсон в светлом пиджаке курил, стоя под деревом; большая грязная собака мочилась на пожарную колонку. Тусклый купол Пантеона на мгновенье напомнил Исаакий, но всё сошло на нет, опять растворилось во влажных прикосновениях, задышало.

* * *

Рука, высвеченная огнем сигареты, потянулась куда-то, клюнула клавишу магнитофона, музыка оборвалась. Два голоса, в Москве это обозначало бы драку, сплетаясь, ворвались в окно. Даниэль что-то говорила, с силой выпуская дым в потолок. Он устал, тра-та-та, так бывает, много пили, не бери в голову, ты такой нервный, мне и так хорошо. Она улыбалась из своей подсвеченной тьмы. Он взял ее руку и потянул вниз. Она слабо сопротивлялась, но он нашел и зарыл ее глубоко, и с силой провел, и, вынув, провел опять, но она боялась, и пальцы ее каменели.

Жирный кот вспрыгнул на подоконник. Она встала, соорудила из воздуха халатик, запахнулась. «Вымою посуду. Не люблю, когда остается на утро». Комната кланялась, ползла, подсовывала знакомиться проступающие предметы. В конце коридора хлопнула дверь ванной. Пустила воду, чтобы заглушить свою скромную струйку. Вернулась. Пересекла лужайку ковра. «Последний бокал. Не спи. Я вернусь». Лет через десять...

Борис встал, натянул джинсы. Мокрые. У зеркала допил вино. Волосы сбились. Может быть, из-за радиации в армии? Когда-нибудь это должно же проявиться? Чушь! Зажег ночник, включил магнитофон, добавил громкости. Все мы теперь слипаемся под музыку, написанную для церкви. Моралист чертов... Кот высунулся на улицу. Дать ему под зад? Пусть учится летать... Котопсы — помесь кошки с собакой...

Отворил дверь в коридор. Нащупал замок. Вернулся. Поднял с пола пиджак. Журнал с его статьей размок, нелепо торчал из кармана.

* * *

Какие-то деньги у него были. В кафе напротив он сел подальше от лампы, в неосвещенном углу, заказал большую рюмку кальвадоса. Сквозь лапчатую тень листвы слабо светилось её окно; он ждал недолго: секунду, высунувшись по пояс, Даниэль кланялась улице, потом створки сомкнулись и рекламная чепуха мгновенно пристроилась на стеклах. Борис допил кальва, расплатился и кривой улочкой пошел вверх, выбирая ближайший мост через реку.

* * *

...Желтый, табачного настоя, свет возвращался. Стойка с лужицей пива, толстощекая хозяйка, заросли бутылок, зеркало, полное прохожих и машин. Включился и звук — ленивая гитара, игровой автомат, хриплый шепот. Зеленоглазый сенегалец с высоко забинтованным горлом, выкладывая столбиком мелочь, считал деньги. Из зеркала, открыв дверь в черное — чья-то голова отъехала прочь от туловища, — вышло пьяное, неизвестного пола, существо. Но звук плыл, а зрение плохо наводилось на резкость. Борис странно тихим непослушным голосом кликнул хозяйку и спросил кофе.

Все же он вынырнул. Откуда? До этого был провал, забегаловки левого берега, визг тормозов, свет фар, лающий, в волосы цепляющийся ветер возле реки, плывущая прочь из города пивная бутылка. Было сердце, плещущееся в ушах, сошедшее с ума, исчезающее, возвращающееся с тупым грохотом.

Черная куртка в зигзагах молний перестала кормить монетами автомат, наступило перемирие. В окно залетел и лопнул смешок. Борис, выдавив из облатки таблетку, запил ее обжигающим кофе, припомнив (фотография: полицейский со свистком в зубах склонился к карапузу с леденцом в руке), что нужно было свистеть в нее, как в свистульку, то бишь сосать.

Улица лезла в небо. Он карабкался, высоко поднимая ноги. Ветер, выскакивающий из проулков, был по-ночному свеж. Воздетый криво шпиль собора (шпиль собора?), ветрянка звезд, лестница крыш, сжалившись, заняли обычные места, улица улеглась на место.

Горы шелковистых обрезков из швейных мастерских устлали путь. Голоногие, цокающие вслед языком, со скромно опущенными ресницами, с шевелящимися ртами, с вываленными наружу напудренными грудями, строго одетые по моде, белые, по-северному белесые, шоколадные, лиловые, с мальчишками вперемежку, стареющие, начинающие, утыканные светляками сигарет, звякающие браслетами — представительницы самой древней профессии подпирали стены.

«Купец торгует селедкой, дева торгует чревом...» — автоматически вспомнил он.

Тянуло кипящим маслом из арабского магазинчика на углу, мочой из подворотен, крепкими духами, потом. Огромный грузовик, с тысячей горящих глаз в кабине, с трудом протискивался по узкой улице. Расстегнутый до пупа солдатик качался под фонарем. Двое негров уговаривали блондинку, но та не соглашалась и мотала головой. В провалах длинных проходняшек дико и голо горели лампы. Где-то били часы. Девочка в светлых кудряшках потянула Бориса за рукав. «Пойдем?» Он пошел черные чулки, дымящаяся сигарета на отлете, короткая шубка — по длинному, все заворачивающему налево коридору, а потом сидел в кресле, и комната была совсем не такая, как он себе представлял.

Она дернула застежку на груди, выпуская погулять две влажные розовые твари, и, пока она трудилась, стоя на коленях, он рассматривал бронзовую даму с горячим абажуром над головой, складки тяжелых, никогда не раздвигаемых штор, приоткрытую ванную с толпой

скляночек и баночек на умывальнике и с большим кроваво-красным полотенцем, мокро лежащим на полу.

Вдоль кровати шло узкое зеркало, и на стене напротив криво была приколата афишка: крошечный господин осторожно приоткрывал складки гигантской вертикально вытянутой пасти.

Он гладил светлые кудряшки, сквозь которые пробивалась совсем детская жалкая макушка. На шее девицы дрожала золотая цепочка, на пол, выскользнув, упала связка ключей, «Были бы деньги, — думал Борис, — можно было бы остаться до утра. Заспать к чертовой матери весь этот бред...» Над головой что-то грохнуло, хлопнула дверь и застучали каблучки, перебиваемые глухим тяжелым шарканьем.

* * *

Такси остановилось у Северного вокзала. Светало. Он с трудом вывалился наружу. Панический страх разрастался и заволакивал мир все стремительней. Что-то подсказывало ему, что на вокзале не так страшно, что должны же быть люди, что кто-то вызовет врача и можно будет наконец-то выключиться, чтобы не стучало так быстро, чтобы перестало трясти и знобить, чтобы разжались железные пальцы, выдиравшие что-то трепещущее под раздавшимися ребрами.

Было поздно (то есть рано, безразлично подумал он), и сердце росло и наливалось тоскливой болью, пускало розовую горячую пену, лопалось, и он оседал все ниже и ниже, ловил воздух раззеванным ртом, а совершенно равнодушная громада вокзала, наоборот, поднималась все выше и выше, и пустая улица так глупо, так ненужно продолжала переключать светофор.

* * *

Патруль подобрал его через полчаса. Молоденький усач перевернул его на спину, обшарил карманы и вытащил бордовый советский паспорт. Из участка дежурный позвонил в посольство — на кой черт связываться с советчиками, парень может загнуться по дороге в госпиталь, — и вскоре пришла машина с вежливыми, прекрасно по-французски изъясняющимися господами.

Посольский врач в халате, из-под которого вылезали длинные мохнатые ноги, ввел иглу в вену, про себя отмечая, что до сих пор радуется одноразовым западным шприцам, и, опустив голову, просидел еще минут пять, то нащупывая ускользящий пульс, то колдуя присоской стетоскопа. Ритм выровнялся, но все еще были перебои, и нужно было идти наверх за электрокардиографом.

«Слушай, — позвал его человек из-под настольной лампы, — может, я просто позвоню его родственникам? Пусть забирают». И он полез в картотеку. Но второй сотрудник, изучавший вытасченный из кармана пиджака журнал, сверявший фотографию на мятой странице с провалившимся лицом привезенного, остановил его и, подойдя к столу, протянул журнал: «Узнаешь?» Врач поднял голову, переспрашивая, и дежурный, задвигая ящик картотеки, сказал: «Дурак! Сидел бы тихо, раз выпустили... Вдарился умничать... Хоть бы псевдоним взял поумнее, а то — Борисов...» И он снял трубку телефона, приходилось будить посла: по поводу статьи и автора было недвусмысленное решение Москвы.

* * *

«Слушай, Коля, — сказал посол врачу за завтраком, — ты мне за него отвечаешь. Пусть дышит на ладан, но пусть дышит. Слышишь?»

В баночке альпийского меда увязла муха.

* * *

На авиационной выставке в Бурже шел последний день. Разгулявшийся ветер рвал флаги. Рабочие уже начали разбирать трибуны. Журналисты, бизнесмены, военной выправки любопытствующие укрылись в просторном баре первого этажа. Через затемненные стекла окон было видно, как двое пилотов в серебристых комбинезонах, оба черные, проверяют крепления нового американского контейнерного вертолета. Все, кроме остова с двигателем и кабины, менялось за несколько минут. Серийный «конкорд», опустив клюв, выруливал на дорожку.

У легкого частного джета (малиновый лак, белый зигзаг, шофер только что передал пилоту чемоданы-близнецы и теперь разворачивал мерседес) две одинаковые пары, склонив головы и разевая рты, прощались. Мужчины были в одинаковых серых пальто, дамы в шубках и разлетающихся шарфах. Смахивало на пародию, на съемки заранее провалившегося фильма. Полицейский лениво футболил пачку из-под сигарет. Бензовоз загородил всю сценку.

Музыка в баре вполсилы играла бестселлер семидесятых — «Назад в СССР» «Битлз».

* * *

Советский Союз на ярмарке был представлен широко, но, кроме полуспортивного «джета» на четырнадцать мест и пожарного вертолета, демонстрировались лишь серийные модели. Катастрофа со сверхзвуковым «ТУ» здесь же, в Бурже, несколько лет назад вынудила министра авиации быть осторожнее. Его заместитель только что закончил небольшое прощальное путешествие за облака с делегацией французской компартии. Товарищи вернулись навеселе: в небесах Франции пили ледяную водку, закусывая черным хлебом с икрой.

Да и сам шедший на убыль денек не был трезв. Посольская машина под красным флагом, остановившаяся у ворот, выпустила наружу трех мужчин, и таможенный чиновник, проверяя паспорта, улыбнулся — все трое были сильно под мухой. Он вернул паспорта и, обождав, посмотрел им вслед: русские могли пить километрами, но без всякого понятия — пиво с водкой, коньяк на аперитив. На приеме в день открытия выставки краснощекий партиец тянул скотч как шампанское, а шампанское опрокидывал залпом. Гусиная печенка шла у них с водкой, семга с красным вином. «Впрочем, — сам себя урезонил таможенник, — откуда им знать? Рады и тому, что Бог пошлет...»

Советские представители шли прямо через поле к полуспортивному самолету. Один из них, тот, что посередине, был настолько пьян, что почти висел на руках у товарищей.

* * *

В салоне было два отсека — Бориса усадили в первом. Через иллюминатор он видел темнеющее лётное поле и рыжий сухой виноградник вдали. Солнце уходило дальше на запад, поджигая редкие облака, соскальзывало в сторону пролива. Тьма вставала с востока сплошным фронтом. На эту густеющую тучу ночи и нацелил свой клюв самолет.

* * *

Его больше не опекали. От слабости и лекарств, которыми его кололи все эти дни, он был совершенно деревянным. Потная рубашка примерзла к спине. Ровно дул, пластиком пахнувший, сквозняк. Чужой костюм резал в паху, горбился, вывихивал спину. Репетиция скорых лефортовских шмоток. Тело тупо леденело, но он не в силах был хоть что-нибудь сделать. Все движения, кроме самых грубых, давались с трудом. Особенно сводило мышцы лица. Когда

выходили из машины, Борис попробовал напрячь хоть что-нибудь, хоть повалиться или крикнуть — молоденький полицейский, расставив ноги, стоял всего лишь в двух шагах, — но вместо этого лишь разинул рот, и по спине промчалась отвратительная крупная дрожь, тупо взорвавшаяся в темени.

Все было как во сне, когда невозможно проснуться: все тот же прозрачный пуленепробиваемый колпак кошмара. Посольские мальчики держали его нежно и сильно. Проходя контроль, один из них, тот, что слева, с опереточной фамилией Клюковкин, даже обнял за плечи, обдав водочным запахом (специально пили в машине, подъезжая к аэропорту, хотели влить и в него, но врач не позволил). Когда же он попробовал подогнуть колени, то почти повис в воздухе, и таможенник, здоровенная камамберная рожа, сам ему улыбнулся, возвращая паспорт. Клюковкин серпастый-молоткастый перехватил.

* * *

Прогревали моторы, выруливали. Зажглись прожекторы, линии-указатели. Ночь сгустилась, придавило, пошли на взлет. Франция, опрокинувшись, уходила из-под крыла. Гасли фальшивые рубины и аквамарины рекламы, прятались в бархатных складках ночи горящие спирали развилки. Окна бегущего поезда превратились в пунктир, в жалкое многоточие, исчезли...

Заглянул Семенов, второй посольский конвойный. Лет ему было от силы двадцать семь, но в посольстве все, кроме хозяина, тянулись перед ним. Он двигался и разговаривал с непринужденностью европейца, по телефону легко перепрыгивал с языка на язык. Лишь иногда рука его сбивалась, взяв сигарету по-солдатски, в кулак, но тут же исправлялась, заиграв пальцами с отлично подрезанными ногтями. Семенов достал с полки и бросил ему на колени одеяло. Посверлил еще своими оловянными зенками. Ушел.

Все тело ныло, будто били, не переставая. Но его не трогали. Лишь накричал, матюгаясь, посол, да помогали врачу вводить лекарство: один держал голову захватом так, что перед глазами кровью наливался и пропадал низкий потолок, а двое других тянули за руки. Держали где-то в подвале, похожем скорее на убежище. Кровать и телевизор. Больше ничего.

С ярмаркой им повезло. Ждали лишь закрытия. Хотя в таком бункере можно держать всю жизнь. Считаю, своя Лубянка. Что будет впереди, Борис не думал. Что-то до омерзения знакомое. Измена родине. Шлепнуть не шлепнут, но пятнашка строгого обеспечена. Может быть, захотят театра. Выступления на заводе «Компрессор». Был на корню куплен ЦРУ: Цецилия, Ребекка, Урсула. Отравлен пропагандой, совращен мнимыми прелестями. Прошу отправить в иной мир первым же поездом. Бурные аплодисменты. Гневный рокот.

Врач сказал: «Предынфарктное». «Почти без предствавки», сказал врач. Учитывая неостановимое развитие лагерной медицины, можно высчитать скорый финал. Полгода, от силы год. Вот и вся история. «История моей глупости, — сказал он. — Моей глупости и вашей подлости. Суки. Сучье племя. Вашу мать! Чего вам не живется? Чего вы мудрите, остолопы?! Сучье племя! Козлы!..» Слабенькое бешенство даже не могло разогреться. Хороши нынче препараты. Сам в себе, как в чужом доме. Чуть-чуть свет тлеет. Уголек среди пепла. Он мерзко хихикнул. «Мне влили чужую кровь». Слишком красиво. «У меня передовая советская моча вместо крови». Уже лучше. «Меня накачали жидким дерьмом. Чтобы приобщить к остальным». Так оно и есть. Именно так.

В глазах было совершенно сухо. И пусто. И все же одна горячая дура выползла на свет божий и поползла куда-то в ухо.

* * *

Тошнило. Над крылом самолета висела, соскальзывая, звезда. Откинул кресло, но спать не мог. Лежал, не допущенный участвовать в собственном кошмаре. Но во всем — и внутри и снаружи — жила пульсация. То надвигалась и обещала залить таким горячим бредом, что все лопнет, то отпускала и трезво долдонила: лучше не будет, не провалишься, смыться не удастся. Словечки, в которые наряжались его скачущие мысли, словно принадлежали кому-то другому. Скомканые, приклатненные, он таких не употреблял.

Уборная была за спиной, в хвосте. С большим трудом — хрустнуло колено — встал и побрел. Во втором отсеке дремали. Вытянув ноги, раскрыв рты. Клюковкин скосил глаз, роняя газету, вялым пальцем показал — там. Раздвинув тяжелую штору в идиотских цветочках, Борис вышел на площадку. Слабо горел свет. Две двери, правая в уборную. Он толкнул — из зеркала на него вывалился совершенно незнакомый человек. Замороженное скошенное лицо. Неожиданно маленькие глаза. Новость: мочиться было больно. Тупо, но больно. Все же юмор — везут на казнь, точат каменный топор, моют партийную плаху, а он со свеженьким триппером с Сен-Дени. Контрабандой. Поморщился. Застегнул. В Лефортово закатят лошадиную дозу антибиотиков. Шатнуло. Схватился за открывшуюся дверь. Удержался. Перед глазами увидел надпись: АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД. Стало ватно тихо. Выключились моторы. И очень, очень спокойно.

* * *

Он выглянул в салон. Никто не шевелился. Лишь над Клюковкиным расплзался дымок сигареты. Повернулся. Ручка, похожая на рычаг, которым переворачивают мир. Знакомая серенькая советская пломба. Потянул. Ни с места. Повис всем телом. Напряглась шея, на секунду включился звук двигателей. Отскочила пломба. Сил не было. Руки были как мертвые. Весу в теле не осталось совсем. Выползла мысль: а что, если откроется? Не думать. Взялся левой рукой за кисть правой — стронулось. Как в кино появилось большими буквами: РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЯ... Зачем-то спустил воду в уборной. В промежутке резиновый шаг. Вернулся. Плоско прижался к двери и лег на ручку. Щекам стало мокро. Лоб залил пот. Ровно шумели моторы. Вернуться и спать. В нише увидел квадратную кнопку. Наверняка связана с кабиной. Нажал. Ручка тихо пошла. Консервный нож вскрывал вечность. По проходу кто-то мягко шел. Стиснул зубы. Поехало. Напрягся и рывком сдвинул охнувший мрак в сторону.

Ночь взорвалась, ударила... «В эту последнюю дверь, когда все решено, не нужно ломиться, она открывается сама»...

* * *

Писалась эта книга капризной нескончаемой зимой. Я перебрался за город в конце ноября, а через неделю подмосковный поселок пошел ко дну, утонул в снегах, прикинулся невидимкой. За ночь крыльцо совсем заваливало снегом, и дверь приходилось вышибать плечом. Однажды, собираясь на станцию за хлебом, я не рассчитал силы и вылетел в густой утренний мрак, сверзнулся со ступенек и подвернул ногу. Это падение и решило участь героя книги. Парижа я не знал, никогда в нем не был, да и сам Борис последние три главы просился в покойники. Так что хромал я в то утро вдоль заснеженных, раздваивающихся на черное и белое заборов в самом лучшем настроении.

* * *

Киса Зуйков, однокашник и пилот гражданской авиации, за пьянку вытуренный из ВВС, весьма кстати попался мне в электричке через несколько дней и кое-что объяснил про аварийные двери, разгерметизацию и, между прочим, сказал, что выпрыгнуть не так-то легко: дверь нужно вышибать чуть ли не взрывом. Мы выпили с ним в буфете Белорусского вокзала по двести грамм дрянного красного, а потом, наискось перейдя улицу Горького, в дежурном гастрономе отоварились четвертинкой. На углу маячил патруль, через дырку в заборе мы просочились во дворик детского сада и, сидя на качелях, медленно раздавили чекушку из горла. «Слушай, Киса, — кричал я, взлетая к пустым небесам, — а если я очень хочу выпрыгнуть?» Он посмотрел на меня своими огромными сияющими зенками — фиалки, чернила, черт его знает что — слезы всех девиц нашего класса — и сказал: «Давай купим еще по маленькой и пару пива, тогда, если очень хочешь, прыгнем на пару».

Пива, конечно же, не было, и, прихватив водку, мы поплелись к метро, где всезнающий Киса впихнул меня через служебный вход в тусклый закуток с тремя столиками, запахом капусты и толстенной бабой, как новогодняя елка обвешанной гирляндами сосисок. Она состригала их маникюрными ножницами и, подозрительно нас разглядывая, бросала в кипящую воду. «С какой линии?» — наконец спросила она. «Ма-жино!» — вытаращился на нее Киса. «Что?» — застыла баба, но Киса показал ей издали свое партийного цвета удостоверение, и она заткнулась, и выудила из кастрюли по паре сосисок, и выставила пива, и больше не встревала.

Это был буфет для ремонтников, машинистов, уборщиц. Портрет вождя тускло плыл в клубах пара.

«Знаешь гениальное изречение наркома путей сообщения товарища Кагановича? — спросил Киса. — Паровоз движется по рельсам путем трения... Загородика...»

Я закрыл его спиной, и он плеснул по стаканам водку, и мы крикнули, и в лампочке прибавилось света. Киса вечно знал какие-то трюки, потайные ходы. Когда мы просиживали штаны на одной парте, он на спор жевал бритвенные лезвия «матадор», а потом урока три подряд выковыривал из языка осколки.

«Помнишь, — сказал он, расползаясь в улыбке, — как мы лазили подсматривать?»

Еще бы! Мы были смертельно влюблены в новую училку по географии, Наталию Васильевну. Эта кинозвезда рассказывала нам про трущобы Нью-Йорка, освобождающийся Ганг, а мы строчили любовные записки и на переменке засовывали в карман ее душистого пальто. Летом весь класс вывезли на работы в колхоз, на скучные промокшие поля. Мы должны были слиться в трудовом экстазе с подгнившей на корню хрущевской кукурузой. Жили мы в бараке деревенской школы, и как-то вечером Киса предложил лезть на чердак, откуда через щель была видна комната учительницы. Во влажной тьме зло гудели комары, через слуховое окно наливалась ночь и орали лягушки, и мы по-шпионски пробирались на ощупь под балками чердака. Щель желто светилась. Затаив дыхание, мы заглянули и увидели завуча по кличке Козел, ненавистного всем старикашку, который, сидя в изножье кровати, зевал и чесал голый обвислый живот. Его тонкий, кошмарно длинный член свисал вниз. У ног стояла заткнутая газетной пробкой бутылка самогона, а по подушке были разметаны медвянисто-золотые волосы Наталии Васильевны.

Это она однажды на уроке по Амазонке, рассказывая о девственных дебрях, вдруг остановилась и спросила: Дети, а кто знает, что такое «девственный»? Никто не знал, а она хохотала грудным счастливым смехом, и мне навсегда занозило память.

* * *

Распрощались мы через час у турникета метро. Киса старался идти прямо, как балерина. Контролерша впиалась в него щучьим взглядом, но он лихо ей козырнул и махнул мне рукой на прощанье. Под утро у него был рейс в Читу. Летал он всегда бухой.

* * *

Дачный поселок зарылся в снег. Звуки обросли мехом и не царапали слух. По ночам что-то вздыхало в саду, влажно задевало окна. Воздух после Москвы был сладок, и от него кружилась голова. Я работал у окна и часто, забывшись, подолгу глазел, как разгуливают по снежному насту вороны, как скандалят на рябине воробьи. Рыжий брюхастый кот крался вдоль забора. Время двигалось рывками. Полдня оно стояло на месте и вдруг, ранним вечером, срывалось вскачь. Кровавый закат, сизые дымы, растопыренный черный сад — все это тоже вдруг срывалось с места, мягко несло куда-то, прихватив с собою отрезанную голову над забором, фонарный столб в виде буквы «л», далекий гребень леса, вцепившийся в растрепанную тучу, и ночь падала неожиданно, накрывая тяжелыми юбками с прорехами звезд присмиривший поселок, и снова все останавливалось, замирало и тянулось, потягивалось, и ход старинных часов с трудом продирался в этом плотном зимнем веществе. Даже дневной взрыв реактивного самолета, от которого рушились сосульки и разражались овацией крыл вороны, и тот, казалось, намертво был вправлен в тяжелую раму зимы.

* * *

На даче был телефон, в который нужно было кричать так, как будто сила голоса или высота вопля могли протолкнуть какую-то проволочную пробку посередине. Был древний, времен крестовых походов, телевизор с круглой, дистиллированной водой наполненной линзой. Диктор, близнец Киссенджера, расплывался флюсом и, не попадая пальцем в переносицу, поправлял очки и ругал брата. Кровать тоже принадлежала прошлым эпохам — бронзовые шары и башенки немилосердно пели, оповещая мышей в погребке, что заезжий барин повернулся на бок.

На даче была обычная дровяная печка и газовое отопление. Возле письменного стола обитало огромное, пружинами вкривь и вкось набитое кожаное кресло. Напротив — полстены занимал похожий на шкаф приемник. Круглое окошко со шкалой зажигалось хилым светом, и, нашаривая станцию, я чувствовал себя по крайней мере пилотом фанерного самолета: трещал мотор, кололись спицы прожекторов, внизу был Лондон, Би-Би-Си сквозь хронический кашель глушилок передавало новости.

За ночь машинка замерзала. В ватном узбекском халате я прыгал между печкой и плитой, на которой грозился сбежать дрянной кофе, а потом между печкой и тостером; и пока хлеб подгорал — остывал кофе, а после завтрака, зарядив лист черновика на еще живую изнанку, я сильно лупил по клавишам, слева направо, справа налево все четыре строчки букв, пока машинка не оживала, конечно же кроме какой-нибудь одной, взявшей отгул «п» или «н». Тогда вместо даты можно было ставить в углу «День н», отмеченный в тексте такими шедеврами, как:

— икакого дома ет, — сказала оа улыбаясь...

Ключи от этого скрипучего терема дала мне дочка атомного, от шнурков до лысины засекреченного академика, высоченная дылда со смеющимися в любое время дня глазами. Она играла на виолончели, носила ее под мышкой как скрипку, могла достать в городской отцовской квартире любую крамольную книгу и пила водку стаканами, отчего ее и без того деревенский

румянец разгорался еще пуще. Кроме прочих достоинств, она непроходимо ругалась интеллигентского сорта матом, но на самом деле была застенчива, как мышка, и сентиментальна, как все великанши.

* * *

Мы встретились на какой-то вечеринке. То ли день рождения, то ли просто пьянка. Часа в два ночи, когда гости стали расплзаться, вытаскивая из общей свалки в прихожей шарфы и шубы, я отправился на кухню, где, по словам кемарящего в ванной молодого человека, еще оставалась выпивка. Юноша не соврал, и, повернувшись к загроможденному грязной посудой столу, дабы найти рюмку, я обнаружил белобрысую особу с нахальными, немного навывкате глазами. Она улыбалась. Я показал ей бутылку, и она кивнула: всегда за. В ту ночь Москва мокро чернела за окном, как проявляемая фотография. Совсем рядом, через реку, горели кремлевские звезды. «Красный свет, — сказал я, — обозначает остановку движения или бордель». Алена — имя было подарено позже, после короткого замыкания наших бранных тел, — что-то плела про мачизмо, выуживая из банки двумя пальцами и снова роняя тоскливый огурец. Табачный дым волнами наплывал из коридора. Наконец она привсталала за вилкой, и я поперхнулся — было в ней под два метра росту.

«Ты что, — спросил я как идиот, — баскетболистка?» — «Еще один! — Она втиснулась назад в свой угол. — Ничего другого вашему брату на ум нейдет. Испугался? Я учусь в консерватории, у профессора Кима». — «А... — я не мог остановиться. — Возвышаешься над коллективом...»

Мы пропустили еще по стаканчику, и, почти засыпая, не знаю для чего, я спросил: «Пойдем? Поздно...» — «Куда? — удивилась она. — Это моя квартира».

* * *

Я хотел вытащить пьяного мальчонку из ванной, но она опередила меня, надавала юноше по щекам, спеленала и вытолкала за дверь. Грянул звонок. «Это не мое пальто», — пожаловался молодой человек. «Других нету, — отвечала Алена, — бери что дают». Юноша закачался в дверях, повернулся уходить и вдруг, теряя равновесие, по-рыбьи разевая рот, выдавил: «С тебя Родину-Мать нужно лепить. В натуральную величину». Дверь прихлопнула его. Алена, сидя на полу, плакала по-бабьи, без всяких надежд на скорую эмансипацию. «Меня мужики боятся, — всхлипывала она, — даже на улице не пристают... Я не виновата...»

Заснули мы, когда уже всю громыхал день. Луч слабого солнца, сломавшись, вскарабкался с ковра на кровать. Свежий воздух, напитанный запахом прелых листьев, натекал в форточку. Наглый голос патрульной машины под скрип тормозов гремел вдоль по улице: «Двадцать четыре-одиннадцать, возьмите влево... Освободите проезжую часть!» И вслед за перепуганными взъерошенными звуками разливалась напряженная шуршащая тишина. Закрыв глаза и проваливаясь, я видел, как черная глыба правительственного лимузина по замершей в столбняке улице несется к Кремлю.

* * *

Ключи она предложила сама. Сказала, что на даче никто не живет. Отец редко приезжает в столицу, а матери нет дела. Что лучше, когда кто-нибудь живет и топит, иначе дом промерзнет насквозь. Что на чердаке есть яблоки и соленья. Что когда-нибудь она навестит это вдохновенное захолустье, но, конечно, сначала позвонит. Что я сумасшедший, но и она тоже. Что не нужно думать об электричестве и дровах — отец платит на пятилетку вперед.

Мы стояли на Арбате у дверей овощной лавки. Моя шея ныла: разговаривая, я должен был задрать голову. Прохожие текли мимо, расплываясь в улыбках.

Я сказал ей, что буду работать как зверь. Что это очень кстати. Что в постели все одного роста. Что, когда она, позвонив конечно, придет, я нанесу на ее всхолмия и долины указатели, знаки поворотов и ограничения скоростей.

Мы хохотали под совершенно голым студеным небом.

* * *

Париж появился тоже не с бухты-барухты. Я сидел без копейки, когда Борису приспичило сваливать на Запад. Проводить его в аэропорт и там бросить? Заставить удалиться по проклятому коридору Шереметьева в немыслимое Зазеркалье? Ну нет! Стукачи, солдатики внутренних войск, иностранцы в шубах, валютные крали, таксисты, фарцовщики... Хорошенький хор, поющий прощальную арию, раскрыв ноты Уголовного кодекса...

Оставался последний трешник, когда позвонила Елена и предложила писать текст к ее фильму. «Какому фильму?» — удивился я. «Старик Кашеев, — был ответ, — два месяца обжирался лягушками в Париже. Отснял длиннющий фильм про традиции коммунаров, красный пояс, черные подвязки и прочую муть. Эдакий бородатый коммунистический бордель. Шлюхи поют «Интернационал» в приемной венеролога, пролетарии всех стран уединяются. В его фильм влезет не больше половины. Обрезки он отдает мне. Нужно слепить что-нибудь безобидное, видовое. Просек? Ты пишешь текст».

* * *

В Останкино я работал впервые. Телецентр строили долго, оборудование и отделка были заграничными, но, как всегда, чего-то недокупили, или кто-то намудрил с поставками, и в огромном здании не работали воздушные кондиционеры. Днем еще кое-как тянула по трубам хилая вентиляция. У ее решеток висели самодельные бумажные занавесочки. Когда шевеление газетных полосок прекращалось, начиналась паника. Но по ночам и эту вентиляцию отключали. К трем утра мы совершенно взмокали, и приходилось спускаться вниз на улицу подышать. «Сволочи! — рычала Елена. — На нашем этаже уже три инфаркта было. И все молодые. У начальства же все фурычит нормально». Она выросла в знаменитом детдоме, где начальство однажды дружно пошло под топор. Что они там вытворяли с малолетками, рассказывать она не любила, но про директора говорила: «Маркиз дедсад...» Была она мужиковата, крепко сбита, вечно в брюках, окончила два факультета: философский и кинематографический. Коллекционировала чудаков, знахарок, наивных философов, задвинувшихся художников... С ее легкой руки друзьям удавалось посмотреть то, что никогда не выползло на официальный экран.

«Слушай, — рассказывала она про очередное свое открытие, — он клевый чувак, был в дикой депрессуре. Жена, китайка, времен дружбы народов, умерла от рака. Пил как на работу ходил. Опустился. Стал забывать простейшие вещи. Тогда ее мать, старше его лет на пятнадцать, стала с ним жить. Теперь у них потрясающая любовь. Он написал трактат о пуговицах. Не смейся. Каждое общество застегивается по-своему. У египтян были заколки, костяные палочки, у персов чуть ли не бубенцы...» Я не знал, про кого она говорит, все ее рассказы составляли для мне одну бесконечную ленту одинаково сумасшедших историй.

«Пусть напишет вторую часть, посоветовал я ей. О том, что расстегиваются все одинаково. Это наведет его на очень несвежие мысли...»

Она бросила курить, поэтому затягивалась от моей сигареты.

«А бородач в соседней монтажной? — продолжала она в лифте. — Ты его видел? Он монтирует какую-то сказку второй год! Никак не может сложить вместе своих леших и

богатырей... По-моему, он давно поплыл... Сказал на совете, что спящая красавица символ фригидности, и что он не знает, как пристойно ее разбудить... Думаешь, мы закончим до Нового года?»

* * *

Рядом с телецентром был громадный парк имени одного из вампиров. Пруд давно уже подмерз, но в полынье еще плескались утки. Шпана гремела диковинными игровыми автоматами. Милиционеры запихивали в машину вдребезень пьяного дядю с разбитым лицом. Удравшие с работы телевизионщики опохмелялись из больших запотевших кружек и крыли чем попало главного — с первого числа были запрещены для женщин брюки, а сильному полу было велено сбрить бороды. «Маразматик! — неслось из пивного бара. — Он что, хочет на колени позырить? Я бы ему зад показал, лишь бы он успокоился. Кремлевский родственничек... Всё ему море по колено...» Кружился мелкий сухой снежок.

* * *

Нам было по пятнадцать. У Кисы чернели лермонтовские усики. Я курил дедовскую трубку. Мы выходили прошвырнуться по Броду. Навьюченные, пугливо озирающиеся колхознички пробирались в нарядной толпе столичных фланеров. Грузинские мальчишки хватали за руки блондинок. Узбекский король пик жирно вываливался из такси. Две неопытные девчухи, согласившиеся выпить с белобрысыми близнецами-лейтенантами, мялись у дверей «Российских вин». У телеграфа длинный пикап криво стоял в запрещенном месте: знаменитый поэт ловил на ржавый крючок официальной славы очередную простушку; лицо его было деланно равнодушно. Мягко вздыхали тяжелые двери подъездов. Генеральские жены и любовники балерин спускались вниз купить букет черемухи или шоколадный торт «Отелло». В неожиданных прогалинах тишины раздавались удары кремлевских курантов.

Где-нибудь у витрины Елисеевского магазина Киса хватал меня за руку: «У газетного киоска. Парочка. Она в шляпке, он с портфелем. Давай дальше...» Это была игра. Я должен был описать, как выглядела худосочная дама в сиреновом мятом платье, как ее супругник возился с портфелем, запихивая в него журнал с розовощеким поросычьим президентом; портфель кусал пальцы, журнал корчился, морщился и гримасничал царь Никита на обложке «Огонька». Игра включала в себя все: проехавшие машины, их марки, прохожих, витрины магазинов, кошек и собак, детские велосипеды, цветочные клумбы, инвалидные коляски, пуговицы пузатого генерала... Она уплотнялась до еще более мелких деталей, требовала цвета, цифр, и с первого плана перескакивала в провалы переулков, миражи проходных дворов, оазисы скверов. Иногда, поспорив, мы летели на полквартила назад и, ошарашивая какую-нибудь приличную даму в изъеденной молью накидке, набрасывались на ее товарку. «Что я тебе говорил? — вопил Киса. — Крашенная в зеленом! И шеи совсем нет!»

Игра кончилась, когда я бросил школу и ушел из дому. Но привычка осталась. Я легко раскладывал на детали целые фильмы; пугал мать подробным описанием сервировки стола у тетки Евдокии на прошлой Пасхе; запоминал не адреса, а повороты улиц, спины заборов, надписи на них, гроты подъездов, морды лифтов... Привычка оборачивалась против меня. В самые неожиданные моменты почти со щелчком включалась память и с садистской настоятельностью подсовывала лицо с совершенно лысыми глазами (обмороженное окно электрички, день, когда я узнал, что у матери рак) или упорно повторяющийся эпизод с дракой во дворе: длинный алкаш, загребая руками, падал на черный лед и его череп с арбузным треском раскалывался — от расплывающегося пятна на льду шел ровный пар.

Во время первых столкновений с Галиной Борисовной умение схватывать окружающее не раз выручало меня. К сожалению, многие из её прислужников прекрасно знали игру и были оттренированы не хуже.

* * *

Разобрать по крупицам парижские отрывки не составляло труда. Я не думал о незаконченной главе. Днями и ночами просиживая за монтажным столом, я пытался проломить железобетонный целлулоид и просочиться в мир, запертый на замок. Что можно было найти в буках про Париж? Ни черта! В лучшем случае Эйфелеву хреновину с Триумфальной аркой. Но жизнь улиц, кафе, рынков, набережных, ночных заведений, смеющихся толп, бесконечных потоков машин, — жизнь, которая хлынула с крошечного экрана, — была под запретом. Во времена Никиты на экран проскочило несколько хроникальных западных фильмов. Появилась марсианская Америка. Мелькнул и Париж. Но толстощекого ниспровергателя ниспровергли. Фильмы исчезли. Писатели, дотошно и сладко описывавшие гнилой Запад, получили по шапке. Их книги исчезли из библиотек. Для торжества оглупления нужно было лишь одно: не знать. Еще лучше было знать то, чего нет. И уж обязательно — заставить замолчать тех, кто знал. Корявая истина сонных будней. Все это впервые пришло мне в голову. До этого я пользовался словом «бред». Теперь становилось понятным, почему любой снимок из заграничной жизни действовал как замедленный взрыв.

Я работал над доцензурным материалом. Возможности, хоть в далеком будущем, своими глазами увидеть иной мир не было. Для этого нужно было начинать мутировать: вступать в партию, терять рудиментарные признаки, делать карьеру, проявлять лояльность, пить с шефом и, ругая в узком кругу всеобщее непотребство, медленно приближаться к щели в чугунном занавесе.

Шестое советское чувство в полутемной монтажной работало на всю катушку — я впитывал мельчайшую влагу, сочащуюся через поры запретов. Как и многие другие, я реконструировал запрещенную реальность лабораторно.

* * *

Целый месяц из жалких драгоценных лоскутков мы шили парижское одеяло. Не хватало парадных планов. Судьба самых живых сцен была недвусмысленно под угрозой цензуры. Уже были выброшены в корзину уличные рынки с их немислимым выбором жратвы и, по той же причине, ночные ресторанчики под вангоговским небом. Елена останавливала какой-нибудь крупный план, и мы с полчаса гадали над снейдью: что есть что? Это было так далеко от жизни, от нашей жизни, как дореволюционная поваренная книга. Мы знали, что были людьми Оруэлла, — книга, за хранение которой давали трешник, была прочитана; джина «Победа» не было, зато был коктейль «Красная Москва» и котлеты «Залп Авроры».

Несколько отрывков не проходили из-за дрожания и соскальзывания — оператор был вечно пьян. Я раздобыл карту города и красным от-еркивал опознанные места. Довоенный посол, подмороженный пятнадцатью годами Сибири, согласился однажды прийти и прокомментировать материал. Слово он сдержал и сидел с погасшей трубкой, губы его тряслись, и он безрезультатно тыкал пальцем то в выходящих из метро горожан, то в накренившуюся панораму Трокадеро. Щеки его намокли, и, когда речь прорвалась, это был французский, захлебывавшийся поток французских слов. Единственное, что мне из него удалось вытянуть, — имена неизвестных мест. Выговаривал он их так, что они били крыльями и гулили; пришлось подсунуть блокнот. Мы сидели рядом: он, оплакивающий свою молодость на лиловых бульварах, и я, честно воруящий строительный материал. Посол, так и не вернувшийся в лоно родного языка, уходя, сунул мне синенький гид «Эр-Франс» и дореволюционную брошюрку с отличными мертвыми фотографиями.

Позднее, когда улицы и площади перестали кружиться у меня перед глазами, когда публика расселась по местам и гарсоны забегали как заводные, я пришел к выводу, что ничего, кроме форм машин и фасонов шляп, не изменилось. Толпа всё с тем же замороженным видом плыла мимо террас Сен-Жермен, так же, обнявшись, стояли парочки на мостах, и у решетки сада бродяга китайским драконом пускал огонь изо рта. Это был город, из которого вычли время.

* * *

Никита жил за гостиницей «Пекин», за его гэбэшным западным крылом. Великий недоучка, он во все влез понемногу. В английский язык и теннис, верховую езду и карате, электронику, медицину и джаз. Он был шармер кавказских кровей, хорошего роста, персидской мягкости, с громадными кулачищами и солиднейшим удом.

Никита одевался по-американски, а поэтому знал всех фарцовщиков центра. От корифея Понта, сдавшего однажды макаронникам целую пачку облигаций сталинского займа, до новичков с Тишинского рынка, где дипы отоваривались парной телятиной и фуфловыми сувенирами. В столице нет ни курсов каратэ, ни джазовых клубов, ни доступных теннисных кортов. Нет в столице и батников, блейзеров, гейзеров и шузни с разговорами. Никита жил на несуществующей территории, но, если говорить серьезно, на поверхности в Москве вообще ничего не происходит, весь город давным-давно зарылся под землю. Отцы-правители, псы-опричники или юродивый люд — все живут не открыто и громко, а по секрету и как-то боком... Хорошая японская фамилия — господин Как-То-Боком...

Но стоит лишь однажды покинуть плоскую, залитую отвратительно желтым светом московскую сцену и нырнуть за тяжелый пыльный занавес, как сразу появляются пряничные дачки с саунами, подвальчики, набитые семгой и икрой, уютные гостиные, размалеванные Малевичем и кондовым Кандинским, конечно же — теннисные корты, глухие джемсешн, девочки на продажу, мальчики-кого-прирезать?, платные гуру, чемпионы черного пояса, плантации конопли, банды гениальных поэтов, скромные научные семинары по ведьмоводству, личные советники господина лажевой промышленности и так далее, до среднеазиатской мафии, до альтернативного правительства, до самосожженцев на Красной площади.

* * *

Язык Никиты был великолепен. Это была сорокаградусная настойка русского мата на гербовых пуговицах, срезанных с пиджака заезжего коммивояжера во время балета в Большом. «Я срубил такое дерево!» — означало ни мало ни много новую девицу, заарканенную вчера на Броде. Брод был Бродвеем, то есть верхней частью улицы Горького. Про таланты отловленной девицы высказывалось следующее: «Дети, эта герла факается аки тигрица...» Но он был ребенком по сравнению со своими младшими братишками, пасущими иностранный люд у дверей гостиниц, в закрытых ресторанах, в брюхах такси. Многие из них, быстро набирающие деньги, быстро садящиеся, быстро заменяемые точно такими же новичками, были невесть почему с Украины. Тогда смесь украинско-русско-английского сленга с цветными блестками французского давала такие перлы, что лингвисты всего мира попросту теряли время даром, вычисляя новоречь механического апельсина третьей мировой заварушки.

«Чувак, — мог сказать какой-нибудь кудрявый Стасик, — как у вас шузы шайнуют! Класс, чувак, фуридабль! Уступите? Промеждузапропо: есть Вайтовые трузера в блэковую страйповочку...»

Никитку, студента Института международных отношений, сбила на лету великая, как он ее называл, женщина. «Она, — пояснял бывший студент, — заставила меня взять лампу и обследовать всю ее топографию миллиметр за миллиметром. До этого, — продолжал он, — я не еб баб, а бегал стометровки. Главное было — отстреляться. Эта же ведьма научила меня

замедленному спуску с Джомолунгмы. Мы не вылезали из койки неделями. Ее муж, лифтер в правительственном доме, а на самом деле обладатель одной из самых роскошных в Союзе коллекций старинных монет, давно отученный от ревности, тут кругами забегал по городу с выменным у Игоря Олина за кожаную куртку грузинским кинжалом, завернутым в «Литгазету». Кончилось тем, что у увядающей красотки начался невроз сердца. С болью меж ребер и тоскою меж ног она была увезена в больницу своим нумизматом. Газетку с кинжалом он забыл на столе. Меж ее лиловых складок я навсегда похоронил, — заканчивал Никита, — надроченные юностью комплексы.

Мерзавка пыталась вернуться. Я жил тогда с Нинкой-балеринкой, которая вертелась, на хую как пропеллер. Теперь Нинка, господа, сидит и будет сидеть еще три года: девушка была из несерьезных, ушла из квартиры всемирно неизвестного тенора с часиками на лодыжке... Мадам ловила меня в лофтах и лифтах. В итоге мы встретилась в метро. Последний поезд бегал по кольцу. Она уселась на меня сверху в расстегнутой шубе. Снег таял на ее лисьей шапке и, стекая по шее и груди, смешивался с тяжелой розовой пудрой. Проскакав четыре станции, она кончила под голос водителя: «Поезд идет в парк, освободите вагоны...».

* * *

Отца его, занимавшего высокий пост, «по ошибке» шлепнули бериевские мальчишки незадолго до хрущевского переворота. Из института его вышибли все за ту же пьянку. Он подрабатывал грузчиком в магазине для дипов, то есть был человеком бесценным, но все больше и больше склонялся к переводу неконвертируемой родной валюты в гринны и фунты лиха. Мать его предпочитала жить в Армении, и правильно делала: в московской квартире был форменный притон. Малоодетые девицы со скучным видом слонялись из комнаты в комнату; никому не известный тип отливал на кухне в раковину, ссылаясь на то, что ванная занята.

И, правда, из ванной доносились звуки не то мордобоя, не то очередного соития. Входили и уходили озабоченные личности с жирными свертками. Надрывался скелет телефона — корпус били так часто, что хозяин больше его не менял.

Время от времени все затихало. Никита, чисто выбритый, в белоснежном дырявом халате сидел под торшером, перетягивая струны максплеевской ракетки. Домработница тетя Клара, помнившая Никитку еще бесштаным карапузом, охая, мыла пол. Магнитофон, тоже без корпуса, прокручивал курс английского языка. Холодильник был забит пакетами с молоком. Вытащенные из-под кровати, сверкали гантели. На стене, приклепленный, висел подробнейший план благотворительных акций. Там значились и небольшие пробежки вокруг Патриаршего пруда, и посещение тетки Маргариты в партийной богадельне, и выплата долгов, и письма матери, и даже нечто из ряда вон выходящее, звучащее как «шавасана», — в полдень и перед сном... Так продолжалось неделю, от силы две, а потом, в один прекрасный вечер, квартира каруселью опять срывалась с места.

Двадцать четыре часа в сутки вход к Никитке был свободный. Дверь не запиралась. Оставшиеся от роскошной жизни ковры и фарфор постепенно исчезали в комиссионке. Хорош был Никитка в драках: в нем вдруг вспыхивала мальчишеская удаль, и так как больше всего в нем было ног, то ими он и дрался. Правда, мало кто лез против его кулачищ. Бить его старались втроем, вчетвером. В серьезных случаях, когда выскальзывал вдруг из рукава пускающий лунные зайчики с того света нож, Никита со вздохом сожаления выхватывал из заднего кармана крошечный в его ладони браунинг — все, что осталось от легендарного папаши. Публика линяла, не подозревая, что в обойме прописана одна-единственная, выдохнувшаяся, быть может, пуля.

Накатывали кавказские родственники: сделать в столице закупки, наладить связи для подрастающих детей, перекупить лотерейный билет с машиной. Привозили корзины немислимых для зимней столицы фруктов. Кухня заваливалась виноградом, орехами, урюком.

Чистейшая, домашней перегонки, чача завозилась всегда в одной и той же пятилитровой канистре. Горьковатое вино, сыр сулугуни, похожий на заплесневелые рукописи Мертвого моря хлеб лаваш — собирали друзей. Никита готовил в огромной кастрюле мимоходом выдуманное блюдо, отправляя к шипящим в масле помидорам скончавшихся в малолетстве цыплят, орехи и сливы. Друзья щипали с уважением кинзу или тархун, дурели от шестидесятиградусной чачи, а Никитка, большим пальцем ноги запуская на всю катушку Френка Синатру, из рук очередной девицы принимал серебряную чарку.

Был он ходячим кладбищем талантов и, словно судьбе назло, тратил себя впустую.

* * *

Я нашел его в спальне. Мрачно уставясь в потолок, он смолил козью ножку травы. «Разгоню всех впиздунахуй, — прорычал он. — Квартиру запру. Блядей отправлю к китайцам. Хочешь курнуть?» Я затаился. Трава круто забирала. «Чего мрачный?» — спросил я. «А-а-а, — был ответ, — пойдем таянем». Мы перебрались на кухню. «Ты джин без тоньки могёшь?» Мы врезали по можжевеловой.

Смех сквозь слезы, история его на этот раз была проста: он решил восстановиться в институте. Созвонился с отцовскими приятелями, которые в свою очередь созвонились с ректором института. Тетя Клара отутюжила фланелевые брюки, пришила пуговицы на пальто. Никита, напялив для солидности роговые очки с простыми стеклами, набив портфель порнягой, которую он собирался сдать старичку-пиздоистрадателю в буках на Сретенке, отправился на переговоры.

Все было чин чинарем. Ректор вспоминал отца, чуть ли не дороги Смоленщины, пускал слезу, клялся, что понимает, что сам был «зелен и переперчен»... Никита поддакивал, протирал очки и в нужный момент вставлял, что давно в завязе, что много занимается, что проблем с ним не будет. Пришел секретарь парторганизации, тот самый, которого Никитка перед исключением лорнировал после собрания о международной напряженке — в те времена у него водился лорнет из перламутра на шелковом шнуре. Старый хрен постарел, но, судя по остановившемуся вдруг на очках взгляду, идиотскую шутку не забыл. Пришел и секретарь комсомольской организации — лощеный хмырь из новеньких: галстук цвета протухшей семги, набриолиненный пробор. Декан, он же ректор, он же маршал Советского Союза, объявил им, что студент Лисаян будет восстановлен в гражданских правах после отбытия трехлетней ссылки.

«Время было около семи вечера, — продолжал Никита, — и мы всей кодлой спустились вниз. Я стоял паинькой со взрослыми дяденьками и делал умное лицо. И вдруг сзади меня обдало винным перегаром и мягонькие ладошки закрыли мне глаза. Еб твою мать! Пронзительный голосок Алиски на всю площадь грянул в мое ухо: «Пииниииздец подкрался незаметно! Угадай!»

Я чуть не прибил ее на месте. Обернулся стоит — и качается в расстегнутой шубе, на сиськах полукилограммовый крест; жирно намазанные губищи, которыми она отсосала пол-Москвы, расползаются. «Мальчики, — говорит, — аца хоца!.. и водочки!..» Всё. Привет институту. Хотел я ей карточку, дуре, попортить, а потом плюнул — судьба-злодейка... Отвез домой и устроил ей последний день Помпеи. Уползла она и впрямь — пепельного цвета...»

* * *

Зашел фарц по кличке Понт. Лебединого цвета пальто, волчья шапка размером с аэродром. Понт не пил. Он сел, аккуратно сложив ножки, вынул из пачки мальборо яву, шелкнул зиппо, заправленной коптящим бензином, и сообщил: «Взял бундеса у «Берлина», ченжнул еловые на гриновые, но еле ноги сделал — пасут нынче по-черному». — «Тебе чего, — спросил Никита,

— сдать надо или у тебя мировая скорбь и тебе бабца требуется?» — «Именно», — отвечал Понт. «Сисястого?» Понт опять кивнул. «Скромный ты наш герой...» — сказал Никита и карандашом набрал номер. Не подходили. «Нет твоей Козы, трахается или спит». Коза была продавщицей из овощного. Давала хоть в телефонной будке. Ей было чуть за двадцать, но она уже расползалась, как старый чулок. «А Лидка?» — вздохнул Понт. «Лидку я разогнал, — сказал Никита, — она нашему участковому, дяде Ване, триппака устроила забесплатно. Может, и ты хочешь?»

* * *

Иногда Никитка брал меня «на посмотреть». В первый раз это была драка. Знаменитый Семен по кличке Берём-и-Едем вызвал Никиту на драку. Спорили на двести рублей. Уговор: ногами не драться. Мы встретились в подземном переходе на Охотном ряду. Берём-и-Едем был упакован в кожаное пальто, бандитская его рожа расплывалась в улыбке. Специализировался он на перепродаже западной техники. От калькуляторов до холодильников. И на ремонте, которого в столице мира не было и в помине. Кличка Берём-и-Едем появилась из его привычки клеить девиц. На улице, в метро, в гостях, увидев подходящий кадр, Семен, не задумываясь, вклинивался без предисловия: «Ну что? Берём бутылку и едем ко мне?» «А что время тратить? — удивлялся он. — Результат один и тот же всегда, только трепа вагон с прицепом...» Когда-то он скооперировался с Никитой — шло доставание и перепродажа сигарет, скотча, оливкового масла, колбас, печенья и шоколада из валютки. Потом братья-разбойники не поделили какую-то пригородную королеву, про которую Никитка сказал, что из нее вполне можно было настрогать штук шесть вполне годных бабенок, и вся любовь...

Дрались во дворе на Петровке, возле стены бывшего императорского яхт-клуба: косой снег, мгновенно смывшаяся, от греха подальше, парочка, тусклые желтые окна. Потом заедали снежком разбитые губы, смеялись, курили. Выходило, что никто не победил. «Я тебе, честно говоря, — хрипел Никита, — по старой памяти и врезать-то прилично не могу...» Берём-и-Едем снова нацепил на пальцы честно снятые кольца и повел нас в котельную напротив. Кисло пахло трубами, за столом сидел человек с воспаленными глазами и ветхозаветной бородой. «Гений! — сказал Берём-и-Едем, — нечеловеческих сил гений. «Войну и мир» пишет...»

Гения я знал, раньше он зарабатывал, вкалывая эксгуматором — внештатным, потому что на этом месте числилась здоровенная ряшка, за десятку дававшая долбить январскую земельку хилым студентам-гуманитариям. Гений продержался на трупах несколько зим и накопил из-под полы кучу великолепных, посадочных книг. Я приходил к нему выкупать выкраденного у меня Ницше. Гений не торговался и отдал за половину не существующей официально цены. Писал он рассказы из деревенской жизни: избы, Фёклы, волки, жирно распаханная земля, лешие и председатели колхозов в состоянии неизбежного хронического запоя. В деревне он никогда не был. «Но тянет, старик, к земле, — объяснял эксгуматор, — неодолимо тянет...» Мужики у него говорили в рассказах несуществующим величавонеграмотным языком. Теперь оказалось, он и вправду писал «Войну и мир», вернее, переписывал Толстого, меняя князей на секретарей обкомов и Наполеона на Гитлера. «Потрясающе проявляются, старина, параллели!» — уверял он.

Дуэлянты умылись ржавой водицей, гений заварил чайку и выставил нам свой единственный стакан. Сам он пил из крышки графина. Ни Семен, ни Никита к чаю не притронулись, жгло разбитые губы. Криво усмехаясь, похлопывая друг друга по плечу, они договаривались о поездке в Среднюю Азию за серебром. «На рынке в Бухаре до сих пор можно за гроши купить тонну браслетов и колец. Если в Москве хорошо перепульнуть...» — разгорался Берём-и-Едем.

* * *

В Никите пропадавал актер. Из окна его старенькой победы я наблюдал, как он, в длинном, глухо застегнутом пальто, с никоном на груди (пустой чехол), поджидал кого-то у дверей гостиницы Россия. Время от времени он посматривал на часы и поджигал гаснущую на ветру партагас. Дежурные мальчишки из отдела по борьбе с валютчиками подкатывались к нему прикурить или спросить время — типичная мутька, чтобы по акценту выпытать, кто перед ними. Никита был безупречен. Кавказская мягкость движений ничего общего не имела с легко опознаваемым полиомиелитом сов. Его малость синкопированный английский, конечно же, гарантировал наличие в дырявом кармане штатского паспорта. Агенты сваливали. Удобнее разваливаясь в его драндулете, я вспоминал лекции по маскировке. «Главное, мэн, — поучал Никитка, — это носки и шузы. Обычный начинающий мудака, как только разденет своего первого иностранца, тут же напялит джинсы и с наглым видом топают на второй заход. Вестимо, тут же и получает по черепу. На тебе могут быть какие угодно брюки и пальто, но шузы, носки и галстук должны быть стопроцентными».

Я ему советовал открыть школу. «Не-е-е, старый, — отвечал он, — меня тошнит от молодого поколения, они основали самоструг и ходят в самодельных «ливайсах» с нашитыми на жопу настоящими этикетками или в домашнего производства блейзерах, в которых за километр без очков узнаешь липу. Мы же настолько хорошо знаем родную фанерную продукцию, что, даже не понимая, в чем дело, отличаем самый дерьмовый западный шов от отечественного, потому что он принадлежит другой технологии... Когда-нибудь появится какой-нибудь мудила грешный и опишет наши идиотские страсти и увлечение западными шмотками, любой нездешней дрянью и объяснит нам самим, что это всего лишь навсегда способ смыться из гнилой, запертой со всех сторон совреальности...»

Что касается самоструга, он же самострел, Никита был прав. Домашние полуправильные портняги наловчились шить под Запад: джинсы, американского фасона рубахи, кепи, сумки... Появились люди, умеющие отливать гербовые пуговицы, из драных кошек шьющие нездешние шубы, из контрабандной кожи — куртки и пиджаки. «В Москве стали лучше одеваться», — сказал французский журналист. Ха-ха! Лучше! Мы наполовину раздели заезжих иностранцев, наполовину сами состряпали западный маскарад.

* * *

Ждать приходилось недолго. Никита вдруг как старому приятелю улыбался потерянного вида шведу, заросшему волосами до самых яиц, секунду они трёкали, поглядывая на маковки церковей, и под любовной опекой агентуры отправлялись на променады. Я заводил остывшие останки и переезжал на другой угол. Никита появлялся откуда-нибудь из подворотни, на лету, принимая его за иностранца, прилеплялся сопливый любитель жвачки, Никита посылал его куда подальше, «кто не работает, тот не жуёт», и мы катили, проверив хвост, в ресторан Пешт, где перед входом маялась очередь скучных богатеёв, не знающих, как сунуть швейцару трешник. Никита проходил через соседний подъезд отеля, толкая меня перед собою, как бедного родственника. Через минуту мы уже сидели за столиком с по-деревянному накрахмаленными скатертями, а через пять нам уже тащили водочку, икорку, жирно-золотистые балыки и дымящуюся адски наперченную солянку.

Официант Сеня с напрочь пропитым лицом трясущейся дланью разливал по хрустальным рюмкам водку под ненавидящими взглядами соседних столиков: население ожидало заказа добрый час.

В разгар пиршества Никита бросал салфетку и уходил в уборную, где облегчался от выпитого, а заодно и от двухсот долларов, перекупленных у шведского сторонника немедленного разоружения. Официант брал зелень по курсу от трешника до четырех — в зависимости от ситуации на Лубне и в Белом доме. В дальнейшем Сеня пулял грини клиентам, отправлявшимся на обреченный Запад. Члены делегаций, участники обществ по борьбе с... просто тузы, имеющие шанс выбить визу, особой проверке не подвергались. Возвращались они с товаром: что-то для себя, что-то на продажу. Проданное окупало рестораны и утехы. Мельница вертелась отлично, но Никита не любил уличную работу. В дальнейшем на него работали центровые девочки, приводившие в гости свеженьких иностранцев. Любители приключений тянули водочку, как кюрасо, присматриваясь к навеки раскрепощенным Светам, Нинам и Тамарам, а друг дома, Никита, достаточно поговорив о нефтяном кризисе и закате Европы, грязной политике и чистой материи, устраивал свой небольшой ченж или договаривался о новой встрече, обещая, с трудом конечно же, раздобыть икону, лапти или истинного Фаберже. Договорившись, он сматывался, командуя румянощеким акулам: «Ближе к телу, красавицы. Стране нужна твердая валюта...»

«Ты балда! — поучал он меня. — Что ты гниешь за несчастные пару сотен целый месяц? Работай со мной: у тебя же есть кое-какие связи с дипами? За один заход заработаешь столько, что можешь хоть год жопу греть в своем дерьмовом Коктебеле, ну?» Он спохватывался, что треплется в ресторане, перескакивал на что-нибудь безобидное, а я, закосев с мороза, рассматривал старого приятеля — Бена, наркомана, звезду, кретина, который на небольшом помосте за концертным «стейнвеем» лабал для себя одного что-то из Питерсона. Бен — Вениамин Иванович — кончил консерваторию, но после того, как его жена осталась на гастролях («на вечных» — острил он) в Японии, сел на иглу. Рахманинов и Скрябин, которых он играл на выпуске, были прямой дорожкой к Биллу Эвансу и Джону Льюису, и, попадись он вовремя понимающим людям из Blue Note, он сделал бы феерическую карьеру.

Увы, Бен попался не им, а старому педриле дяде Моне, который сделал из него ресторанного тапера, морфиниста и кокаинщика. Моня вскоре уселся и стал лагерной дамой, а Бен остался ресторанной принадлежностью, как большая хрустальная люстра, купеческие фрески или бассейн с живыми карпами, которых отлавливали сами посетители, что было, конечно, глупостью, потому что отловленный карп через трубу в кухне опять попадал в бассейн, а посетитель получал разогретую рыбешку трехдневной свежести. Разговаривать с Беном было бесполезно. Зная, что сестра моя работает в госпитале, он иногда звонил и глухо сообщал: «Старик, мне конец. Без шуток. Достань хоть одну...» Каюсь, дважды я передавал ему морфин из домашней аптечки сестры...

* * *

Ближе к полуночи Никита стал собираться. Понт давно ушел. «Если хочешь дешево купить доску, поехали со мной, — предложил Никита. — Серый привез из деревни целый багажник, хочу запастись...» Я отказался. Одевшись, уже в дверях я спросил: «Слушай, у тебя не осталось что-нибудь из пластинок? Дэйвис, Джимми Джюфри? Кёрк?» — «С ума сошел! — Никита складывал вчетверо огромную сумку. — Давно все съедено и пропито. Пропили, голубчик, все золотые шестидесятые — от Трейна до Гарланда...»

* * *

Выкроив вечер, я отправился в Сокольники. Там в военном городке жил маленького роста офицер. Уже в чине капитана, уже бросивший пить, уже собиравшийся жениться в третий раз. На спинке кресла висел мундир с синими петлицами, а вся квартира, от прихожей до спальни, была заставлена волшебной-нездешней звукоаппаратурой и пластинками. Капитан был одним из самых знаменитых коллекционеров джаза. Ни эти акайи и дюали, ни пластинки никогда не

появлялись в продаже. Однако капитан прекрасно знал, когда и где Телониус Монк играл с Коулменом Хокинсом, в каком клубе это происходило и что сказал по этому поводу толстяк Мингус. Он знал, какая фирма выпускает лучший шеллак, что пишет Даун Бит о союзе Орнетга Коулмена с пламенным скрипачом Дэвидом Айзенсоном и через сколько минут, придя с русского мороза, можно было без риска поставить промерзшую пластинку на проигрыватель.

Я не любил капитана, но у нас было что-то вроде союза. В столице было меньше двух десятков сумасшедших меломанов, обменивавшихся редкими дисками, джазовой литературой и сведениями, где раздобыть иглу или магнитофонную головку. Почти у всех представителей необъявленного клуба были свои ходы на Запад. Папаша капитана многие годы жил на берегу речушки Гудзон, впадающей, как известно, в Каспийское море. Он не любил Гиллеспи и Паркера. Он любил охоту на акул из скорострельной винтовки, и он любил сына. Естественно, он хотел, чтобы сын работал в той же лавочке. Чемоданы с пластинками были платой за согласие носить мундир с синими погонами.

Как-то капитан признался, что его коллекция не тянет на первое место. На первом, по его словам, был Косыгин. «Представляешь, — говорил он, — премьер играет на тенор-саксофоне...»

Я ушел, унося завернутую в газету «Испанскую леди» Джона Хэнди. Я поклялся играть ее только западной иглой. Я обещал вернуть Хуаниту-Кармелиту в состоянии полной невинности. Лучшей пластинки для фильма и нельзя было придумать. Но впереди была приемная комиссия.

* * *

Первый вариант текста был зарезан. Увы, я написал его верлибром. Толстозадая заместительница главного лежала в кресле, покуривая что-то американское. Аккуратный мальчик с испуганными глазами, ее секретарь, теребил удавку галстука. Его безукоризненный прибор бы похож на заживающий шрам: розовый след от кухонного тесака. Она, голосом, от которого в воздухе оставались жирные пятна, подавала реплики. «Здесь живет наш спецкор Лисицын. А это около Северного вокзала, куда наш поезд приходит... А это, Гудзуев, смотрите, Тати, давка как в ГУМе, все наши здесь покупают...»

Гудзуев, когда заглядывал ей в глаза, расправлял плечи и весь светился, но, отвернувшись, съеживался и украдкой зевал. Я сидел на краю ванны, под ногами была гравийная дорожка, вокруг были расставлены барабаны, стиральные доски — просмотр шел в цехе звукозаписи. Голос мой мерзко срывался. Я пытался читать солидно, с достоинством, но с ужасом слышал в наушниках какие-то волчьи завывания.

На втором просмотре Гудзуева уже не было. Партийная богиня возлежала молча. Фильм шел двадцать две минуты. Когда зажегся свет, она впервые повернулась ко мне, разлепила пошире заплывшие глаза и сказала: «Вы автор? Слушайте, не надо эту чепуху про «жизнь, вынесенную на сцену улицы»: нашему зрителю это неинтересно. Тунеядцы день и ночь отсиживают зады по кафе и ресторанам. Дайте больше контраста, простых людей... Неважно, что их нет в материале, обыграйте их отсутствие... Студентов категорически снять. Сами знаете, что они недавно творили...» — «Но, — заикнулся было я, — как же снять про сцену? Вот ведь и у Бальзака... Какое там! Еще у Монтеня! Париж ведь большой уличный спектакль, деревенские нравы столицы...» — «Когда вы последний раз были в Париже?» — вместо ответа спросила она, грузно выбираясь из кресла.

* * *

За неделю до Нового года фильм приняли. Изменять ничего не пришлось. Улица осталась сценой, и парижане сидели в счастливом *dolce farniente* на плетеных стульях бесчисленных

террас. Джон Хэнди пилил свой сакс, как цыган на ярмарке скрипку. Я получил гонорар, мы распили в баре с Еленой и режиссером из соседней монтажной бутылку крымского шампанского, того самого, от которого гарантированно разламывается голова, и режиссер, оказавшийся славным малым, поведал нам свое киногоре.

Он делал фильм и вправду второй год — что-то вроде «Спящей красавицы», но в сибирском варианте. Проблема заключалась в том, что сказку политизировали и добрый молодец, который в нормальном фильме разбудил девицу, постучав кое-чем о хрустальный гробик, теперь был заменен эдаким комсомольцем XIV века: с пламенными глазами и речами. Он-то и должен был сагитировать девицу не сачковать, а проснуться к чертям собачьим и приступить к активному участию... «Кроме прочего, — грустно сказал режиссер, — меня попросили исключить всех отрицательных героев. Когда же я сказал, что драма, а значит, и действие не могут строиться без конфликта, мне указали, что времена меняются, и конфликт вполне возможен меж положительными героями». Нашим детям на ваших фильмах воспитываться, сказали ему, а чему их могут научить колдуны, ведьмы и лешие?

«Резон, — сказала Елена, — у нас тоже есть для вас, дядя, история. Видели наш Париж? Так вот, сегодня мне уже рассказали анекдот, который лет через двадцать будет великой классикой: «Сидят двое в кафе. Один говорит: «Опять в Париж хочется». А второй спрашивает: «А ты что, уже был?» — «Нет, — первый отвечает, — уже хотелось...»

— А действительно, — сказал режиссер, — из вас кто-нибудь был?

Мы с Еленой заржали: «Нет, конечно...» — «А я был, грустно сказал режиссер, и вернулся на неделю раньше. Не выдержал...» — «То есть как?» — обалдела Елена.

— Так, — сказал режиссер, — это все равно что из тюряги выйти на полчаса. У меня в Москве осталась жена и ребенок, да я и не собирался делать ноги, но шляться среди нормальных людей в этом сумасшедшем городе и знать, что ты обязан вернуться и что, скорее всего, никогда опять не получишь шанс... Даже не так... Ты гуляешь, как на веревочке... К тому же мы должны были ходить группой, вся делегация. Круговая порука. Если что случится, отвечают все. И мы, как идиоты, друг за другом смотрели. Денег нам поменяли в обрез — ходишь как идиот и облизываешься. Все есть, и ничего нельзя. Один кретин из Новосибирска, не знаю, как его примазали к делегации Мосфильма, разглядывая жратвой забитые витрины, заявил, что это пропаганда, показуха... Но главное — люди, которым до наших проблем... которые делают, что хотят... Короче, я сослался на давление, и меня быстренько отправили назад. За решетку, merde, как говорят французы».

* * *

Мы допили шампанское, и я отправился отсыпаться. Снилось мне в том, белыми мухами съеденном декабре, одно и то же: синий нездешний вечер, драгоценный свет бесчисленных лампионов, золоченые ворота сада, обелиск посередине площади, кружение машин да чья-то летящая накидка, чья-то широкополая шляпа, придерживаемая рукой, уплывающая в сторону моста. Сон повторялся, площадь Согласия подменялась грязной улочкой, заваленной цветными обрезками, у стены сучали черные чулки, появлялся крест монтажной отметки, а впереди мелькала все та же развевающаяся накидка, русые волосы, рука в перчатке. Сон густел, наливался тревогой, и мне казалось, что вот-вот она обернется и в жизни все переменится, что сама жизнь хлынет совсем по-другому.

* * *

Незаметно подошли Крещенские морозы. Станционный наш пруд промерз до самых пескарей, и по ночам с его стороны накатывались глухие разрыва льда. Как-то утром радио, завтракавшее со мною на пару, сообщило, что таких морозов не было сто лет. Я расхохотался.

А подобная бредятина была? А водородные штучки-дрючки? А контейнеры с бактериологическими бац-бац-бацилами? А похищения, угоны, всемирное вранье? А запудренные вдребезги мозги миллионов? А заложники? Их же, конечно, интересуют морозы... Какой-нибудь заплесневелый бывший комсомолец, имеющий нынче допуск к архивам, пикантности ради выуживает со страниц «Русской Атлантиды» меж строк о готовящемся фейерверке в Татьянин день и размышлениями городского главы о возможных шалостях молодежи на студенческих гуляньях сообщение поставщика мехов при дворе Его Высочества о рекордно низкой температуре в обеих столицах...

А где, мерзавец, пушистый беспартийный снежок и горячий сбитень? Где саночки, крашенные кармином? Где гимназистки в беличьих шубках? Где честной люд, в воскресном платье возвращающийся из собора? Сучье племя, до чего же вам удастся подтасовка времен... Нет на свете ничего более проститутского, чем прислуживающий передовому строю журнализм. «Гусарский полк имени Сальвадора Альенде перевыполнил план по сбору триппера в публичном доме Краснопролетарского района столицы... Канцелярия Их Тускнейшества сообщает о присуждении Георгиевского переходящего знамени столовой №13 города Объедково...»

Проморозили русское прошлое, как станционный пруд, до зарывшихся в зыбкий ил пескарей...

* * *

С институтом заложников, думал я в то утро, может быть, я и не прав. Шантаж этот возможен только из-за гипертрофии чувства человечности. Скажи султану Ченгизбееву, что если он не выпустит бедного портного Шнеерсона домой в Кесарию, то через час будут расстреляны заложники, захваченные в чем мать родила в здании городской бани, и Ченгизбеев спокойно ответит: «Стреляй, враг своей жизни, стреляй, пока есть патроны, а потом мы тебя шлепнем...» Султан в гробу видел угрозы чьими-то жизнями. Для всеобщего испуга и давления на его контору толпа нужна, готовая иметь дело с булыжником, с оконными стеклами, с оружием всех времен и народов нужно общественное мнение. А это то, чего в стране давным-давно нет. Есть необщественное мнение и общественное немнение. И все дела.

Чертово радио вывело меня из себя, и пришлось, напялив ушанку, валенки и полушубок, тащиться в лес, к воронам, выгуливать злость.

* * *

Я закончил наконец перепечатывать роман, дня три провозился с названием, приплел зачем-то имя дачного поселка: «Станция «Кноль» — звучало забавно, перекинулся на вульгарное «Прыжок», добрался до чьей-то, в памяти размытой, цитаты про дикий мед, нашу и вашу свободу, мировую тоску, и в итоге дремучей ночью, когда прикатившая из цивилизованной столицы виолончелистка баскетбольной команды консерватории спала, как среднерусская возвышенность, бессонница подарила мне отвратительное «Минус жизнь», после чего я, рассвирепев, поиски прекратил. Первый экземпляр, завернутый в жирный номер «Правды» и укутанный в пластик, был запрятан на чердаке между садовой рухлядью и покончившими в одночасье с жизнью разносолами академика: морозец превратил огурчики и грибочки в кашу рыжего льда и осколков.

Девица застряла на три дня, надышала уюту, наварила щей и в награду воскресным вечером на хорошо протопленной кухне была вымыта мною в доисторическом корыте. До устройства зимней ванной атомный академик не поднялся. Рыжий свет с трудом продирался сквозь клубы пара, девица визжала и хохотала, увы, лишь частично погруженная в огромное корыто, а я, совершенно взмокший свинопас, тер розовые лопатки, впивался в горячую мыльную шею, слишком долго занимался ее нежной, с крошечными сосками грудкой и, заговаривая ей зубы

сказками из Тантр, Камы-с-Утра, а также проделками ойран в стране восходящего солнца, продирался сквозь потемневшие косички на ее крепком мысе.

Несмотря на предварявшие купание вполне гладиаторские битвы в громкой бабушкиной постели, я все же терял дыхание, забывал разбавить горячую воду, мрачнел, делал девочке нечаянно больно и бежал в неожиданно простудные комнаты за купальной простыней, а также попытался, о чем тут же пожалел, донести розовокожую буйволицу до остывшего ложа.

Ночью меня разбудил стук в дверь. Я осторожно освободился от девичьей руки, имевшей привычку и во сне держаться за то, что ей больше всего нравилось во мне, накинул халат и, прихватив звякнувший бронзовый подсвечник, вышел в сени. Ледяная струя била из-под двери. Стук обернулся грохотом.

Есть такие люди, которые обожают ломиться в дом. Нет чтобы постучать, ну, не слышно, тогда посильнее... Эти же сразу лупят кулаком. И не то чтобы кулаки у них размером с небольшую тыкву — черта с два! — или сами они кося сажень в плечах... У Сани — дверь глотнула морозу — все худенькое, чуть-чуть усохшее. Дунет ветер у калитки, и занесет беднягу в сугроб. Да вот спасение: на поводке здоровенный бугай — боксер Маша, черчиллевская морда, слюнявая губа, обиженный для понту, шухарной глаз. Саня — мой соавтор по разнузданным хохмам и нехорошим анекдотам. «Сегодня мы насочиняли на 65 лет лагерей», подсчитывали мы обычно, расходясь.

Он покосился на подсвечник. «Спишь, что ли, бумагомаратель? Заховался!» Был Саня сентиментально пьян, давно не брит, в офицерском овчинном полушубке. Трубочка пыхтела в подгнивших зубах. «Что-нибудь случилось?» — спросил я, гремя засовом. «А... — топал он, сбивая снег, — остопиздило все. Даешь политубежище?» Из кармана полушубка он уже тянул бутылку столичной.

Через полчаса мы сидели в ногах проснувшейся кисоньки с чашками водки, с раскрошившимся сыром, с лихо нарезанной колбасой. «Ханина лишили московской прописки, — рассказывал Саня. — За анекдот. Прямо в очереди повязали мудилу. Говорят, счастливо отделался. Теперь, мол, новый закон. Нехуя, простите, красавица, порочить общественный строй». И он осторожно вытащил из-под одеяла кисонькину лапу сорок второго размера и громко чмокнул в пятку. «Все говно, кроме мочи...» — сдерживая икоту, резюмировал он.

Мы сидели в темноте, синий свет сочился сквозь разводы льда на окнах; было полнолуние. «Накатал что-нибудь новенькое?» — спросил я. «Засуха в Сахаре, наводнение в Атлантике, охрангел, боксер Иванов набил руку. Галич и Кривич поехали в Углич. Ни хрена нет. Шлак». Мы зарабатывали с ним одно время, продавая по шесть рублей идиотские объявления на последнюю страницу в юмор играющей, либеральной прикидывающейся газетенки. Последняя наша хохма легла в черный ящик газеты. Все больше и больше мы выдавали непроходняк. «Пишущего пером не вырубишь топором, — опрокинул чашку Саня. — Все остоебенело...»

Начали мы года два назад, пародируя официальный язык газетных сообщений: «Подсчитано, что любовники знаменитой актрисы Финики Моти вынюхивают в месяц три литра духов «Последний шанс», в то время как в рабочих кварталах этими духами и не пахнет». Крамола проскочила, и мы регулярно подрабатывали на табак, а иногда и коньячок. Но в последнее время начальство вдруг спохватилось, и на нас поставили крест. Сотрудники шелудиво-шаловливой газетенки к нам относились по-прежнему, но дальше буфета наши шутки не шли.

«Ну, мне пора спать, — сказал Саня, — мне утром коммунизм строить...» — «Ты что, — разинул рот я, — на работу устроился?» — «А ты думаешь, я просто так нырнул в проточный маразм? Я теперь кую репортажи о стройках, выдрачиваю веселенькие интервью с директорами автобаз, пишу под пятью псевдонимами, эти их мать! Я даже подписываюсь «Ольга Жутковец», и ничего, проходит... Мадам пишет очерки о наших охувевших от счастья современниках... Где у тебя запасная койка?» Он покачался над кисонькой, издал звук, долженствующий быть свистом, но собака Маша спала, налакавшись водки из блюдца, и отправился на диван, где я навалил на

него весь запас летних одеял. «Баюшки, — сказал он, — ебьтесь потише, а то у меня комплексы...»

Я уже отчаливал к гости к Морфею, когда услышал его голос. «Знаешь, что такое советская власть? Это коммунизм минус электрификация всей страны... Я думал, что сам придумал, а оказывается некто Радек уже так нехорошо шутил. Меня, суки, в Прагу не пустили, на фотоконкурс. Я второе место занял... По черно-белой...»

* * *

Золотым, антисоветским по оптимизму утром мы проснулись от выстрела двери. Судя по хрусту снежного наста, деликатные Саня и Маша отправились в лесок на прогулку. Утром телам не нужно прилаживаться друг к другу. Ночь подогнала выступ к впадине, завела локоть за голову, отпустила руку, куда ей хочется. Кобылица моя не поворачивается, лишь длинно вздрагивает, как от боли вытягивая шею. Трогается с места на третьей скорости колесница, гремят башенки, тренькают бубенцы. Ворона, кагэбэшница, зырит через лунку окна, но мое собственное зрение уже гибнет в горячей мгле. Только что было обычное тело, а теперь сплошная мука. Стони, стони, дуреха, сейчас умрем... Эллинские игры это, а не ебля, разрази меня гром за татарское иго русского мата! Кончает она так, что мы летим куда-то в тартарары под треньканье лопающихся струн, под гром литавр. Коленки ее сами по себе подтягиваются к подбородку. Я вгрызаюсь в яблоко ее плеча, в плечо ее яблока... Прощай, жизнь! Здравствуй, грусть!..

Между этим соскальзыванием в бесконечность и возвращением во взмокшую постель лежит другой мир. Мы в самой слабой точке жизни. Той, через которую прощупывается смерть. Это она хлещет вдоль по хребту огнем другой жизни...

«Не шевелись», — просит она. Лицо ее, повернутое теперь ко мне, порозовело. На кончике носа капелька пота. Зима кончится. И мы еще живы.

* * *

Мы сидим втроем за столом. От чашек кофе поднимается пар. Маша опохмеляется суточными щами. Немножко нервный Саня, положив руку на затянутые в толстенные рейтузы девочкины коленки, мудрствует. «Старики, — говорит он, — все хорошие оргазмы разные. Все неудавшиеся одинаковы. Качество оргазма зависит от того, в каком лотосе он взрывается. Лично у меня этот бенгальский огонь лишь однажды добрался до тысячелесткового. Зато частенько эта электричка, минуя гипофиз, проскакивает прямо в бедные мои мозги и развешивает там немой фейерверк, как в столице нашей родины городе Москве в день всеобщего поражения рабочего класса, седьмого ноября любого года до конца света... Твою мать! Однажды мне попалась смуглая и корявая, как коряга, румынка. Она жила, падла, под моей шпионской рукой и была вся сплошной запретной эрогенной зоной. Когда она кончала, это был последний день Помпеи. Сначала сообщали сводку о грядущей катастрофе, но народ, как всегда, не верил и базлал; потом наливалась светом вздымающаяся почва, а уж далее все заливал огненный поток и румынская подданная вздымалась аж под самый потолок. Я на ней хуй сломал. Меня валило ветром, когда я покидал ее шалаш на Балагуше. Мусор на углу глазел на меня, как на сбежавшего из соседнего диспансера туберкулезника. А продавщица зелья в гастрономе, бывшая свидетельницей моих челночных снований за горючим, нагло спросила: «Мозоль не натер?» Саня скормил псине кусок сахару и ухом стал оттирать ей угол глаза.» Но когда я вытащил свой стахановский, все еще дымящийся член перед известнейшим урологом столицы товарищем Ривкиным, он только охнул: я порвал себе уздечку и терял кровь непоправимо. Туман в мозгах я воспринимал за последствие штурма храма Афродиты в

Сокольническом районе, а это была явная потеря красных и прочих шариков... Меня наскоро залатали и надолго запретили подходить к бабам. Шутники! На месте моего либидо была мегатонная воронка, полная дождевой воды».

* * *

В конце той же недели неожиданно нагрязнула жена академика. Маленькая, крепко сбитая, она колобком прокатилась по даче, вскарабкалась на чердак, поохала там на похоронах разносолов и неожиданно оказалась напротив меня в кресле, посасывающая длинный мундштук, что-то мне пытающаяся объяснить... Нужно было трясти головой, освобождая там место для ее чудовищно неправдоподобных вопросов. Да и признаться, несмотря на полуденный час, я спал, когда она прикатила. Короче, пепельница вот здесь, она спрашивала, когда же я намерен официально испросить руку и иные части тела ее крошки, ее малютки... Я не нашел ничего лучшего, да нет, вы меня не удивили, как нагло соврать, что я давно женат и нянчу мал мала троих детей. Чушь, конечно, вздор, но не больший, чем ее собственный.

Их Свирепейшество скатилось с кресла и, уже затылком попросив меня не прикасаться к дочке и незамедлительно покинуть поместье, хлопнула дверью. Я видел лишь скунсовую шубу, мелькнувшую в калитке, да зеленый бок литровой банки, прижатой к груди. Где эта карга отыскала уцелевшие от мороза грибочки, для меня было загадкой. Вечером того же дня раза три звонил телефон, но в трубке лишь булькало. Наконец голос прорвался, и, судя по всему, вдребедень пьяная кисонька просила на обращать внимания, простить мамахен, поджечь дачку, срочно приехать, ключ оставить себе... «Дело в том, — сообщила она, — что папенька ее покинул. Он нашел себе другую женщину, которая прежде, чем окончательно разоружиться на узаконенной постели, конечно же, дала подписку о неразглашении...» Пожелав ей спокойной ночи, я не удержался и спросил: «Как же так случилось, что мышь родила гору? Не кричал ли когда атомный академик в порыве гнева маменьке: «Пелагея! Наша дочь не от тебя!?!»

* * *

Это был мой последний разговор с ныне знаменитой виолончелисткой. Дальнейших, мелькавших вплоть до встречи с Лидией, я с удовольствием перевел бы на номера. Номер один отсутствовала. Номер два была всегда застенчиво пьяна. Я так никогда и не выяснил: была ли она столь любвеобильна, что успевала промокнуть уже по дороге ко мне, или же красавица, продолжая смущаться, успевала разогреться с кем-то другим... Серенькая, незаметная, входившая боком, уходившая, когда я спал, она исчезла раз и навсегда так же неожиданно, как и появилась. От нее не осталось ни телефонного номера, ни носового платка, ни плохонькой фотографии.

Номер три считала себя дамой света. Ее показывали по ТВ. Она мелькала на сцене Большого. В ее хорошо оплачиваемой профессии был грустный подтекст: девочка читала в микрофон самые последние и самые фальшивые известия или объявляла о выступлении всемирно известного борца за мир, полковника разведки, господина-товарища Жан-Пьер де Рьянова. Она вызывала во мне, увы, тихое бешенство, ибо имела привычку за полчаса до своего скромного, на блошинный укус похожего, оргазма заводить песенку: «О нет! — раздувала она свои меха. — О нет! Нет!» Это было так удивительно, что я несколько раз прекращал работу по добыче кленового сиропа и, свирепея, спрашивал, что именно «нет»?

Ах, она и сама не знала...

Номер четыре и номер пять были сестрами-близнецами. Их угрюмая шутка утверждать, что они никогда не пробовали «этого» друг с дружкой, кончилась тем, что мы провели вместе, не одеваясь, удручающе депрессивный, но все же обогативший, по крайней мере меня, опытом в определенных областях уикенд в их китчевой квартирке. Девочки не только были

законченными лесбиянками, они были вполне созревшими монстрами. Но их фантазмы пока еще не совсем допроявились в глянцево-черном растворе их сдвоенного воображения.

Кто еще? Девушка на должности «жены поэта». Кажется, Россия последняя страна, где эта профессия котируется столь высоко, о, боги Олимпа и ты, Прокуратура СССР... Соответственно возникает ряд качественных и одновременно бездарных спекуляций. Жена поэта женою никогда не была. Да и сам поэт в своей должности пребывал относительно. Его стишки представляли из себя простейшую формалистическую эксплуатацию канцелярщины советского языка, с помощью повтора доведенной до скоропостижного абсурда. Девушка, в далеком прошлом прожившая с поэтом месяц, как говорили одни, и полторы ночи, как уверяли безжалостные другие, играла нынче в московский либертинаж: смесь сексуальной неразборчивости и щучьего аппетита. Я болел гонконгским гриппом, когда она забралась в мою постель. Через несколько дней я оправился от болезни, а она, наоборот, соскользнула в горячечный бред. Я был так отвратительно одинок в том марте, что не шевельнул и пальцем, чтобы отправить девушку восвояси. Я даже позвонил однажды, удивительно синим вечером, самому поэту и вполне непрозрачно намекнул на умыкание блондинки. Но поэт так заерзал и загулил где-то у себя на Зубовской, что я отчетливо почувствовал его страх перед этим маленьким воспаленным созданием. Гораздо позже, совсем в другую эпоху, я встретил ее в подвальной комнате комитета литераторов, Пень-клуба, как я именовал организацию придурков, к которой, впрочем, был и сам приписан. Она, моментально изломав лицо а-ля Пикассо, сказала мне: «Ты знаешь, что я от тебя сделала аборт?» Я ей не поверил. Но даже если это и было правдой, я был бы рад. Большого кошмара, чем иметь на стороне ребенка от совершенно фальшивой — от крашенных волос до биографии — женщины, я не мог себе представить. Единственное, что в ней не фальшивило, это подвижная, крепкая, как рукопожатие, пизда... Увы, она обросла этим вымученным телом, этой несуществующей историей жизни.

* * *

Любитель мгновенных снимков, я, забегаю вперед (или отбегая назад, время отсчета никем не установлено), нажимаю курок послушно оживающей фотокамеры, и вот вам на память бледное Рижское взморье, осунувшийся небритый Саня, боксер Маша с теннисным мячом в слюнявой пасти и отрезанная улыбающаяся голова юной виолончелистки, зарытой в песок, — они поженились. Ноги Сани остались за кадром, но я хорошо помню мумию левой и рядом буквой Х сложенные костыли. Мотоцикл, на котором они в общем-то удачно разбились, был свадебным подарком папаши.

* * *

Второй экземпляр я передал Осе Штейну, мальчику лет пятидесяти, балетнолягому, с постоянно вздетыми, доводы разговора в косички заплетающими руками. Еще недавно он был литературным критиком номер один, и выход очередной книжки «Квадратная звезда», где он вел отдел, ожидался с чисто русским читательским трепетом. Осини формулировки были убийственны. «Куськин, — говорил он, к примеру, — открыл новый тупик в прозе...» Но если он одобрял написанное, можно было спать какое-то время спокойно. «С первой же премии, — предупреждал Ося, — вы мне ставите бутылку «Вдовы Клико».

Но журнал прикрыли, а Осю, за подписание письма в защиту севшего в тюрьму поэта, вывели из игры. Его книги были изъяты из библиотек, имя перестало появляться в печати, и даже периферийные, годные лишь на заворачивание ржавой селедки газетенки отказывались его печатать. К тому же впервые после смерти генералиссимуса и отца народов отовсюду начали

выкидывать евреев, и хотя у Оси был дядя, знаменитый кремлевский летчик по фамилии Иванов, дела были швах.

«Понимаете, Тимофей Петрович, — мы вечно были на «вы», — вся штука в том, что советский эксперимент удался... Большинство жвачного населения формулирует ситуацию весьма неглупо: «Лишь бы не было хуже». Любая попытка улучшить жизнь кончается естественным ухудшением. Формула успеха основана на том, что отцы-правители гарантируют члену нового общества жизненный минимум, за который не нужно бороться, как сказал бы прол — «упираться». Но вовсе не задарма. В контракте этом есть роковый пустячок. Нужно отказаться от воли. Кстати, на каком еще языке слова «воля» и «свобода» — синонимы? Право на волю, то есть на действие, имеют лишь избранные. Но и их волевые импульсы контролируются. Даже наверху, на трехместном троне, они внимательно следят за действиями друг дружки. И где бы ты ни был, любая твоя свободная волевая акция вызывает у дрессированных окружающих настороженность. Общество устроено так, чтобы незамедлительно гасить любое волепроявление. Отученные самовыражаться передовые граждане впадают в панику, свирепеют от страха при мельчайших проявлениях чужого своеволия. На то должно быть разрешение! Вот формула жизни нашей. Вступив на путь единственной в этой стране — партийной — карьеры, получаешь право на действие. Тебе, однако, постоянно внушают, что это привилегия государства и что если ты сделаешь ложный шаг, то секир башка... Чем выше ты взбираешься вверх по лестнице, тем в большем радиусе тебе разрешают действовать. Чем дольше ты умудрился удержаться наверху, тем больше у тебя шансов сохранить приоритет действия на всю жизнь. Причина проста — за тобою признают развившуюся способность действовать, и тебя безопаснее оставить шуровать в рыбной промышленности, чем вообще вывести из игры, потому что тогда ты можешь устроить трамтарарам где-нибудь в малоофициальной области жизни... На этом построено все. Поэтому Сталин убирал оппозицию. Так для остаточноволевых создавался ГУЛАГ. Ничего нового в наше поддельно либеральное время не произошло. Дали шанс молодым идиотам показать себя. Вроде соревнования: кто прыгнет дальше. Дальше всех прыгнул Солженицын. А по яйцам не хоца? А кто еще? И так отобрали целую команду, хором запрыгнувшую за разрешенную черту. Теперь, после выведения пятен на солнце, можно спокойно жить лет пятнадцать, пока подрастет следующее поколение попрыгунчиков. Потом и они получают урок».

Ося перевозил меня в город. Как и я, он жил в пропахшей капустой и склоками коммуналке, но ездил, мерзавец, на довоенном роллс-ройсе. Все тот же дядя, давно живущий на пенсии и имеющий черную волгу с мордоротом за рулем, передал однажды племянничку ключи и полный комплект запчастей. «Не мозоль народу глаза!» — таково было его благословение. Означало оно вполне резонное пожелание не парковаться то и дело возле Большого театра или на улице Горького. Роллес был, конечно, трофейных кровей, и дядя в свое время накатал на нем с девочками не одну тысячу километров по родным колдобинам. Но на то он и был славным сталинским соколом, чю у его, в отличие от птичек, был собачий нюх. Времена изменились, и в новейшем столичном стиле было совсем не комильфо заезжать в распределитель за еженедельным пакетом с амброзией на серебряном роллсе. Мало у кого что есть! Эдак начальник дачной охраны второго заместителя первого секретаря придет на танке...

Эпоха давно уже настойчиво рекомендовала железобетонную скромность и бронированную застенчивость. «Затыриться и не выпендриваться, — повторял Ося. — Вот чего от нас хочет ангел-хранитель с подрезанными крыльями. Понимаете, мой друг, — говорил он, — никакие аксельбанты и ментики не могут соперничать со спецпуговицами и спецширинками. Партийное пальто — это и есть воплощенная власть. Безлико и пуленепробиваемо. Чувствуете родство с мафиози?»

* * *

Иногда во время прогулки или в своей захлавленной комнатухе Ося вдруг посреди разговора делал неожиданный балетный прыжок, разводя руки и углом приставляя правую ногу к вытянутой левой. После чего он смущенно поправлял свои длинные седые волосы, обсыпавшие перхотью мышинового цвета пиджак. «Я, голубчик вы мой, упавшая звезда, — шутил он в таких случаях, — мне пророчили великое будущее. Ан я прыгнул не в ту сторону...» Жил он анахоретом, единственное, что я знал, что у него когда-то была невеста, что умерла она при каких-то драматических обстоятельствах и что он носил траур три года, не брился, не стригся, ежедневно навещая ее могилу на Ваганьковском кладбище...

Он имел привычку резко менять темы своих стремительных монологов. Выглядело это так, будто мы заранее обсудили их план лет на двадцать вперед и теперь он лишь углублял с каждым возвращением окопчики наших раскопок. И пока я собирал вещи, он, выполнив небольшой пируэт на кривом полу дачки, скользнул за амальгаму предыдущего разговора. «Их власть в самом новейшем смысле патриархальна. Герантократия. Дети не имеют права голоса. Лева голоса. Дети не имеют права обсуждать взрослые проблемы. А взрослые проблемы — это все: от войны до секса, который тоже война. Поэтому в стране царит кошмарнейший пуританизм и процветает морозоустойчивый разврат. Населению разрешается отсутствовать. Население насильно обязано пребывать в сопливой детскости. Если ребенок лет пятидесяти девяти, изобретатель какой-нибудь там водородной игрушки, вдруг решится вылезти на Совет старейшин, его для начала поставят в провинциальный угол, чтоб одумался... Нет? Так выпорют. Отправят в колонию малолетних преступников. Только у стариканов есть право думать, чем кормить неразумных детей, только они могут решать, пора ли Петру Ивановичу взобраться на Марью Васильевну... И они категорически не выносят этих дошкольных воплей из-под стола, призывающих решать дела совместно, перейти на диалог, не ссориться с заграничными родственниками. Тоталитаризм — это власть монолога. Одностороннее движение. А Запад для герантов — все те же дети, только дети испорченные. Причем кем? Другими испорченными взрослыми. Бунт малолеток им потому и не страшен, что они создали разветвленнейший механизм контроля, насадили громадную армию воспитателейнадсмотрщиков... Если вы заглянете в свое прошлое, то там горит тусклым неонем одно лишь слово: НЕЛЬЗЯ. Мы растем под этой единственной звездой. Мы мыслим только в ее лучах, и даже лучшие из нас, смелейшие и умнейшие, отчаянно дерзнувшие сказать МОЖНО, раздавлены ужасом от того, что тень, падающая от МОЖНО, все же читается как НЕЛЬЗЯ. Простите, Тима, за занудство... Вы же знаете, мы политизированы против собственной воли!»

* * *

Я распахнул свои жалкие шмотки, запер терем академика на большой и несерьезный ключ, и мы, буксуя в каше из снега, воды и глины, медленно отчалили. Узкое пригородное шоссе было забито грязными шумными чудовищами. «Я, — уже сменил тему Ося, — может, должен был бы решиться и свалить в Израиль. Все равно работать мне здесь не дадут. Но скажите, что делать одетому в хаки, с узи на плече, специалисту по русским литературным склокам в городе Беершебе, при сорокаградусной жаре, в несуществующей тени хилого тамариска? Да и где я возьму деньги? У меня вовсе нет этих сумасшедших тысяч, чтобы заплатить жене алименты за девять лет вперед...» Я обалдел. «Осенька, разве вы того? Мне говорили, что у вас невеста... несчастный случай...» — «А вам не говорили, что Киссинджер звонит мне каждый вторник? Невеста! Куст сирени! Как печать на душу мою... Именно: несчастный случай. Забудьте. Плюс сколько-то еще рыжих денег государству за право смыться из рая да еще за билет до столицы вальсов...

Да и дядя... Вы не волнуйтесь, я дорогу знаю. Дядя может взвыть и перекрыть мне все пути. Он ведь уже лет сорок пребывает в почетном звании Иванова. Был бы я моложе... Но и оставаться тошно! Мы закомплексованы незнанием остального мира. Наше желание выскочить из клетки естественно. Но я не уверен, что мы способны жить на свободе. Мы не способны выбирать, не способны действовать. У нас атрофированы волевые мускулы души. Мы ими не пользовались, не было возможности. Хорошо, рафинированный столичный хмырь, что-то о Западе знающий, полтора языка освоивший, пройдя горячечную шоковую адаптацию, вынырнет, очухается, но нужно же будет вмиг повзрослеть? А середняк? Он же привык жить дуриком, раскидывать чернуху, косить на ебанашку; он привык жить в лагере, в большой зоне, но всё же по правилам лагерной жизни. Стараться, например, все получить даром. Качать права... Да и для западного человека мы все должны выглядеть ободранными моралистами, десантом неудачников, защищающих свое поражение. Чисто психологически, отгораживаясь от прокаженных, нас будут не замечать, от нас будут отделяться подачками из фондов социальной помощи. А значит, новейшая изоляция будет сгонять бывших сов в новые гетто... Перспектива, знаете ли, из самых мерзких. Кто же любит собратьев по тоскливому несчастью, по коллективному изнасилованию? А левизна западных идей, упорная просоветскость? Пусть она непрочна и в моменты кризисов в общем-то лечится, но ты именно от нее уехал, а тут снова по всем газетам кто-то будет вопить, что опять пора переделывать мир, вешать богатых, отдавать дворцы бедным... Из нас же выйдут самые жуткие крайне правые! И все из-за свободного тока воздуха, к которому мы не привыкли. Поди объясни ошалевшему от Нью-Йорка киевлянину, что свобода — это свобода выбирать несвободу... Он же пошлет вас в известное плохо освещенное место; он же потребует свободы только для себя — откуда после Союза мы надыбаем в себе эту самую терпимость? Простите, что я вам капаю на серое вещество...»

* * *

Денег у Оси не было, и мы минут пять скребли по карманам, набирая мелочь у бензоколонки. Грязного вида баба отказывалась взять наличные. Давай ей талоны... Что за тоскливая чушь! Сколько изворотливости нужно проявлять, сколько энергии для поддержания простых человеческих отношений! Только когда утонченнейший Ося покрыл бабу ширококлешим матросским матом, обрушил на нее телегу угроз, имен, проклятий, сообщил ей достоверные сведения о сексуальных причудах ее матери, отца, бабушки и даже тетки, только тогда она нацедила нам рюмку водки, кружку пива, десять литров высокооктанового пойла, сдачи не надо...

В черных лужах на обочине плескалась небесная лазурь, вороны в своих галифе разгуливали, как наркомы, по подсыхающим кочкам, и я подумал: какого черта меня так раздражает меловой период новостроек? Их бездарные хребты, выцветшие серорозовые лозунги, в которых народ и партия взасос едины? Почему бы мне не полюбить этих прожорливых придорожных милиционеров, вымогающих незаконную пошлину? Да хотя бы за их средневековую изворотливость, за угрюмый разбой, за родство с Чингисханом... Или почему бы мне не затосковать по дружбе с этим засаленным, испитым шофергой, отливающим за пустой канистрой, задрав голову к голым веткам? Что за отравка плещется во мне? Безлюбное дикое неприятие этой гноящейся жизни... Торжественный дурак! Любитель парадоксов! Джон Донн уснул? Заткнись... Жизнь — это место, где жить нельзя... Комариное гудение, перерастающее в рев бомбардировщика... А если наоборот? Ося, Осенька, за что нам такое счастье, передовой тупик, советский паралич, самый прогрессивный в мире...

Третий Рим приветствовал нас трехметровыми портретами вождей, вздутыми от ветра. Двенадцать, включая Иуду, расположились полукругом. Под их отеческой рентгеноскопией забрызганный грязью роллс-ройс влетел на проспект. Девочка, стоя у светофора, задумчиво грызла яблоко. Раздавленный голубь вздрагивал грязным крылом.

* * *

Ося разбудил меня. «Приехали», — сказал он вяло. На углу Каретного переулка бабы в телогрейках сражались с глыбами льда. Часть улицы была огорожена, и кто-то невидимый скидывал снег с крыши. Прохожие осторожно перебирались на противоположную сторону, охал, приземлившись, целый сугроб мягкого лилового снега, а за ним с грохотом терял зубья сосулек звонкий карниз. У дверей клуба транспортников небольшая толпа весело скорбела возле грузовичка. В открытом гробу, как на грядке с цветами, загорал покойник. Медная музыка пускала зайчики. Наша городская сумасшедшая, известная от Самотеки до Маяковки, в самодельном пальто из лоскутков, с такой же сумкой, тащилась в сторону бульвара. Меня всегда потрясал ее клоунский грим: чуть ли не мукой присыпанные щеки, жирно намазанные кровавые губы...

Ося помог мне вытащить сумки. «Надеюсь, вы не подписали рукопись? — спросил он. — А то у меня с ГБ вкусы совпадают...»

* * *

Дом был выстроен года за три до революции. Русский модерн процветал тогда. Кое-где в подъезде еще сохранилась цветная плитка, ирисы, лебеди, воспаленные небеса. На тумбе первого марша еще недавно стоял каменный лев. Щитом с сомнительной геральдикой он прикрывал выбитый глаз от управдома. Огромное мутное зеркало еще совсем недавно политически безграмотно отражало всех входящих подряд. Но вдруг все исчезло. Волна охоты за старинными вещами захлестнула столицу. Словно граждане доперли, что прошлое кончается, что его так основательно переделывают, что скоро не останется ни одного свидетельства. И это не было охотой за антиквариатом. О нет! Пошла мода на все старое, точнее, дореволюционное. Из деревень вывозили не только прялки, кофты, сарафаны, иконы, самовары, но и гребешки для чесания льна, и светильники, оконные резные наличники, ступки, посуду и полотенца. Комиссионные, еще недавно набитые серебряными шкатулками, китайским фарфором, безделушками из слоновой кости, табакерками, веерами, опустели.

Новые времена наступили стремительно, чуть ли не по звонку. Объявилось до черта нуворишей. Всеми правдами и неправдами имеющие деньги старались удержаться в центре, в черте старого города. Снова разрешили покупать у иностранцев подержанные машины. Вышел из изоляции дипкорпус. Заструились по всем проулкам среднеазиатские делишки, кавказские аферы. Очередь в ресторан Узбекистан, где обмывались удачные сделки, выстраивалась с одиннадцати утра. И если раньше уцелевшая от чисток княгиня тащила в черный день в комиссионку уцелевшую же от бед фамильную чашку работы Гарднера, если в начале шестидесятых редкие знатоки составляли бесценные коллекции практически задарма, если позже жены первых секретарей посольств и атташе отоварились царскими сервизами, все еще лучистым хрусталем и совсем недурной живописью, то теперь, после шапочного разбора, после перетасовки ламп, картин, драгоценных камней, миниатюр, финифти по новым этажам города, после затвердевания новейшего порядка, укрепления двойного стандарта и подпольной жизни, обмельчавший и весьма повсюду опоздавший народец бродил ночами с фонарем, клещами и отвертками по старым домам столицы, свинчивая, что осталось: там дверную ручку (все тот же лев с осточертевшим кольцом в зубах) или матовую табличку царского страхового общества.

Недалеко от меня жила знаменитая Мила Кривич, бойкая окололитературная дива. Была она из породы ночниц, мучнистого цвета, с тяжелым окружьем вокруг глаз и основательно сгнившими зубами. Она всегда точно знала, где и когда будут ломать старый дом. В знаменитой лиловой шляпе и драной шубке она появлялась на развалинах первой. У нее были липовые журналистские документы, и на машине очередного любовника она вывозила голландские

изразцовые камины, кованые сундуки, бронзовые лампы, кипы книг, журналов, рассыпающихся газет. Старожилы, уставшие от веселого века, обычно измученные самой идеей насильного переселения из родного дома на окраину, чаще всего бросали весь скарб. Да и где в двадцатипятиэтажном бараке, в его клетушках, повесить полутораметровую люстру или поставить боярский сундук?

У Милы дома был небольшой склад. Кое-что она дарила, но большую часть, отреставрировав, продавала. В ее кладовке, разгребая трофеи, я нашел однажды немецкий штык длиной с приличную смерть, барометр, навсегда застрявший на хорошей погоде, ремингтон с подагрически растопыренными пальцами и зеленый водочный штоф с пляшущими красными дьяволятами и надписью: «Пей, пей — увидишь чертей!..» Были там барочные рамы с кондитерскими завитушками, розами, ангелами; бубенцы всех размеров, эполеты, утюги, подсвечники, подносы, чарки (терпи, читатель), стеклянные шары, кисеты, кастеты, мешок с пуговицами, тряпичные пигалицы — продолжайте сами. Она же, районная наша ведьма, устроила пиратский налет на мой и соседний подъезды. Среди бела дня двое ее приятелей в рабочих спецовках, заляпанных спермой кашалота, вьломали из стены двухметровое беспартийное зеркало, утащили льва и, во что трудно поверить, шутники сняли отличную, прямотаки бердслеевскую, чугунную дверь лифта, и теперь она украшала кухонный бар милейшей Милы.

* * *

Наша коммуналка давно превратилась в пещеру. В ней есть телефонная опушка, в ней протоптана коридорная тропинка, есть тусклый, заросший мхом грот ванной, есть гнилая пасть кухни. Открывая всегда липкую дверь, можешь быть уверен, что мокрое белье, развешанное под потолком, попытается хлестануть тебя по лицу. Когда я получил здесь наконец законную комнату, паркет все еще блеснул и кухонные углы не шуршали тараканьей возней. Атеистагитатор проживал в чуланчике напротив уборной. Бога не было. Зато были ключики от запираемых во время готовки кастрюль. Старикан вечно опаздывал на кухню, и адское устройство для варки куриных потрохов плевалось через узкую щель под крышкой, пока он трясущимися руками пытался отомкнуть раскаленную гирьку замка... Я люблю те времена. Сальвадор Иванович Дали много потерял, не пожив в сюрреалистических зарослях советского быта. Теперь мы продвинулись вперед, и уже нет гирлянд персональных лампочек на кухне и в уборной — у каждого свой выключатель и счетчик. Задача тех дней: если А уже зажег свою тридцативаттовку и танцует в клубах пара у плиты, стоит ли вошедшему Б зажигать и свою лампочку или же воспользоваться чужим сиянием?.. Бывало, отважный Б уже нырнет в свой шкафчик за солью, а мерзкий А, специально выскочив прочь, гасит свой законный светильник, ха-ха-ха... Что делает Б? Он, натываясь на моментально размножившиеся углы, продирается к кнопке фиатлюкса, поджигает желтенький огонек, и тут же возвращается А, забывший, скажем, спички на кухне, отчего рассвирепевший Б бросается гасить свет. И так до трубы Судного дня, когда архангел Михаил зажжет все лампочки сразу...

Да, нет гирлянд персональных лампочек, нет больше и этих карикатурных поз подслушиваний из-за приоткрытых дверей: телефонные разговоры тех дней припоминаются как шифровка, сплошная шарада. Нет воровки тети Дуси, и после отсидки продолжавшей заниматься перепродажей краденого. Нет этих громких цинковых тазов и корыт, развешанных по стенам, как доспехи. Старичок-богоборец за заслуги в борьбе с небом получил персональную квартиру, да, как поговаривают, забегает теперь втихаря в храм: поплакать на скорую руку. Тетя Дуся, сильно подобрев перед смертью, сыграла в ящик, а шумная семья Фроловых, где, кажется, пьянствовали даже трехлетняя Тата и семилетний Павлик, вдруг распалась, рассорилась, состарившись вмиг, так что Тата, только что скакавшая в коридоре через веревочку, уже стояла у запотевшего окна кладовки, положив руки на неправдоподобно большой живот,

брат ее чистил на лестнице хромовые сапоги офицера, а папаша, заводской мастер, лежал где-то в глубине захламленных комнат разбитый параличом.

В один действительно прекрасный день весь этот экипаж исчез. Сквозняк гулял по квартире, бабы-маляры в газетных шапочках и татарских шароварах отпускали препохабнейшие шутки и шпаклевали щели корабля, и я впервые понял, что когда-то квартира жила другой жизнью, что комнаты открывались анфиладой одна в другую, что в конце коридора была детская, а в гостиной стоял рояль, что приходили спокойные, припорошенные снежком гости, играли в вист, пили чай под большим рыжим абажуром; до меня вдруг дошло, что лифтов было два, а лестница была одета ковровой дорожкой, что на этаже жило всего две семьи в двух квартирах, а не как теперь — двенадцать, что все это в один миг соскользнуло под воду, ушло на дно русской Атлантидой.

Новые жильцы въезжали шумно. Месяц справляли новоселье. Скарб их постепенно выплескивался наружу, вытекал в коридор, затопил все углы, поднялся до потолка, покрыл всю квартиру коростой. Грузинская пара, всеми неправдами выбившая себе прописку в столице, день и ночь варила на кухне мамалыгу, ткемали или аджику. Никогда в жизни я не видел таких жизнерадостных огромных кастрюль! Пройти мимо их вечно распахнутой двери и отказаться от протянутого стакана чачи было оскорблением. Хозяин, с сизыми, несмотря на двухразовое бритье, щеками, ловил меня где-нибудь возле телефона и, вытягивая шею, спрашивал: «Нэ уважаешь? Брэзгушь?..» Десант вьючных гортанно-громких родственников регулярно обрушивался на квартиру. Везли они на продажу бесконечные веники мимозы, помидоры, виноград, кинзу. Однажды, вернувшись из Кенигсберга, где я проторчал целый месяц, пробираясь вдоль темного коридора на ощупь, я нарвался на месте выключателя на два голых провода, шибанувших меня зеленого цвета молнией, а миновав при свете зажигалки ведро с расплотившимися хомьяками и распахнув дверь ванной, чтобы хоть как-то осветить себе путь, я обнаружил там спящую на подушках пергаментно-древнюю грузинскую старуху. Открыв маленький ореховый глаз, трехсотлетняя карга вороньим голосом спросила: «Нэ мэшаю, дарагой?»

Тогда-то я и решил бежать, чего бы это мне ни стоило, смыться из коммуналки, нанять квартиру, чердак, подвал, скворечник или хоть собачью конуру. Но денег не хватало, и я кочевал с дачи на дачу, выклянчивая у приятелей, командированных в Соликамск, на Луну, в Токио, ключи на месяц, на два, или сам укатывал в Восточный Крым, где жил на мелкие деньги вплоть до появления зуда у колченогого начальника местного отделения милиции. Но, вступив наконец с большим скрипом в комитет профессиональных литераторов, я выскочил из графы тунеядцев и мог жить где угодно — ан заработок был в Москве.

* * *

Моя комната выходит окном на глухой брандмауэр. Я повесил, взобравшись на соседнюю крышу, старую гитару, сломанную флейту и дырявое канотье напротив окна. Рыболовные лески, на которых в ветреную погоду раскачивается все это хозяйство, почти не видны. Никита однажды под настроение шараянул пузырьком с гуашью об стену. Словом, не имея возможности зреть пейзаж, я устроил себе натюрморт.

Мне грустно рассматривать мою конуру: картины друзей на стенах, иконы, сломанный маг. Бронзовый старик со свечным огарком в руке стоит на недочитанном письме годовой давности. На антенне трофейного филипса паук соткал дополнительные линии. Бедность не порог, говорю я сам себе, может быть и хуже... Да это и не бедность, а какая-то обреченность на осколочную жизнь. Я глажу единственные брюки. Манжеты разлохматились, и я подрезаю их ножницами. Мила как-то подарила мне роскошное зеркало. Я заглядываю: неужели вот это — я? В коридоре гремит телефон, все двери распахиваются: кого?

* * *

В первый раз я перешел государственную границу в прошлом году. Я тихо пил чай у Милки, листая журнал с голыми девицами, когда вдруг завалился какой-то Тони, а за ним толстяк Пьер, корреспондент АФП, а с ним худая очкастая шведка, еще кто-то. Мне только что пришла в голову идея издать советский вариант журнала, назвать его Плейбей, отснять любительской камерой с пяток валютных шлюх, черные сугробы, красные звезды, сияющую блондинку в полковничьей шинели на голо тело за рулем гэбэшной волги... Причесывают ли девицам жураву, выражаясь по-державински, взбивают ли им щечки, стоит ли у фотографа в штанах? Но тут грянули инородцы. Лишь умненькая шведка лепетала по-русски. Тони припер целый ящик чудес: выпивка, шоколад, салями, настоящий кофе... Лучший подарок туземцам. «Потрясающая страна, — охала шведка, — без звонка ночью в гости... У нас нужно за неделю созваниваться». Пьер наливает мне, как аборигену, чуть ли не двести грамм. Мила тащит на стол соленые грибочки, квашеную капусту, селедочку. Гуляем а-ля рюс. У шведки груди растеклись под тоненьким свитером во все стороны — как она их собирает? «У нас, — умствую я, — закрытое общество». «Ебщество», — вставляет Мила. «Но открытое изнутри. У нас нет возможность предаться гнилому гедонизму. Все что у нас есть — это мы сами. У вас же, мадмуазель, общество открытое снаружи и — закрытое изнутри. Вы же, японский бог, встречаетесь в кафе, а дом свой держите на отлете, уверяя, что он до сих пор ваша крепость...»

Пьер, поглаживая черный Милкин чулок, расспрашивает что-то про профессора Сумеркина, старого приятеля Милкиной мамыши. Профессор, говорят, послал письмо герантам, призывая их заняться собственным народом, а не черножопыми... Пьер рассеянно слушает, Мила рассеянно продолжает. Рука Пьера, судя по тому, как отчалили вдруг Милкины зрачки от глазниц, нашла искомое... «А от Толика ничего нового?» — тихо спрашивает Пьер. Толик — диссидент, диссида, как называет их брата Ося. «Толика, — улыбается с трудом Мила, — вызвали опять на медкомиссию. Матросскую Тишину обещают...»

Я встаю и подхожу к окну. «Из хорошо осведомленных источников, — думаю я, — стало известно... Западные корреспонденты сообщают из Москвы о готовящихся репрессиях...» Дежурная наружка скучает за окном. «Ты где запарковался?» — спрашивает Мила. «Во дворе напротив». У Пьера опять две руки, он возится с грибочками. «Можешь ставить под окнами — Мила поправляет волосы. — Они, один хрен, дежурят с вечера...» Мила давным-давно плюнула на все запреты. Ее вызывали раза два, пробовали запрячь, а потом махнули рукой: ну, гуляет баба! На встречи слабого пола с агентами мирового капитализма смотрят сквозь пальцы. Три века назад дьяк с Мыльной горки записал: «Ибо дитя от такого союза остается в православной вере. Когда же мужеского пола россиянин вступает в отношения с немчурой, отпадается дитя от веры отцов и государства». Ничего не изменилось.

Ближе к полуночи, изрядно навеселе, мы втискиваемся в две машины с белыми номерами и катим на карнавал в венесуэльское посольство. Три метра между посольским подъездом и дверьми машин мы проделываем под конвоем наших иностранцев. Мальчики на ступеньках, охраняющие суверенитет Венесуэлы, лишь недовольно морщатся. В парадном зале шумно, людно, светло. Вдребезги пьяное домино висит на шее военного атташе. Слуга, кряжистый седоусый краб, тащит, расплескивая, шампанское. Схватив его под руку, «Я вас представляю, — кричит мне Тони, — знакомьтесь — это посол».

* * *

Рука, осыпая горячий снежок сигары, вытянулась до отказа, кружевная манжета высвободила браслет часов, и он поднес мне к глазам циферблат. Зрение малость пошаливало, и стрелки прятались за золотым блеском. «Полвторого, — сказал он. — Я вам кое-то прочту».

И, сняв очки, слепо пермаригивая темно-карими беззащитными глазами, он начал читать явно по-русски — но что?

Вернулась Мила, присела на корточки возле кресла, опустила голову, послушала... «Антонио, — сказала она вдруг, — кончай с Онегиным, пойдем танцевать...» Посол дожевал до конца строфу, ткнул сигару мимо пепельницы, напялил очки и они заструились прочь. Сквозь их спины просвечивала гостиная, лепнина зеркальных рам, портреты на стенах, кресло, выехавшее на самую середину паркетного озера, заросшего пустыми стаканами возле растопыренных ножек...

Что испытывает абориген, попав куда не надо? Я давился тошнотворной тоской. О'кей, в гробу я видел чиновников любых министерств любых стран! Но эта чудовищная разница! Наша угрюмая веселость и их умненький такт... Наше ёрничество и свободный ток их речи... Их позы, жесты, приветствия... Они развевались, словно и сюда привезли пропагандный ветерок своей сучьей свободы. Они, если перехватить достаточно нагруженный взгляд, смотрели на нас, как на детей.

Чувство инакости раздавило меня вконец. Я был унижен чистотою их одежд, волнами их духов, вспышками чистосердечных улыбок. Я без труда извлекал из общего кипения тяжелые снования соотечественников. Даже легкая Мила, дошедшая с послем до лестницы в подвал, откуда вытекала ядовито-малиновой пеной музыка джаз-банда, даже Мила, вдруг пошедшая по мраморной лестнице наверх, закручиваясь по спирали и таща на вывернутой руке знатока Пушкина, даже она, из породы летающих, была тяжелее и неуклюжее любой пятидесятилетней матроны, тщательно завернутой в шелк и поставленной с бокалом шампанского в углу. Мы излучали что-то. От нас несло обреченностью что-то там строить на благо кому-то. Мы были временно на свободе. Нас поджидали на выходе старшие братья. Мы были золушками с бородами и без, но вместо хрустального башмачка нам выдали по испанскому сапожку. Чувствительная разница.

Шведская интеллектуалка явилась по мою хандру. Слово, которым она пузырилась, видимо, означало на ее русском совокупление, но прилежная ученица никогда не смогла найти его в на все пуговицы застегнутых словарях. Поэтому оно звучало почти перевернуто. На длинной шее у нее жил чудесный завиток. Пользуясь чередованием каких-то теней, атласных отворотов, мундиров и декольте — я улизнул. В подвальчике, замусоренном серпантинном, конфетти, пустыми стаканами и полными пепельницами, сидел Генрих С. Его львиная седая грива вздымалась, складки на лбу шли волнами; Генрих, патриарх подпольных поэтов, внушал ясноглазому янки, что умом Россию не понять... Американец кивал головой, а Генрюша, как это бывает при несовпадении языков, распаяясь, выкрикивал, а не говорил, громкостью стараясь протаранить непонимание. «Генрих, — сказал я ему, — он же ни бе ни ме по-нашему...» — «Я уже это заметил», — сказал Генрих, сникая.

Шведская подданная, близоруко вглядываясь в дымный сумрак, пробиралась между танцующими. Почему эти интеллектуалки не любят носить очки? Вовремя катапультировавшийся Генрих перехватил ее; лабухи, как зубную боль, тянули «Besame, besame mucho», «Роджер», — сказал американец, протягивая руку. «Умом Россию...» — пронеслось вместе с дымом. «How come? — спросил Роджер. — I thought it's forbidden for you, Russians...»

Лет через десять я встал, чтобы облегчиться. В уборной кто-то отчаянно блевал. Знакомая золотая сумочка лежала на подоконнике. «Мила?» — попробовал я. «Что-о-о?» — простонала она. «Что случилось?» — «Икра... с полкило, наверное...» И ее снова начало выворачивать.

В баре я, забывшись, спросил скотча по-русски. Бармен, здоровенный малый в белом кителе, лязгнул на меня серым глазом, и рука его, щипцами тянувшая лед из ведерка, остановилась... Ухмыльнувшись, он отложил щипцы и, по локоть нырнув в Финский залив, швырнул мне в стакан три кубика... Вот блядь!

Роджер сидел все там же. Палехская черная шкатулка с Ильичом вместо жарптицы стояла на столике. Пересохшие упман были внутри. Мы вам базуки, вы нам сигары. «Что он мне пытался сказать?» — спросил Роджер. Я перевел. «Трансцендентальные потуги... Умом вашу историю действительно никак...» Оркестр собирал инструменты. Нужно было смываться. «Вы на машине?» — спросил я.

Наверху уже сновали слуги. Роджер повел меня коридором на кухню. Толстая черная кухарка, стоя у окна, ела кусок пирога. «Мария!» — позвал ее Роджер. Потом мы что-то ели: горячие черные бобы и огненное мясо, водка была ледяной, а грузинская аджика называлась «чили»; потом Роджер, подпихивая меня в спину, тащил по закоулкам второго этажа, потом была холодная вода, чей-то розовый халат, прошуршавший мимо, потом ничего не было, ровным счетом ничего, и вдруг сразу, без предупреждения, — тугим мраком налитая ночь и лиловый слепящий свет фар, и на границе разинувшей пасть тьмы — расставив ноги, с красными дырами сигарет, в аккуратных шапках, а один — похлопывая обутыми в перчатки руками... Так и запомнилось: обутыми в перчатки... Я уже улыбался им навстречу отчаянной улыбкой жертвы, когда Роджер, крепко взяв меня под руку: «Keep on walking, man! О, fuck it! Wake up!», проволока меня по ступенькам подъезда вниз — взревел мотор, теплом пахнула открывшаяся дверь — и чуть ли не коленом впихнул меня на сиденье.

Я не видел, кто ведет машину, но через несколько резких поворотов машина остановилась, и голос Роджера сказал: «Спасибо, Лиз... Ты доберешься?» Пахнуло снежком. Я выпрямился. Женщина пересаживалась в ситроен. Роджер, вывернув шею, разглядывал черную волгу, спокойно пристроившуюся в хвосте. «Где ты живешь?» — спросил Роджер. Я вытянул руку — моя улица начиналась через три метра. «Jesus!» — рявкнул он.

* * *

Ночью на Садовом кольце происходят странные вещи. Пьяница Ольшевский, русский Брейгель, целый день писавший снежинки на двухметровом холсте, выходит на охоту. В кулаке у него греются три рубля мелочью. Он доходит до угла Каляевской и улицы Чехова и там, согнувшись, стучит в полуподвальное окно. Свет не зажигается, но через минуту из форточки высовывается рука и рукав залатанной фуфайки. Ольшевский выдаивает из кулака монеты. Форточка захлопывается. Ольшевский, постукивая друг о дружку валенками, мнется под мутным небом. Форточка чмокает паром еще раз, и нечто завернутое в газету отправляется в карман пальто. В кармане живут табачные крошки, в кармане есть складной ножик и английский ключ. Дойдя до крошечного скверика, художник вытаскивает из кармана бутылку и железным пальцем привычно проталкивает пробку внутрь.

Пьет он, задрав к небу лицо с закрытыми глазами. Милиционеру из патрульной машины может показаться, что небритый бродяга трубит в трубу. Отпив глотков семь, он открывает глаза: милиции нет, большие одинокие снежинки медленно, так, что можно проследить расходящиеся в стороны нити падения, падают на подмерзшую грязь, бездомная собака, виляя хвостом, стоит напротив и лыбится...

* * *

Милиции нет по простой причине: ночью на Садовом кольце регулярно происходят странные вещи. Конвой спецмашин с включенными мигалками загоняет и без того редкий транспорт в проулки; слышен тяжелый рев мощных моторов — по осевой линии тягач с буйволом на лбу мотора тянет зачехленный истребитель. Сзади, прикрытием, идут два других тягача. Районный патруль блокирует пустой перекресток. Роджер, послушно показав налево, на всей скорости срывается с места. По косой он пересекает Садовое кольцо и сразу после короткого крыла МИГа выносится на противоположную сторону. Сзади что-то происходит, но

два резких поворота — играем в ковбоев, — и мы летим по совершенно пустой улице. Присевшие на корточки домишки бросаются врассыпную. И только минут через пять он опять включает огни.

Город пуст. Никуда не скачет квадрига Аполлона на фронте Большого. В Кремле не горит окошко вождя. Лишь на углу улицы Горького качающаяся парочка все промахивается и промахивается, пытаюсь сесть в медленно отъезжающее такси. Я отвратительно трезв.

* * *

Я спал в детской. Его чада и жена еще паслись на лужайках Новой Англии. Утром, выглянув в окно, я увидел огромный, тщательно расчищенный от снега двор, до предела забитый иномарками. Черный полшубок милиционера прогуливался у единственного выезда. Я кряхтел, смывая остатки ночи под душем, когда вошел Роджер с полотенцем и халатом. «No headache?», — улыбаясь спросил он. Мы пили кофе на кухне, в квартире шел ремонт, и зимнее солнце кровавило стекла домов напротив, на столе как ни в чем не бывало лежали «Ньюзуик», «Тайм» и «Херальд трибюн»... Стоило только переместить эти глянцевые страницы на 300 метров в сторону, положить на замерзшую скамью около смутно виднеющегося магазина, и они отольются в металл — станут преступлением. Любой гражданин, нагнувшийся за ветром гонимым журналом не с целью выдать его злое шуршание властям, имеет шанс изучить флору дальнего Севера...

Роджер понимающе поддакивал, но было заметно, что ему нужно было напрягаться, вживаясь в этот бред. Я пил третью чашку кофе, мудрствуя над спецификой работы советских, в полковничьи кителя одетых парок, когда он, отложив в сторону ручку, подтолкнул щелчком ногтя в мою сторону разодранную сигаретную пачку. «Кончай трепаться», — было написано крупными буквами.

* * *

Я дал ему номер моего телефона, он пообещал звонить только с улицы и высадил меня у воронки метро. Я доехал до Белорусской и, стоя у открытой двери, придерживая ее ногой, вышел в последнюю секунду. Поезд ушел. Я был один на платформе. Я перешел на другую сторону. Меня малость трясло. От западного кофе, я думаю. Нашего нужно выпить чашек двадцать, прежде чем вздрогнет хоть один нерв. Толпа туристов спускалась по лестнице перехода. Задрав головы, они рассматривали плафоны: рабочих и крестьян в экстазе осуществленной дружбы. «Дешевизна советского транспорта, — ворковала женщина-гид, — следствие заботы партии о жизни народа...» Рабочие и колхозники тем временем, кто с авоськой картошки, кто с мешком, осторожно обходили толпу любопытствующих. Ватники и блеклые пальтишки ныряли в арки, крались вдоль мраморных стен, прячась от лисьих шуб и вспышек фотокамер.

* * *

Роджер позвонил в конце недели. Новый сосед, Алик, — здоровенный бугай, и днем и ночью занимающийся штангой, разгуливающий по коммуналке в спортивных трусах, — позвал не меня, а наших грузин. Английский язык был для него иностранным. К счастью, я возился на кухне с куском китового мяса мать прислала на пробу, — соображая, что из него можно сделать. Я подскочил вовремя. Роджер уже выходил из терпения, свирепо повторяя: «Поджалуст, Тимофей...» — «Here am I» — обрадовался я.

Мой английский заморозил Алика на месте. Улыбаясь так, словно он не верил своим ушам, он стоял до самого конца разговора: гологрудый, заросший рыжей шерстью, с пудовой гирей в

руке. «Я должен выучить русский, — извинялся Роджер, — это просто катастрофа, как я говорю». Мы договорились, что он зайдет поужинать через несколько дней. Повесив трубку, я захолодел. А чем, спрашивается, я буду его кормить? Хорошо, деньги я где-то нарою, но что я куплю?

Чемпион коммуналки все еще пялил на меня голубые невинные глазищи. «Отомри...» — сказал я без капли любви к ближнему. «Ну ты, паря, даешь!» Алик быстро выжал гирию три раза. «Это ты по-каковски?» — пытался он заглянуть в меня. Он опустил наконец гирию на пол. Голова его, как у мертвого петуха свешенная набок, сочувственно подергивалась. «Поньюфаундлендски...» Я повернулся и потопал на кухню, но он не отставал. «Ты мне мозгу не еби, — посоветовал он, — Алик институтов не кончал. Алик и так все сечет...»

Китовое мясо по цвету похоже на медвежатину. Я нарезал луку, моркови, добавил чесноку, томатной пасты, аннексировал малость кинзы с грузинского стола, потушил на маленьком огне. Китовина, китоёвина — как ее называть? — была съедобной. Сидя на подоконнике, слушая «Out of the cool» Гила Эванса, я умял всю кастрюлю.

* * *

Я попытался прибрать наш коридор. Несмотря на протесты представителей солнечной Грузии, я стянул с веревок их кальсоны и наволочки. «Ко мне придет важный гость», — собирался сказать я, но не сказал. Что им важный гость? Ко мне придет иностранец — хуже не придумаешь: самодонос. Ко мне должен заглянуть товарищ из парторганизации — чистая липа. По моей роже за километр видно, что из парторганизации могут прийти только по мою душу... Однако именно это я и сказал. Это они понимали! Все уладилось вмиг — бельишко поехало частично в ванную, частично залепило кухонную батарею. Путь был расчищен. Оставалось ведро с хомьяками. Алик когда-то купил парочку для дочки. С тех пор они размножились до неизвестного числа. Дочка больше занималась разглядыванием своих набухших прелестей в ванной, чем миром животных. Хомьяки интенсивно пожирали друг друга, но на перенаселенности это никак не сказывалось. Алик держал их теперь в ведре в коридоре рядом со складом жерновов и дисков для штанги. Воняло ведро немилосердно. Пользуясь тем, что Геркулес отправился плескаться в проруби — его способ лечения простуды, — я выставил ведро на черный ход. Одноглазый кот — Обормот — получил в тот день на ужин не рыбы скелетины... Ведро перевернулось, и то, что не попало в розовую кошачью пасть, брызнуло в стороны. С тех пор дом наш населен хомьяками в таком количестве, что по ночам слышен как бы морской прибой. Это серые комки шуруют по всем направлениям под паркетом и за отставшими обоями.

* * *

Роджер появился ровно в восемь: в шапке-пирожке, во вполне русском по покрою пальто с каракулевым воротом. Я быстро, пока не начали распахиваться двери, приложил палец к губам и повел его по тусклым пещерным поворотам к своей комнатухе. «У тьебья ощень мыло», — сказал он. Я был горд. На ужин в тот день я раздобыл копченых миног, угря, рокфора и бутылку двенадцатилетнего баккарди. «Это моя первая русская квартира», — сказал Роджер. «А ты мой первый иностранец, — отвечал я. — Теперь каждый приличный москвич старается завести себе персонального иностранца. Как корову. Чтобы покупать в валютке джинсы. Или чтобы жаловаться в Белый дом». — «Ты шутишь?» — спросил Роджер. Он был малость смущен. «I'm afraid, you'll have problems, — сказал он. — Don't you think it's a little bit risky to invite me here? I'm a bloody yankee». — «Шли бы они все, — отвечал я, — надоело делать то, что хотят другие. Страх и чувство вины это то, на чем и держится власть. Чувство вины внушается с таких молодых ногтей, что и не упомнишь. Страной легко управлять, когда каждый гражданин чувствует себя неразоблаченным преступником. Действуя, как хочется, ты не только нарушаешь

правила игры, но и моментально сам сечешь, что перешел необозначенную границу дозволенного. Снаружи феномен совжизни невычислим; нужно идти через потроха, нужно рассматривать гипертрофию надпочечников, изможденных слишком частым впрыскиванием адреналина в кровь... Страх, растворенный в крови, уже и не заметен; заметно лишь, что кровь скурвилась...»

Конечно, я говорил по-английски не так складно, это лишь обратный пересказ, конспект моих сбивчивых монологов...

Роджер же, словно он полжизни проработал вивисектором, раздел кончиком ножа угря. Я не был уверен в том, что он привык запивать еду сорокадвухградусным ромом. До меня стало доходить, что эти люди, наверное, и не так едят, и не так живут вообще, а, черт! — не в смысле же лучших продуктов и вещей, а в смысле другого дефицита — традиций, помельче — привычек...

«Знаешь, Роджер, понесло меня поновой, мы все еще живем на войне». Он уставился на черный цветок Яковлева. Может, ему тоже все это до лампочки? Может быть, ему интереснее о бабах, мусорах или нелегальном тотализаторе на бегах? «У нас ни гражданская, ни отечественная не кончились. Точнее, мы оккупированы соплеменниками. Наша реальность подтасована. Сомневаться запрещено. Разрешено мутировать, приспособливаться. Это то, чего они и хотят. Каждодневное подавление вопросов, вопросиков, вопросищ рождает ядовитую, все разъедающую тревогу. Но любое внешнее проявление тревоги карается. Сиди и не рыпайся. Не обязательно ГБ, своими же соседями. Крикнувший рождает панику у того, кто силится не кричать. Я почти не знаю в своей жизни не антисоветчиков. Кремлевские аксакалы наши — стопроцентные антисоветчики, потому что они против своего же народа; с ними же солидарны и все, кто пасет счастливое стадо... Братская же семья народов по ночам мечтает, чтобы этот земной рай поскорее развалился...»

«Вопрос идиотский, — сказал Роджер, — а коммунистов ты встречал?» — «Нескольких; из породы наивных идиотов. Остальные более или менее удачные конформисты. Я думаю, у вас на Западе гораздо больше коммунистов, чем у нас. Мы из вашего будущего...»

«Ты уверен, — Роджер шарил взглядом по стенам, — что тебя не могут сейчас слушать?» — «Дорого, — сказал я, — я наводил справки. Я еще не засветился. А так, слушать какого-то бумагомарателя... ну, где-нибудь в досье, в графе «лояльность», стоит СО (социально опасный) или КИ (контакт с иностранцами). При обострении ситуации в стране таких прибирают к рукам. Нейтрализуют».

«Слушай, — Роджер крутил свой стакан в нерешительности, — у тебя льда хотя бы нет?» Льда у меня не было по простой причине: холодильник мой скончался, и я хранил в нем черновики. Но я высунулся в форточку и отломил приличную, вполне стерильную с виду сосульку.

«Моя жена с детьми приезжает в конце месяца, — Роджер отправил в стакан вслед за льдом уцелевшую дольку лимона, — ты думаешь, ты мог бы давать нам уроки русского?» Я кивнул. Why not? Гэбэшным училкам можно? Только потому, что они пишут отчеты?

«Может, будет полегче, — сказал Роджер, — в Хельсинки готовится большая конференция. Там есть пункт о гуманитарных отношениях, если его подпишут...»

Я пошел его провожать. Он не взял машину, чтобы не притащить хвост. Я показал ему несколько длинных дремучих проходняшек в нашем районе. Я вывел его закоулками к Страстному бульвару. «В этом доме жил танцмейстер Йогель» — особнячок в стиле дохлого классицизма присел под шапкой снега. «Здесь наш единственный гений Александр Эс Пушкин встретил на балу некую Наталью...

«Я, право же, чувствую себя идиотом, — сказал я. — Я предпочел бы говорить о танцах дервишей, татарской поножовщине на Таганке, о наших доморощенных Мингусах, черт побери, свингующих в присядку... Но мы, повторюсь, вынужденно политизированы. Общество устроено так, что как только ты уходишь на нейтральную позицию, зарываешься в невмешательство,

выставляешь фанерный щит, на котором написано «В гробу я вас всех видел!», как моментально приносят телеграмму из чистилища: ты попадаешь в пассивные соглашатели, в попутчики вампиров, в конформисты... Потеря сопротивляемости грозит скоростным разрушением. Но и быть постоянно, как сказал известный псих, общественным животным в наших условиях — занятие дико скучное. Лично у меня трава вызывает дрифт».

* * *

Теплая метель неслась по бульвару. Желто светились фонари. Партсобрание ворон в голых кронах тополей шумно аплодировало очередной резолюции. Два пенсионера, установив на коленях фанерный столик, играли на скамейке в шахматы. «Время выгуливать винные пары, псов и тоску одиночества», — резюмировал я. «Слушай, — Роджер улыбался, — я специально завел себе эту шапку, сшил пальто вполне в русском стиле — почему все понимают, что я иностранец?» Мы стояли возле фотостенда ТАСС: успехи металлургов Урала, голод в Азии, забастовка в Европе — и хохотали.

«Мудила, ты двигаешься по-другому...» — «What is mudila?» — спросил Роджер.

* * *

Конечно, я боялся. Еще куда ни шло — француз или португалец. Но американец! Это же явная посадка. Не сейчас, так потом. Вот уж куда меня совсем не тянуло: на нары, малость пострадать в духе приобретения высшего опыта. Я шел домой любимыми улицами, мимо особняка Лаврентия Берии, мимо Патриарших, в Пионерские переименованных, прудов, мимо угрюмой коробки одного из бериевских наследников. Девочка и двое мальчишек, несмотря на изряднейшую полночь, гоняли по льду пруда. Постовой, сам еще пацан, улыбался им из-за засады заснеженных кустов сирени. Метель давно кончилась, и в просвете быстро бегущих грязно-лиловых туч ныряла луна с бледным отпечатком головы генсека. Щеки, стекшие вниз, провалившиеся глаза, имперские брови. Я думал о нем, как он стоит в сортире, стряхивая последние капли, принимая решение послать-таки еще тридцать МИГов и изрядное количество веселящего желтого газа в Жопландию... Сидя на троне, натягивая бразды правления... Го-го! Тощая кобылка истории... Не хлебом единым жив человек... Не хлебом, а хлевом, скотством, короче...

Звонко смеялись дети. Да здравствует всеобщее одностороннее разоружение! Чтобы наши разоружались? Чтобы добровольно? «А где мои коньки?» — подумал я. Тупые, со сгнившими шнурками, пожухлой кожей, они попадались мне на днях. Я спустился по деревянным ступенькам на припорошенный лед. «Эй, — крикнул я, — вы еще долго будете?» Мальчик с посерьезневшим вмиг лицом настриг ногами несколько елочек, откатываясь назад. «Минут двадцать, а что?» — его коньки брызнули мутным лунным светом и погасли. «Я сейчас приду, — крикнул я, поворачиваясь, — подождите меня...»

Я мчался домой на Каретный. Я ворвался в квартиру, хлопая дверьми. Что со мною происходило? Я несся по посыпанной песком улице, и «норвежки» мои прыгали, перекинутые через плечо. Я плавал в радужных слезах. Меня злило. «Сучье племя! Козлы! — повторял я. — Когда же вы поумнеете? Неужели нельзя повернуть ваше идиотское колесо истории вспять! Жить, как люди живут... «Прогресс движется вперед...» — сказал генсек. И досталась же им страна, которую никак не доконаешь...»

Каток был пуст. Мне пришлось взять шнурки из ботинок. Тучи снесло, и лунный свет ровно лился на спящий город. Я осторожно проехал по кругу, перебирая ногами, как после болезни. Ничего! Я все еще не забыл. Остро скрипел полоз, мягкий ветер развеивал волосы, из открытой двери невидимой машины доносился какой-то скомканный вальсик.

Когда это было? Я бросил школу, она еще училась. Лариса. Ямочки на щеках, татарский разрез всегда чем-то замутненных глаз. Мы катались в Парке культуры. Там, где километры черного накатанного льда, рядом с черной замерзшей рекой, под таким же отороченным снегоносными тучами небом. Фонари, когда мы неслись по набережной, валились то на левый, то на правый бок. Военный оркестрик надувал щеки. Толстые бабы в белых халатах поверх ватных пальто продавали горячий кофе в бумажных стаканчиках. У нее был класс — низко сидя, она легко перебирала ногами; левая рука была крепко заведена за спину, правая, в тонкой перчатке, широким махом помогала полету. На поворотах, и это было самое восторженное, мы не только не снижали скорость, но на каких-то последних пределах, падая совсем набок, со скрежетом и брызгами испортого льда, еще надавали...

Я жил тогда в дедовской, новенькой после его смерти, квартире. Она приходила с мороза с горящими щеками, с промерзшими ногами, конечно... Кто из десятиклассниц наденет теплые чулки? Все они бегают с посиневшими коленками в двадцатиградусную стужу. Она оттаивала на низкой тахте, где мы валялись часами, не в силах разлипнуться. Мы были как запутавшийся узел. Нужно было изрядно терпения, чтобы вывести руку из-под головы, отыскать занемевшую лодыжку... Журчал ртом, набитым жеваной пленкой, магнитофон. Шмыгала по коридору бдительная бабушка. Ах, эта Лариса всегда останавливала мою неосведомленную руку в последний момент. Лишь однажды, когда температура в комнате дошла до таких невероятных марокканских пределов, что мы наконец торопливо, помогая друг другу, как дети, разделись, лишь тогда она и сама с испугавшим меня ожесточением, сжав неумелыми пальцами этот вопящий отросток, этот вздыбленный, мне самому неизвестный предмет, раздвинула наконец крепкие, как судорогой сведенные ноги и, дрожа на все двести двадцать ватт, потянула меня на себя, как одеяло... И все же, когда мой одноглазый, ослепший от слез зверь тупо ткнулся в нее, она выскользнула, кувыркнулась на бок и, отчаянно плача, всхлипывая, понесла синкопированный бред про врачей, про то, что у нее слишком узкие бедра, про первобытный ужас и мировую катастрофу.

Я мгновенно понял, что ее мать, старая ведьма, провела отличную психотерапию, внушив на пару с бандитом гинекологом своей крошке, что любая беременность будет фатальной... «Я хочу тебя», — плакала она. Я переместился с севера на юг, я был, как и она, полным новичком и профаном, я осторожно прикоснулся к ней губами. От нее шел слабый запах крови, я что-то задел в ней. Она еще всхлипывала, но смысл ее всхлипываний менялся. Я был весь, от шеи до вывернутой пятки, напряжен, как стальной прут, и, когда она, где-то на другом конце жизни, капая на него слезами, осторожно дотронулась мокрыми губами, лизнула, как какой-нибудь леденец, я взорвался. Я лежал, уткнувшись лицом меж ее ног. Элвис-Пэлвис давно заткнулся, и маг крутился впустую, было слышно, как дворник скребет мостовую, она вздрагивала, словно икала.

Потом она сидела в одних чулках и курила, я пил в первый раз самостоятельно купленный коньяк, стакан за стаканом, и странно пьянел, словно опускался сквозь ватные этажи все ниже и ниже во все более ватный мир. Она больше не сопротивлялась, когда я осторожно трогал ее разбухшую скользкую ранку, и сказала, что завтра же узнает, что нужно сделать, ведь мы уже взрослые. «Ведь правда?» — сказала она и назвала меня тут же придуманным, криво звучащим именем.

Мы оделись, и я смотрел, как исчезали под свитером ее груди, и, взяв коньки, отправился во двор, где за железной сеткой на баскетбольной площадке был залит хоккейный каток, но кататься мы не могли, и я сразу упал, наехав на предательскую щепку, и сидел, как сейчас, с дрожащими ногами на льду, и она сказала: «Пойдем?» Я проводил ее до подъезда, окно ее матери светилось узкой полоской неплотно сдвинутых штор. «Завтра», — сказала она, жалко улыбаясь, и поцеловала совсем по-другому, словно была женой.

Она не пришла ни на следующий день, ни через месяц. И, уже вернувшись из армии, на Маяке, в метро, я почти влетел в нее на бегу: была она похожа на растрескавшуюся

терракотовую вазу. Сквозь толстый слой грима еще пробивались ее черты. Меня обдало кипятком, и, пятась, я втиснулся в уже до ругани переполненный вагон. Двери лязгнули. Она, опустив голову, прошла мимо.

* * *

Все это навалилось на меня, как будто на широком повороте я въехал в мягко рухнувшее зеркало. От падения болела спина. Кадык лифта медленно вздымался в горле подъезда. Я разогнался, попытался прыгнуть на сто восемьдесят градусов, упал опять и, гася скорость, поехал к мосткам, где лязгали зубами мои промерзшие ботинки.

* * *

Появилась и семья Роджера: неугомонные дети, неожиданно маленькая, энергичная жена. Джонатан, Сьюзи, Пола. Я вступил в должность гида. Боже! Оказывается, и показывать-то было нечего. От когтей и зубов власти уцелевшие храмы? То, что взрывали, над чем кощунствовали, а теперь, сообразив рекламно-идеологическую и валютную ценность, пустили в оборот? Да и неловко было как-то появляться в старообрядческом храме на Рогожской заставе, где морщинистые бабки и благообразные старики без всякой любви к ближним встречали пришедших поглазеть иноземцев... Я выбирал маленькие церковки на уцелевших от режимокрушения улочках центра, на Солянке, в до сих пор живом Замоскворечье.

В Хамовниках я встретил отца Варфоломея. Пять лет назад в застуженном подмосковном храме он окрестил меня. Я сиял, как только что отчеканенный золотой, без малого неделю. Отец Варфоломей, поклонившись чинно семье Роджера, оттащил меня к забору городской усадьбы Толстого, укоряя: «Даже к празднику не приходишь? Я думал, ты в своем Крыму овец пасешь... Не стыдно?» — «Погряз, батюшка, — отвечал я. — В храме уж точно год не был». — «Ну что с тобой делать? Губишь ты себя, — теребил Варфоломей седую бороду. — Зашел бы хоть на неделе, поговорили бы. Жениться тебе пора, вот что...» — неожиданно заключил он.

Бабки с кулками освященных яблок, печенья, с бидонами святой воды спускались по ступенькам, пятились к воротам, крестились. Водосвят был на той неделе.

Иногда Роджер прихватывал с собой веселого, говорливого южноамериканского дипломата. Рафаэль всегда был одет с иголочки, надушен, боюсь, что и напудрен. Он был знатоком русской живописи двадцатых годов, японских нецек, африканских масок и, конечно, иконописи. Он попросту раздражал меня, рассматривая храмовые иконы с беззастенчивостью скупщика. В остальном был мил, внимателен, прекрасно говорил по-русски и никогда ни о чем серьезно. Он был соседом Роджера и несколько раз, когда Роджер не мог, отвозил меня домой. Однажды, к моему обалдению, прощаясь, он поцеловал мою руку; глаза его, мягкие, бархатистые, выжидательно светились. Я выскочил из машины как ошпаренный.

Я показал им Новодевичий монастырь, старое кладбище, разрешенную часть Кремля, шатровую церковь в Коломенском. Мы бродили в юсуповском имении, сгоняли в Ясную Поляну, Суздаль, Владимир, Псков, Ярославль... Боже! Я увидел страну глазами американца! Единственное, что еще не было обезличено, до сих пор было живо, что вызывало восторг, не принадлежало советской эпохе. Осколки России: монастыри с расстрелянными фресками, кельи, где еще недавно держали малолетних преступников, барские усадьбы, дважды, трижды ограбленные, зажиточные некогда деревни, амбары, конюшни, избы — все это было наскоро отреставрировано, подчищено, доведено до товарного вида, вокруг и сквозь проведены узкие, но все же вполне европейские дороги, понастроены гостиницы, о которых совы и мечтать не могли, завезена еда, которой и видеть не видели и... понеслась! Автобусами и в частном порядке по Золотому туристическому кольцу, толпами и семьями, обедая в бывших монашеских

трапезных, отдыхая под защитой гэбэшных портье, парясь в финских баньках, надираясь «рюски водка», катаясь на тройках, слушая цыган пошел твердвалютный гость.

Мы видели с Роджером чистенькие горницы, в которых скучали босые, в сарафаны обряженные девицы, изображавшие народ. Но народа, как сказал поэт, давно уже не было — было население. Мы обедали в избах на курьих ножках, где фольклорные мужики, заправленные ханкой по самые уши, вприсядку таскали с кухни осетрину и медвежатину. Медовуха лилась рекой. Мы проезжали при этом пустые выцветшие витрины местных магазинов, куда не удосуживался сунуться ни один иностранец. Водка из нефти, а не пшеничная, как за валюту, стояла там на прилавках, водка и кульки с каменными конфетами.

Мы слышали бесконечные вопли седых, хорошо завитых путешественниц, сладострастные булканья: «Люси, глянь сюда, ну не восторг ли?» И сухая, прямая, как флагшток, столетняя Люси, давным-давно перепутавшая Лахор с Казанью, резвой рысцой неслась взглянуть на крупные золотые звезды, усыпавшие лазурь купола храма Св.Николая, и ее прожорливый фотоаппарат набивал рот заснеженными березами, фальшивыми пейзажами, лихими ямщиками и золотыми крестами. «Marvelous! — кричала она. — Gorgeous!»

Это была их Россия, их восторженный СССР.

Конечно, случались казусы, действительность вдруг не состыковывалась, ободранные людишки появлялись там, где не положено, или мимо окон отельчика сопливый пацан вдруг проводил такую изможденную бухенвальдскую коровенку, что на мгновение включалось сомнение, но организаторы аттракциона, организаторы солнечной погоды, ответственные за теплый ветер, знали свое дело. От древнейшего русского храма во Владимире до знаменитой политтюрьмы было рукой подать, но словно пуленепробиваемое стекло куполом накрывало православный Кони-Айленд...

Ах, Роджер, век не забуду. Спасибо за интуристовскую, в сарафанах от Диора, сапожках от Ив Сен-Лорана Русь. Аминь.

* * *

Итак, наступил критический момент: уже раз пять приглашали они меня на ланч, и больше отнекиваться я не мог. Как изменилась закулисная Москва! Последние свои джинсы я покупал три года назад где-то на темной лестнице при свете полуоткрытой двери в неизвестную квартиру. Никитка привел меня тогда к королю задниц: ливайсов, рэнглеров и ли. Король обернулся валетом: картаво извинялся, что не может нас принять — мамаша, видите ли, нанесла ему официальный визит и пьет теперь чай с клубничным вареньем... Огрызком сантиметра он в секунду обмерил меня и притащил застиранные до белизны джинсы. Цены были божеские, да и Никитка своим присутствием сбивал косою процент. Тридцать пять целковых выложил я за порты, выдавшие, быть может, Колизей или, что не хуже, Пикадилли...

Разного возраста и таланта девушки ставили мне на них заплатки позднее. Джинсы в Союзе дело серьезное, за них и прирезать могут. Кто там в солнечной Грузии заманил джинсового мальчика на предмет пленительного сотрясения маминой постели? Пардон, дело было в горах, — две скромные школьницы. Мальчонка остался без штанов и без пульса. Девушки, по слухам, и посейчас страдают от активного авитаминоза на северном лесоповале.

«Джинсы, — утверждает Никита, — в стране победившего всех без разбора социализма не портки, а флаг». Ося же уверяет, что как загар создает образ здоровья, свободного времени, юга, солнца, так и джинсы — образ свободных, опытных в мордобое и задирании юбок мужланов, а для сов, тоскливо глядящих за бугор, джинсы — это и есть сама свобода...

Нынче все проще. Я позвонил Долгоносику, любовнице мрачного, седого, худого как спичка художника. Художник упорно доставал соцреализм тем, что писал точно такие же, как в Манеже, картины; лишь какая-нибудь кощунственная и не сразу уловимая деталь превращала «Трактористов на отдыхе» или «Посещение делегацией вьетнамских товарищей фабрики

презервативов г. Баковка» в полный и прекрасный бред. Так, отдыхающий в жирных волнах пашни тракторист одной рукой расправлял непокоримый чуб, а в другой, прижатой к сердцу, держал «ГУЛАГ» Солженицина. С вьетнамскими же товарищами все было в порядке, лишь одна сисястая розовощекая комсомолка из ОТК, смущаясь конечно, показывала руководителю делегации разведенными ладошками размер в Африку идущих презервативов.

* * *

Долгоносик, ленивая, всегда заспанная, флегматичная девица, открыла шкаф, вываливая товар. Свитера и брюки, рубашки и куртки, шарфы, часы, браслеты, белье, чулки. Налицо был явный прогресс — вещи были новые, цены чудовищные. Я выбрал рубашку, вельветовый пиджак, померил джинсы. Денег не хватало, но Долгоносик открыла мне кредит. «Заходи почаще, — прощалась она, — в конце месяца Большой возвращается из Парижа, всего будет навалом». Халатик щупленькой девочки все время случайно распахивался, и ее жалкая грудка подглядывала бледным соском.

* * *

Впервые в жизни, отправляясь в гости, я прихватил паспорт. Пешком я пересек центр и добрался до гостиницы «Украина». Дипломатическое гетто — одинаковые, покоем стоящие коробки зданий — начиналось отсюда; заросли ситроенов и вольво, магазины с улучшенными товарами, валютные лавки, стоглазые дворники, незаметный уличный патруль, особый московский привкус опасности. Пьяница, не соображающий, как застегнуть ширинку, не сунется в такой двор, не станет искать проходняшку. Любопытствующий дурак ускорит шаг, и лишь недоразвитые школяры будут думать, как бы проскочить обалдевшего от скуки фараона и отломать от сказочного мерседеса роскошный трилистник эмблемы.

Без пяти час, усиленно припадая на правую ногу, с зыбью боли на наглom челе, я подошел к черной волге, скучающей у подъезда гостиницы. Старый хрыч за баранкой умненькими глазами смотрел на мое приближение. Он не открыл дверь, а лишь приспустил стекло. Делая легкие ошибки в чудном языке Толстого, указывая рукой в тугой перчатке куда-то через дорогу, я объяснил Харону Ивановичу, что плачу трешник, ежели он довезет меня до дома, до которого двести метров пути, полминуты свободного полета. Какой же привыкший к левой работе шофер откажется получить трешник за такой пустяк? Миновав милицейский пост, мы подкатили к угловому подъезду, дядя Ваня получил на водку, а я, забыв, на какую ногу нужно хромать, проковылял к вражескому лифту.

Это была уже другая Москва, вычищенная, отмытая. Не было в подъезде настенной графики: наивной порнографии, изречений вроде: «Дура, возьми в рот...» — или лаконичной мести: «Девушка Шура дает всем шоферам МУРа... тел. 232-16-01». Не было черных подпалин на потолке — забав школяров и ленивых хулиганов. Делается это просто: забавник плюет на известку стены и соскребает ее спичкой, после чего спичка поджигается и выстреливает в потолок; комок мокрой известки приклеивает ее, и деревянный червяк горит и корчится, и пятно копоти расплывается все шире и шире.

* * *

Я что-то перехватил утром: кусок сыра, чашку кофе. Напряжение и смущение придавили чувство голода. Теперь же, сидя в салоне, раздавшемся до размеров дворца, обалдевший от картин, ковров, фарфора, от стерильного, в какой-то трубе общипанного воздуха, я был готов смести теленка, кабанчика или хотя бы корку хлеба.

Дети уже тащили показывать мне свои сокровища: невиданные игрушки, в которые тут же хотелось поиграть, то есть отыгратся за припорошенное снежком пустое место в памяти, называемое детством. Но уже шли через розовый лужок глазастые колени, кружевной фартучек и сплетенные на мягком животике, друг в дружку вцепившиеся ручки.

«Разверни-ка его под столом, Джонатан...» И красный автомобильчик, конечно же не сделанный таким крошечным, а уменьшенный — лишь прямые арифметические уменьшения дают такие копии, — застрявший в дюнах ковра, буксовал, рычал, но все же слушался у окна лежавшего с антенной в руках Джонатана.

«Что будет пить господин?» — в неожиданном третьем лице спросила служанка. Боже! За что мне эта издевка судьбы? Первый человек в моей жизни, назвавший меня господином, был гэбэшной дипкорпусовской вышколенной служанкой... Роджер, ведущий за руку Сьюзи, громко сказал: «Дайте ему текилы: он бредит кактусами... Ты ведь никогда не пил мексиканскую водку?..» Пять стопок текилы, ледяных и пресных, прожгли во мне дыру. Я добросовестно выполнял обряд: сыпал соль на венерин бугор, вооружался лимонной долькой и, начиная с соли и кончая лимоном, посылал в уже горящие внутренности взрывающийся глоток.

За дымчатой занавеской катился в радужное будущее обычный московский проспект: вьючный люд пер свои авоськи, стоял в очередях под вывеской «Овощи-фрукты», вжимался в троллейбусные двери. Вождь, в до сих пор не износившемся канонизированном черном жилете, с гвоздикой в петлице и с удушенном, как петух, картузом в огромном кулаке, перекрывал собою фасад дома напротив. Среди грозных клюквенных облаков, под мышкой вождя, было прорезано банальное с крестом оконце, авоська с продуктами была вывешена наружу... Патрульная канарейка медленно тащилась по осевой. Со скрежетом шла от моста танковая колонна снегоуборочных машин. Железные щетки с остервенением вгрызались в черный лед.

* * *

Пришла мисс Не-Помню. Пришел господин Забыл. На руках прошмыгнула в просвете дверей служанка: блюдо с отставшим облачком пара она по-цирковому держала ногами. «Нажми здесь», — ломал мой палец упорный Джонатан. Я ткнул кнопку: на замаскировавшемся под карманное зеркальце экранчике вытаращил зенки и сиганул в небеса разноцветный Микки Маус. «A table!» — позвала Пола.

Мне было сколько-то там взрослых лет. Мне казалось, я прилично разбирался в литературе, живописи, кино, истории, немного в философии. Я был горд тем, что самостоятельно выжил, никуда не вступил, ни на что не согласился, ото всех удрал. Я умел стрелять из автомата в кромешной тьме на звук голоса; пересекал страну без копейки денег из конца в конец, отличал на слух в джунглях стоголового оркестра Роя Эддриджа от Кэта Эндерсена. Я выпивал бутылку водки один и, если закуски не было, считал, что и так сойдет. Я мог расслоить любую городскую толпу на составные: от кассира Большого, одетого под туриста, до стукача, прикидывающегося рабочим. Я выучил английский, слушая сквозь вой и треск разорванного пространства Jazz Hours Виллиса Коновера.

И я оказался полным дикарем. Я не знал, как принять из рук служанки блюдо. У меня никогда не было служанок! Издыхая от голода, я сделал самое худшее — тоскливым голосом я сообщил хозяйке, что в общем-то не очень голоден... Пощипывая вкуснейшую корочку хлеба, так, исключительно от рассеянности... я любезно ответствовал мадемуазель Не-Помню, что православный пост продлится еще три недели, что в старые времена магазины были забиты грибочками ста сортов, квашеной капустой с брусникой и клюквой, мочеными яблоками, орехами, жареными вениками... «О нет! — отвечал я господину Забыл. — Сам-то я, грешный, настолько погряз, что никакой пост не в помощь...»

Пола была огорчена. «Ну хоть маленький кусочек?» Совсем маленький? Не стесняюсь ли я? Куда там! Я был непринужден и весел. Я пил какое-то там помроль года чешских событий, я ерничал, изгалялся, шутил, а глаз мой, голодный, жадный глаз, как бы мимоходом облизывал золотистые корочки мяса, плавающего среди не снявших шляпы грибочков в жирном, травкой посыпанном соусе... Роджер подливал мне чешских событий, Джонатан вслед за мной отнекивался от очередного блюда, падала под стол проклятая перекрахмаленная салфетка, лейтенант Дурманова выныривала из-за спины с целой лужайкой салата, и лишь на крошечный ломоть сыра согласился скромный идиот: проглотив его вмиг. «Бри», — сказал кто-то. «Ядерный обмен ударами займет всего лишь двадцать минут», — вставила неопознанная личность. Но мука моя не кончилась. Уже тащили с кухни самую настоящую спиртовку, что-то поливали коньяком, поджигали...

Солнце заливало столовую, жирным пластом лежало на сухом снеге скатерти, дурачилось на кривом боку серебряной сахарницы, фиолетовыми лучами кололось из зарослей жирандолей. «Фаллическая форма куполов русских церквей», — отвечал я кому-то. «Еще кофе?» — спросила Пола и посмотрела на меня с сочувствием. «До России, — как зумом наехавший, начал Роджер, — мы пять лет жили в Пекине».

Я хорошо помню эти слайды. Красно-синий Китай, Великую стену, переходящую в кремлевскую, обрывающуюся берлинской... «Мой дед был шпионом в Китае, — сказал я, — в тридцатых доблестных годах. Еле смылся. Под него уже подвели жизнерадостный бамбуковый росток сорок пятого калибра, но он сделал ноги». — «Баснословные времена», — сказал Роджер без всякого там акцента и вдруг начал продавать мороженое. Я взял крем-брюле.

Мороженое — чисто московский феномен. В любое время года оно, обладая таинственной сопротивляемостью режиму, доступно шахтерам и колхозницам, гетерам и капитанам второго ранга. Оно начисто лишено основного свойства передовой коммунистической продукции — исчезаемости. Я откусил край вместе с хилой вафелькой и побрел, гонимый ветром, вдоль китайско-кремлевской стены. Небо было невообразимо низким и давило на мозжечок. В небо это можно было вбивать гвозди. У Арсенальной башни, несмотря на меркнувший день, молодожены фотографировались у Вечного огня. Лети, белое платье, вздымайся, невинная грудь! Стой прямо, черный костюм, а вы, господа конвойные и гименейные, дыбьтесь и рыдайте от счастья, в тесном порядке протискиваясь в фотокадр... Не кто иной, как я сам, помнится, зажигал этот вечный огонек в первый раз. Ух, как ломит зимнее мороженое зуб неизбывной глупости! Я сидел на могилке неизвестного солдата с работягами — гранитной плиты тогда еще не было — и распивал четвертинку. От населения нашей огромной страны мы были отгорожены деревянным заборчиком. Газ под светильник уже подвели, и ребята только что закончили возню с утеплением. «Эй, журналист, — крикнул мне один из них, — рубать с нами будешь?» И он бросил мне коробок спичек и открыл вентиль. На вечном газовом огне мы распустили две банки болгарских голубцов по шестьдесят копеек и умяли это дело с буханкой орловского хлеба...

Вот о чем я думал, глядя на молодоженов, стынувших под сухим снежком в раздетом до озноба виде, — о банке болгарских голубцов.

* * *

С тех пор я стал бывать у Роджера регулярно. Два раза в неделю я занимался русским с детьми, а после них — с отцом. Дети и без меня набирались в школе на третьей скорости. Роджер был прилежен, и, за исключением Пола, заговорившей лишь перед самой их высылкой, все мы скоро перешли на апельсиново-механическую новоречь: «Kogda you'll come back domoi, do me a favour, pozvoni», — просил Роджер. На что я резонно отвечал: «From home? Ti chto, ohuel?»

* * *

Его семья стала моей finishing school. Никита притащил мне как-то бледную ксерокопию мидовского протокола и «Правила хорошего тона 1889 года». Я быстро вник в тонкости ношения бриллиантов, освоил три способа подсаживания дамы в карету, отметил на будущее, что не стоит ковырять в ухе вилок для улиток, и наконец-то понял, почему мужчина должен идти сзади поднимающейся по лестнице женщины. Никита острил, что в те времена не было миниюбок, но мы оба пришли к выводу, что ladies first происходит из весьма половой жизни. «Если там ты не пропустишь ее вперед, если ты не дашь ей взорваться, а когда сам сверзнешься, обнаружишь, что она все еще корчится в ионосфере, не в силах ни взлететь, ни спуститься, тогда завал: перманентная истерия, гарантированная стервозность. Пропуская ее вперед, ты проявляешь себя истинным джентльменом. Все остальное: театры, похоронные процессии, кивки и рукопожатия, пируэты в дверях — чушь и бесплатное приложение. Уверю тебя, — заводился Никитка, — если в постели ты ее пропускаешь вперед, она простит тебе любые огрехи».

Это было забавно. Мы трепались с ним о светской жизни в стране, где одно лишнее «О» округлило ее до нуля. С-о-ветская жизнь! Где один встает, поглаживая усы, и все садятся... Где протягивают не руки, а ноги... Где на «как поживаете» привычно отвечают — «спасибо, плохо». Где традиции настолько нарушены, что для официально-контактных с иностранцами издают внутренние инструкции, призывающие застегивать брюки и не сморкаться в салфетку. Ах дорогая госпожа, Гэ Стайн! Есть, конечно, потерянные поколения, но есть и напрочь потерянные страны...

Однако уже набегают со всех сторон кипящие праведным гневом левобережные парижские интеллектуалы; уже дудят в дудки удивительно красные профессора свободных университетов; уже тащат к стенке за злопыхательство и патетическую клевету... Господа, отвечаю я, идите и поживите. Без березовых магазинов и мерседесов. В Калуге, Кемерово, Куйбышеве, Клину или на любую другую букву. Не пудрите выжившим мозги! Лично я рекомендовал бы вам послушать, что о вас думают на улице Счастливого труда, дом триста сорок один. О парижских адвокатах московского режима. Прямо при вас не высказываются. Но я вам это устрою. Есть, правда, в этом деле маленькое лингвистическое затруднение. Как бы неостановимый поток междометий. Эдакая труднопереводимая Ниагара внесловарных словечек.

* * *

Это Роджер, конечно, снабдил меня работавшими в разное время на ЦРУ Элиотом, Джойсом и Дарреллом. Это он привозил теперь пластинки, подкидывал мне западные журналы, одно наличие которых в моей квартире обещало праведный суд без помилования и устойчивый запах северной хвои. Однажды он предложил мне платить за уроки. Я отказался. «Ты не прав, — сказал он, — бизнес — это бизнес. И ты, и я будем серьезнее заниматься. Одно дело — дружеские отношения, другое — деловые». Я опять отказался, и он выдал теперь ему отлично знакомое слово «mudak»: «Лишние две сотни тебе не помешают. Для тебя это большие деньги, а для меня карманные, pocket money... О'кей! Как хочешь».

Но, отправившись в Лондон за покупками, он и мне накупил целый вагон тряпок и, как я ни отнекивался, всучил. «У тебя, парень, — комплексы, — сказал он. — Даже, может, и советские. Что у тебя там мельтешит в мозгах? ЦРУ? Ты сам не знаешь, какой ты счастливчик; ты более-менее вне игры. Но... Но, однако, ты не можешь избавиться от некоторых предрассудков. Кончай корчиться. Это твой гонорар».

Смеха ради, в следующий раз, одетый во все новенькое, в шубе нараспашку, в отличном костюме, в невероятных, черт знает что, каких-то сапогах, я наплевательски медленно прошел милицейский пост. Я даже задержался возле караульной будки, прикуривая на ветру. Постовой лишь краем глаза полоснул меня и отвернулся. Я попал в иностранцы. В дальнейшем на любые неугодные уличные вопросы я отвечал по-английски. И так как вычислить меня, от шнурков до небрежно повязанного шарфа, было невозможно — народ линял. Я вкусил некую фальшивую свободу от московской толпы, столь назойливой, столь любящей поучать. Я мог теперь безнаказанно выслушивать, что трамвайный люд думает об иностранцах. Забавно: ненависть мешалась с холопством.

* * *

Роджеру я передал выверенный экземпляр рукописи, твердо зная, что она никогда не будет напечатана в Союзе. Я попросил его переслать ее в парижское русское издательство. В Хельсинки только что было подписано соглашение, и, несмотря на врожденный скептицизм, мы все же на что-то надеялись. Один лишь Ося кисло морщился и предлагал вспомнить, выполнили ли отцы-правители хоть один пакт, который они подписали. Что ж, он был прав: ни одного. Кстати, об Осе — он позвонил мне и предложил прокатиться в Серебряный бор.

* * *

Климат этой части моего повествования надоевшие зимний. Белый десант сыпет и сыпет с неба. День и ночь грузовики с наращенными бортами вывозят снег из города. Я так полагаю, что в Африку. Отличный экспорт. Сбрасывают самолетами: подержанный, second hand, русский снежок. Стоят, раскрыв фиолетовые рты, дети, ловят идеологически профильтрованный снежок... Это вам не пифагоровские безделушки, геометрические штучки, звездочки и восьмиугольники! Падает снежок в виде серпов и молотов, зовет — намекает полоснуть серпом по яйцам разжиревших капиталистов, ударить молотом по черепам кровопийц...

Булгаковская была погодка, когда мы выбрались с Осей на прогулку: последняя метель тащила свой хвост через столицу. Спали летние дачки, из дома отдыха с дорическими, крашенными золотой краской, деревянными колоннами, выбежал человек в спортивном костюме. «За водкой послали», — прокомментировал Ося.

Мы нашли утопанную тропинку меж соснами. «Что я вам могу сказать, голубчик, — начал он. — Будь у меня журнал, я бы вас тут же тиснул. Вещь зрелая, и, за исключением последней главы, мне не к чему придраться. На кой ляд вам его выбрасывать из самолета?.. Париж написан густо, хотя нам с вами достоверность описания, увы, не проверить. Однако глава вываливается... Словно это пародия.., что ли...»

«А мат?» — спросил я. Мы повернули на набережную и пошли вдоль набухшей подо льдом реки. «В до сих пор свободном мире, — отвечал Ося, — так называемые неприличные слова прошли длительную обработку. Я не говорю про Катуллу или Рабле, лишь про наш век. Первые шоковые книги появились еще до второй мировой. К концу пятидесятых они стали классикой. Слово, обозначающее мужской половой хуй, перестало торчать пугалом. Сексуальный словарь обтесался, произошло сглаживание. Зигмунд Иванович, безусловно, помог. Да и некоторые идеи у них более цивилизованы, что ли... По-русски ведь не скажешь — делать любовь... А жаль. Да и разница в понимании происходящего. Что умнее: кончай или jouis, наслаждайся? Одно — любовное, живое, а другое прямо из какого-то производственного процесса. Можно сказать так: иго русского мата кончится только тогда, когда пройдет обработку свободного употребления. В языке нет случайных явлений; сексуальный словарь отражает лишь состояние сексуальной жизни нации. «Об этом молчат!» — вранье. Любовники вечно изворачиваются, придумывая эвфемизмы, стараются вырваться из-под уличного звучания,

пытаются сделать слово частной собственностью: дать имя, свое имя. У вашего поколения неприятнейшая, хоть и веселая задача — содрать покрывало с Марфы Семеновны и Петра Кирилыча. И они отнюдь не будут довольны... В то же время нам предстоит злоупотребление этой частью словаря. В пику цензуре. И задумывались ли вы, почему правители так боятся поднимать неподъемный половой вопрос? Только ли потому, что они в преклонном возрасте? Нет. Счастливая пара — это побег из нашего искусственного общества, возвращение к человеческой природе. Зачем мне, спрашивается, коммунистический рай, если я дорвался до врат Эдема? Правительство вообще запретило бы хуй декретом номер один, если бы не нужна была бы отчизне рождаемость: солдаты, роты, строители пирамид».

На льду, несмотря на оттепель, сидел рыбак в тяжелом полушубке. Быстро темнело, и в коробках на той стороне уже зажигали электричество.

* * *

Февраль? март? все еще фе, все еще враль?.. Что за календы за чужим окном? Серенькое армейского сукна утро. С трудом раздирающиеся ресницы, скомканные простыни, голова, в которой взрываются тоскливые галактики. Что мы пили вчера? Где и с кем? Подружка моя, имя которой в дальнейшем тоже не пригодится, сбежала в свой институтский муравейник — рассчитывать опоры слоновьих ног, зевать, рисовать крылатые фаллосы меж строк конспекта, извлекать, вытаращив воспаленно-бирюзовый глаз, соринку из карманного зеркала.

От ее утренних всхлипов до сих пор напряжен мой зверь. («Как там поживает наш звереныш?» — ее скромное к сути дела соскальзывание.) Там, где недавно проскочила горячая молния, проживает теперь тупая торжественная боль. Выползая из-под драного одеяла, двигаясь с тошнотворной нежностью, чтобы не расплескать мозги, несую свою воздетую гордость в ванную. В таком состоянии я предпочитаю простое перечисление: грязные носки, мокрое полотенце, крем для лица фабрики «Свобода», чашка недопитого кофе, размокший окурок, плавающий в унитазе. Зубной пастой по зеркалу выведен все тот же крылатый, с двойной подвеской фаллос. Зеркало корчится, подсовывая мятую рожу. О цейсовской резкости объективов не может быть и речи. Убогий хаос квартирки оплывает, как свеча.

Отснятый рапидом, я возвращаюсь в комнату. Плыву, преувеличенно осторожно перебирая ногами, ныряю под стол, заглядываю в холодильник, сшибаю с ночного столика лампу. Звук выключен, и я вижу, как лампа медленно, продолжая дергаться на черном шнуре, разлетается вдребезги. Плевать! За неустойчивость отвечает отдел кадров. В прихожей я заглядываю даже в ведро. Ничего нет! Все вылакали ночью под вой метели и арифметику будильника. Выпив, я обычно торжественно мрачней, но поутру меня проридает откровенная сентиментальность.

Ватная, отдельно существующая, вечность уходит на одевание, борьбу с матовыми осколками лампы, на поиски дезертировавшего сапога. Глупо стоять в шубе и шапке и одном единственном сапоге, умирая с похмелья, тряся в ладошке гербы полтинников и лысых Ильичей, соображая куда же мог смотаться этот, со стоптанным каблуком и стертой подковкой... Но есть детская уловка: нужно отвлечься, дать сапогу время отдышаться, перестать играть в прятки. Так и есть — теперь он стоит, пристыженный, на газовой плите. Я ему не судья. Ночь есть ночь, и у нее свои законы.

* * *

На улице все еще метет, и нахлобученные статисты моей жизни, сгорбившись, бредут из пункта А в пункт Б.

Быстро идти я не могу: сердце обрывается и летит в бездну. Медленно идти слишком холодно. Струи снега бьют с праведным гневом. Ангелы, что ли, пушисто писают с высоты? Я

крадусь вдоль стен домов, водосточных труб, ненадежных дверей. Арки мутно распахиваются, и в глубине их, в мутной, заблеванной глубине, дворник, конечно же, прикуривает у управдома и участковый танцует с пенсионером... О, хранители канцелярского тепла и околоточных ключей, домовые нашей жизни!.. Иванов дунет в свисток, а Петров позвонит куда надо, и начальство узнает, что некий Тимофей Сумбуров, туняец и маразматик, алкоголик до коллик, нолик, ищущий шкалик, тащится, сукоедина, по городу светлого будущего в поисках опохмелки... Что ему народы освобождающейся Африки? Безработные на улицах Нью-Йорка? Что ему неудавшаяся засада Красных бригад на Черный сентябрь и лужи крови и вина в сельской пиццерии на полу?.. А урожай стали и выплавка овса в Казахстане? А запуск балета Большого театра в полном составе на Луну?

Жалкий отщепенец великой страны, его интересует лишь одно: открыт ли пункт по реанимации алкоголиков, пивной ларек на углу споткнувшегося о площадь бульвара... А что, если закрыт? Что, если слово «пиво» засекречено вчера в одиннадцать пятнадцать по кремлевскому времени? Мерзкая волна промозглой тошноты поднимается во мне. Как девятый вал Айвазовского и Ж. П. Сартр одновременно. Я останавливаюсь, упираясь в падающий дом руками. Он раздавит меня! Идиотская коллекция кирпичей! Испуганная девчушка в жалком пальтишке оборачивается на бегу... Занавес! Умоляю вас... Белый зимний занавес!..

* * *

Искусство пересечения больших городских площадей в состоянии синдрома опохмелки нужно преподавать во всех старших классах Союза. Я мог бы прочесть множество перевозбужденных лекций на эту тему. Дети мои, начал бы я, одной из загадок нашего общества равных невозможностей является тот грустный факт, что пивные ларьки, эти гуманнейшие заведения по спасению заблудших тел и полумертвых душ, находятся всегда на труднодоступных даже и бывшим олимпийцам территориях. Трамвайные пути, переименованные в виде пятиконечных звезд, виражи похоронных автобусов, стремительные пролеты спешащих арестовывать диссиду и размечтавшихся академиков черных машин, а то и просто траншеи и окопы земляных работ необычайной государственной важности — все это встает на пути человека обоего пола.

Что могу посоветовать вам я? Вам, вступающим в жизнь, я — из нее выступающий? Мое абсолютное убеждение: водку не отменяют. Коммунизм и водка — братья по духу и сестры по борьбе. В некотором смысле водка и есть коммунизм. Так сказать, его база и его надстройка. Что же еще может так катастрофически сблизить генерала и колхозницу, работягу и министра? Четыреста грамм без закуски. Наш национальный напиток не есть ли он, спрошу я вас, та самая, от интеллектуальных онанистов ускользающая, по всем закоулкам мира блуждающая свобода? О которой рыдали поэты, которой боялись тираны... Свобода дается не просто. Взлет — это уже падение. Взлет без падения — это побег. Будь то общество или жизнь. На языке дворников и генсеков наше неизбежное падение называется состоянием мучительного похмелья. Когда тело спотыкается о душу.

Слова этого, адекватного нашему, нет в иностранных словарях. Если из русского похмелья вычесть английское *hangover*, умноженное на французское *gueule de bois*, останется девяносто девять процентов нашего родного бреда, жжения в мозжечке, тошноты, стабильной, как пятилетний план, головной боли, могущественной, как телефонный звонок первого секретаря...

Как же двигаться, будучи мужчиной неполных двадцати семи лет или женщиной, штурмовавшей Зимний, Летний и Демисезонный дворцы, через со всех сторон продуваемую площадь к ларьку?

Дети, есть два способа, и оба хороши. Первый: вывернув голову как можно круче влево, наплевав на шуточки земного притяжения, тахикардию и позывы к мочеиспусканию, нужно стремительно пересечь полукольцо площади, не обращая внимания на хлюпающий снег и, вопли

машин. Достигнув таким образом гудящих на ветру флажтоков, можно при желании опорожнить мочевой пузырь за трехметровым портретом вождя — меньше дует. Далее, продолжая игнорировать общественный транспорт в лице оформленного вспышками трамвая, пересекается без потери ритма второй отрезок. Смысл есть уступать дорогу лишь правительственным лимузинам, черный цвет которых даже при поверхностном взгляде чернее обычного.

Возьмем теперь, пионеры и школьники, линейки и рейсфедеры и прочертим эту драматическую прямую от точки бедственного стояния на внепивном берегу до нашего маленького рая. Не будем забывать, что пространство по Лобачевскому кошкой старается выгнуть спину... Философы, дети, — это люди в состоянии хронического похмелья. Вместо выпивки у них в дело идут озарения и просветления...

Второй способ проще. Это стремительное пересечение вдребезги игнорируемого пространства с практически закрытыми глазами. Правую руку в таком случае нужно держать на манер политических лидеров, призывающих небо в свидетели. Помните: состояние внезапной паники способно вас как бы распахнуть на полпути к счастью — и тогда... Лучше не думать! А посему: нужно по-гегелевски напрячь волю и по-штайнеровски мыслить мирами, а не дрончить воображение картинками из жизни небритых в грязных халатах реаниматоров...

* * *

Мне повезло. В очереди вертикально лежало не более пятнадцати страдальцев. Дядя с озверевшим маленьким личиком мял, но не открывал лежащую в огромной ручище трубочку валидола. Я и сам весь взмок. Народ не базарил: утренние часы — время серьезное; возвращение в жизнь — это вам не пионерский поход в крематорий. Странно, водили в седьмом классе, а вспоминается сейчас.

Действительно, на кой хрен водили? Знакомить с курнозой? Торжество ножниц над материей. Там был оркестр слепых музыкантов, слепых и колченогих. Там был ни на что не похожий запах, даже и не запах, а воздух, воздушок, душок шныряющий по залу. Любовь Аркадьевна, наша училка, ложилась ли горою растекающихся выпуклостей на выдвигающийся стол? Или это сейчас черный снежок горит странным пламенем в моей раскаленной башке? Словно кто-то шептал там на ухо: растирасти, а мы тебя в печку... Ты у нас в трубу вылетишь... От одной только мысли о короткой трубе, приставленной грязному небу в висок, мое сердце мокро перевернулось.

— Давай, мужик, двигайся, толкают в спину, а то останутся от хуя уши...

То-то и оно, вдруг пиво кончится? Страшнее не бывает...

Сосредоточенные, опухшие, небритые мужчины отходят от киоска, держа в растопыренных трясущихся клешнях по три, по четыре кружки пива. И я получаю свои две и отваливаю к скамейке, на которой сидит уже, переживший метаморфозы посложнее штучек Жана-Батиста Пьера де Моне Ламарка, ханыга. Глаза его совершенно никуда не глядят, а это уже высший класс.

Легче проглотить бильярдный шар, чем сделать первый глоток. Ханыга, так и не поворачивая головы, вдруг выдает: «Опохмелялся ли Наполеон на острове Святой Елены? И если да, то падала ли с него в этот момент треуголка?» От неожиданности я делаю то самое судорожное движение, чтобы не подавиться, и пиво фабрики «Золотой колос» протискивается в нутро... Мне вовсе не смешно. Если бухой дядя с утра думает о Буонапарте... Я доливаю себя, несмотря на бурные слезы протеста и клубящаяся Хиросима вздымается во мне. «Антракт, — говорю я дяде, — антракт три минуты». В голове, как в ремонтируемом доме, рушатся этажи, ухают перекрытия и все закрывает влажная липкая пыль.

На слух, на ощупь за нашими спинами к Язузе несется трамвай. «Не стесняйся, говорю я сам себе: есть время ерничать и время трезветь; время занимать деньги и время отнекиваться

от долгов; время базлатъ о времени и время неметь от словоблудия. Господи, думаю я, почему ты устроил все так бесконечно однообразно: эту зиму, тянущуюся из жизни в жизнь, эти рожи с воспаленными зеницами, этот снежок у меня на воротнике и эту тоску, ковыряющую душу кривым ногтем? Где море, оно же — солнце? Почему князя в малиновых шароварах не откатили столицу к югу? В шароварах и в меховых шапках на буйных кудрях. К югу, которого навалом... Почему я сижу здесь, а не лечу по пятнистому от солнца шоссе в двухместном кабриолете навстречу судьбе, принявшей вид какой-нибудь там румяно-русой носительницы противоположных признаков? Где эта калитка, открытая в сад, заросший мальвами и виноградом? Неужели я противопоказан самому себе? И чего ради я маюсь в этом заповеднике передового мрака с гибнущим серым веществом головного мозга, среди нелюбви, затравленности и напрасно облетающего календаря?

...Зачем на Таганке объявился лжепророк, и отчего в калужской деревне коровы перестали доиться после визита НЛО? Господи, зарегистрируй меня первым членом клуба Известных Нелетающих Объектов. Таких, как стул и кровать, пишущая машинка и собачий коврик... Господи, для чего столько яда влито в каждый глоток воздуха?

Ответом мне был затяжной, раскрывший тьму перебой сердца, и я поплыл, одной рукой вцепившись в спинку скамейки, к берегам Стикса, и ханыга, перегнувшись, ухватил меня за шарф, не давая упасть, заглядывая в меня с любопытством, почти с радостью, пустыми своими глазницами и иссопливленным лицом...

Господи! Неужели, если я и вправду должен отплыть туда, это то, что я увижу последним?

* * *

Мать висела надо мной, закрывая слепящую лампу. Был вечер. Отдельно от моей жизни где-то играла музыка. Отдельно слышались голоса в коридоре, чьи-то шаги. «Ничего страшного», — сказала мать и распрямилась. Была она в белом халате, и ее инициалы были вышиты побледневшей от стирки ниткой в углу кармана. «Арс вот-вот освободится и посмотрит тебя».

Я был слаб и весь болтался в суставах. Из меня выпустили воздух. Арсений Семенович занимал соседний кабинет. «Посиди в коридоре, — сказала мать, — у меня вон трое больных ждут. Пить тебе надо кончать, — сказала она мне в спину, — от этого, между прочим, потенция падает...»

Я сидел в мутном коридоре, а мимо шаркали старушки и старички, бывшие вершители революций, устроители всеобщего счастья. Вот прошамкала мимо очередная Марьиванна, печень, батюшка, донимает ее теперь, а не прибавочная стоимость, левый ослепший глаз и правое загноившееся ухо, а не слияние города с деревней.

«Чего вы там намудрили в семнадцатом?» — подмывает спросить ее, да она уж и не помнит. Арс, потирая руки, стоит в дверях кабинета: «Ну-с, юноша? Опять тутанхамонитесь?»

* * *

В первый раз я умер, когда мне было семь лет. В вечернюю форточку впархивал снежок, пахло яблоками, дезинфекцией, гладкой. Госпиталь был военный. Я лежал у окна в совершенно пустой громадной палате. Без всяких вдруг, очень просто, с прозрачной достоверностью, в какой-то миг я увидел, что вещи, стены, сам розовый вечерний воздух, лампа под потолком словно вставлены сами в себя.

В раме была рама окна, точно совпадающая по размеру. Длинное, густеющее ультрамарином облако с малиновой опалиной находилось внутри точно такого же облака, с точно такой же, расплыв цвета повторяющей, подпалиной. И я был вставлен внутрь самого

себя, как в футляр. Это был миг, когда произошло расслоение. Я увидел то, что часто вижу и теперь: живые и мертвые вещи вынимаются сами из себя. Мне не было страшно; лишь слишком настойчивый прохладный ветерок бил из ниоткуда все сильнее и сильнее. Я чувствовал, как падает температура. Она падала точно так же, как ртуть в градуснике. Все теряло вес и в то же время наливалось новой тяжестью по форме предметов.

Облако в окне стало гаснуть. В лицо мне уже не дышал, а бил настойчивый, волосы развевающий ветер. Я не мог шевельнуть и мизинцем. И в это время лопнула где-то сбоку находящаяся дверь, громынул резко поставленный поднос и нянечкино лицо, плотное, без всяких там раздвиганий, наплыло на меня, и от этого живого контраста все пошло волнами, и боль вернулась вместе с горячим всхлипом, кто-то уже вопил: «Камфору!», и нянечкин уютный голос где-то на отлете сказал: «Святые угодники! Так его ж ведь и колотить-то некуда...»

* * *

Арс, чистенький, розовенький, с такой детской глянцево-дынной тонзурой, что хотелось вывести на ней химическим карандашом неприличное слово, копошился в изножье кушетки с лягушачьими присосками кардиографа. «Рассказывайте. Только не завирайтесь. Опять то же самое?..» Ползла на пол бумажная лента. «Дышать, — говорил Арс, — не дышать... Дышать...» Он мял мои телеса, склонив голову, слушал. «Как спим?» — спросил он. «По-всякому, — я застегивался. — Что, опять ничего?» — «Гуляй, симулянт, — уже улыбался доктор, — на тебе воду возить можно».

«Японский бог, — начал я, чувствуя, как все тело освобождается от омертвения, — так что же? Опять психосоматика, растуды ее в Китай?!»

«Невроз! Невроз, голубчик, и ничего более. Клапана твои стучат, как колеса транссибирского экспресса. Объясню... Объясню... Ты свое напряжение копишь, копишь, — почесал он лысину стетоскопом, — а потом оно у тебя наружу прорывается. А так как по старой памяти у тебя слабое место — сердце, то оно тебе и устраивает спектакль... Так? Ты своим ощущениям не доверяешь; перебои там, спазмы..., тахикардия; все крайне субъективно. Тебе и приходится доверять профессионалам, кардиологам. На сколько тебе хватает вот такой психотерапии? На полгода? Гуляй! Гуляй и забудь. У всех оно дергается. Все мы в обмороки падаем. Матери скажи, чтоб она тебя при случае выдрала».

* * *

По дороге домой я купил молока, сыра, хлеба. На кухне сиамские коты рылись в обедках. Из кладовки, как всегда в трусах, вышел чемпион коммуналки с домкратом в руке: совсем недавно он умудрился разобрать одну из своих, слева купленных, машин и забить ею до потолка общую кладовку. «Привет, — сказал он, — там твой Цаплин загибается».

Дверь в мою комнату была приоткрыта, и я увидел ноги Цаплина, худые ноги в плоских огромных ботинках, свешивающиеся с тахты. Горела лишь одна нижняя лампа. «Помираю», — сказал Цаплин. Лицо его действительно провалилось.

В дверь всунулась жена чемпиона, огромная тетя с золотой цепью, не свисающей, а спокойно лежащей на груди. «На такой груди, — говаривал Никита, — можно сервировать завтрак на четверых».

«Приятель ваш, — сказала она голосом, в котором жила ищущая выхода буря, — доставил нам хлопот. «Скорую» пришлось вызывать. Пол за ним, бездельником, мыть. Если еще хоть раз...»

Я врезал по двери ногой.

Через час, когда я кончил паковать дорожную сумку, собрал бумаги и зачехлил машинку, Леня Цаплин уже сидел в старом кожаном кресле,пил четвертую чашку кирпично-крепкого чая и, со своими взлетающими интонациями, рассказывал.

«Ста-а-а-рик, я решил бросить есть. Ешь, ешь, а на хрена? Вон йоги одно рисовое зерно неделями жуют... Да и деньги на жратву уходят. Вот. Ну я и не ел неделю. Горюшкин — помнишь, такой квадратный? — таблеток мне дал, чтоб есть не хотелось. И, старик, приятно! Так легко. Голова, правда, кружилась зверски, старик... Но она у меня, — он выпустил мокрый смешок, — сам знаешь, всегда кружится, и все не в ту сторону. А сегодня шел мимо, дай, думаю, к Тимофею зайду... Зашел и помер. Понимаешь, старче, как-то весь сразу и помер... И эти твои... Этот бугай и его корова чуть меня не убили. «Наркоман!» — кричат. «Еврейские штучки! На жратве экономишь...» А мне уже до... Потом ребята из «Склифа» приехали, промыли всего кишкой — ужас! Никакого гуманизма! Закатили чего-то по вене и смылись... Таблетки отобрали. Жрать велели, идиоты. Вивиконанда вон месяцами на одной пране сидел. На пране и на воде...»

Леня Цаплин попался мне в какой-то компании несколько лет назад. Написал он в своей жизни один единственный рассказ, притчу с настолько затаенным глубинным смыслом, настолько мудрым намеком на всю человеческую историю, что смысл этот никак не проступал. Рассказ всегда был при нем. Он посещал мастерские левых художников и убеждал, что его нужно срочно иллюстрировать. Был он, к несчастью, настолько назойлив, что его отовсюду гнали.

Он собирался в Израиль, учил иврит и никак не мог избавиться от затянувшегося девичества. «Со шлюхой я не хочу, — говорил он. — Шлюхи, они нечистоплотные. Вот я познакомился с дочкой прокурора. Ей девятнадцать лет, старина, и она сама предложила переспать». Он сделал многозначительную паузу. «Я отказался. Из-за папаши. У них это быстро: «Евреи... наших дочек...» А она меня, старичок, сама за яйца хватала, не веришь? Не-е!.. Закатят куда-нибудь на лесоповал, а у меня здоровья, как у китайской балерины. Или в психушку. Спасибо. Я уже был. По собственному почину. А жениться на ней, потом в Израиль хуюшки пустят... Папаша засекречен, бумагами питается... Точно!.. А девушка она, — простонал он, хо-о-рошая!»

Я видел их однажды вместе. Две скелетины. Крупно цветущие прыщами. В очках. С нечесаными лохмами. Леня обучал ее разным позам из хатхи. «Старик — звонил он однажды. — Я ей показал позу плуга. Кишечник там, придатки, задатки, крестец, ды-ды-ды... Она ножки задрала, а под юбкой у нее ничего! Специально! Честное слово!..»

Трахнула же его все же профессиональная, самой древней профессии, красавица. Попался он стареющей львовской курве, фарцующей гастрольно в столице мира. Отвела она его в чью-то квартирку, заманив «Закатом Европы» и — прощай, пионерское детство!.. Леня Цаплин появился гордый. «Она не проститутка, старина. Конечно, она спит со всеми. Но она, старик, разрушает монополию государства на торговлю. Такие люди воссоздают нормальные отношения в этой идиотской стране. И она мне Шпенглера достала... И каторжанина! И Бергсон будет, старичок!..»

Каторжанином был, конечно же, Солженицын. Он же — Сол. Девушка не обманула и привезла целый чемодан нелегалщины. Пожиратель книг, Леня прочел их раза три подряд и продал. «Создаю финансовую базу, — объяснил он, — для отвала на родину предков. Вообще, если не хватит, я думаю, ребята скинутся, кто сколько может. Ты, например, стольник дашь?»

Он вечно носился с безумными идеями. Идея свободы реализовывалась у него в виде свободных плавучих островов. Он рисовал города-платформы в волнах карандашного океана, придумывал флаг, тщательно составлял список тех, кого он пригласит в коммуны. «Главное, — говорил он, — чтобы идею не украли. Я должен быть первым. На Западе, — Израиль, конечно же, был Западом, — я сразу рву в ООН. Проблема перенаселения решена!..»

Как-то он пришел зареванный как школьница. В польском журнале он вычитал, что какие-то ребята уже подняли флаг свободно плавающего братства. «И так всегда, — размазывал он

слезы по небритым щекам, — придумаешь что-нибудь гениальное и гниешь в братской советской могиле...»

Посылал он письма принцессе Анне с предложением выйти за него замуж. Была там потрясающая фраза, что-то вроде «представляете, как удивим мы мир, погрязший в рутине предрассудков? Мы ломаем границы привычного...» Ответа он не дождался. «У нас чего? У нас письма из-за бугра, — говорил он, — на телегах возят. ... А они по дороге в грязь падают».

Я решил уехать ночным поездом. Москва давила на загривок: пора было сматываться. Я раскупорил бутылку скотча, которую Мила достала в закрытом буфете. Леня тоже выпил и сразу закосел. Я сделал ему трехэтажный сэндвич, и он впился в него с подвыванием.

«Старик! — бубнил он с полным ртом. — У меня новая идея. Только тебе выдаю: порнографические марки... Просто и гениально. Выеду и займусь. Деньги будут! А? — Он даже перестал жевать и выжидательно уставился на меня из-под очков. Не дождавшись, он медленно откусил край сэндвича и на прежней скорости понесся вскачь. — Главное — свободно пересекают границы. — На марках — греческие геммы, японские гравюры из этих их, для невест, книг, шедевры великих мастеров, спрятанные от широкой публики... Вот только нужно выяснить, нет ли в почтовой конвенции пункта по этому поводу...»

Длинными пальцами он собирал крошки сыра со штанов. Я познакомил его с одним из участников нелегального журнала, занимающегося проблемами евреев, и вызов в Тель-Авив ему сделали за пару недель.

Выпив, он ходил по комнате и все на своем пути ворошил, переворачивал, вытаскивал. Меня всегда бесила эта его привычка. У него была шизофреническая моторность. Он открывал коробки на столе, выдвигал ящики моего письменного стола, возился в холодильнике, залезал в рукописи. Я взрывался. Он обижался. Я пытался приучить его звонить, прежде чем нагряться, я выставлял его из дому, но ничего не помогало.

«Слушай, Цаплин, — сказал я, — я уезжаю через час. Мне нужно сосредоточиться, понимаешь?»

«Чего, выгоняешь? — кисло уставился он на меня, — полумертвого человека? И он налил себе еще скотча, выпил залпом и утерся тыльной стороной ладони.

«Хрен с тобою, — сказал он, — не все выдерживают общение с гениями. Когда вернешься? — Когда деньги кончатся, — ответил я.

«Слуууууушай, — застрял он к моему ужасу в дверях, — а что если я пока у тебя поживу?»

Вот этого я и боялся. После него в доме черт ногу сломит; рукописи будут перемешаны в кашу, пластинки запилены, а соседи объявят гражданскую войну. И милиция будет на их стороне!

«Не могу, — соврал я, — я уже отдал ключи приятельнице.»

«Эээ... — покачал он пальцем, — нас на бабу променял...»

И он отвалил, и пока дверь, скуля, ползла, закрываясь, я видел, как он шел по коридору, хватаясь за стены.

* * *

Было лишь восемь часов. Я позвонил Никите, и он согласился дать мне свою максплеевскую ракетку. Моя за зиму, без зажимов, согнулась в бараний рог. Я пошел пешком. На душе было легко, мысленно я уже запихнул на верхнюю полку дорожную сумку, проводница разносила чай, а за окном, съезжая в чернильный мрак, мелькали подмосковные деревни. Я выжил, выскользнул из-под обвала, утренний кошмар улетучился окончательно. Арс был прав. Я не доверял своим ощущениям, мне раза два-три в год нужна была перепроверка. И Крым. Я не мог жить без моря. Во всем мире — я усмехнулся сам себе на зебре перехода — во всем советском мире я чувствовал себя дома лишь на берегу моря, на обрыве солончаковой степи.

От похмелья тоже не осталось и следа. Сердце билось ровно, как у пионерки. Откуда тогда этот вихрем налетающий страх смерти во мне? Не общей, как воинская повинность, а

моей собственной, в виде дыры на месте сердца?.. Я загибался три года подряд в нежном возрасте, с шести до девяти. Аккуратно менявшиеся доктора щупали и мяли мои цыплячьи ребра. До сих пор я помню сквозь туман памяти эти распахивающиеся халаты (скорее сигнализация — мы оттуда, из стерильной нежизни, чем гигиена), эти друг дружку потирающие, но все равно вечно холодные руки...

Что-то странное происходило тогда с моим слухом. Рецидивы и по сей час накатывают гулкими волнами, и я тону от плеска ржавой воды в ванной двумя этажами выше. Слух мой в те времена, разросшийся, свободно гуляющий по окрестностям, выуживал то взвизгивающие ножницы матери, которыми она распарывала для перелицовки жакет (крестик ножниц, превращающийся в единицу), то сухой треск карт в дедовском кабинете (офицеры в рубахах, перекрещенных на спине широкими помочами, склонившиеся в сизом дыму над коньяком и преферансом), то бабкину приглушенную тайную возню с хрустальной пробочкой графина — желтая кровь кагора, которым она питалась втихаря.

...Я мог блуждать слухом по всем закоулкам квартиры. Вот сухой, с длинной трещиной голос профессора: «Шансов мало. От силы два-три месяца» — и хруст сторублевки, которую он, не глядя, кладет в нагрудный карман. А вот тележка однорукого ветерана, это уже улица, двор, обменивающего пустые винные бутылки на самодельные игрушки. Она прокатывалась под окном за час до обеда. Я слышал шепотом бегущие по всем лестницам детские ноги, я слышал звон выпрошенных у родителей бутылок, аккуратно опускаемых отставным сержантом в мешок. Что он привез им сегодня? Проволочных стрекоз со слюдяными крыльями? Мандарины набитых опилками мячиков на длинных резинках? Тещины языки: по-турецки скрученные свистульки, мажущие губы дешевой краской? Или же настоящего воздушного змея с жирным иксом на спине и бородой из мочала? Четыре бутылки нужно было раздобыть, чтобы завладеть строптивым чудовищем. Неужели и я когда-то бежал по пустырю, держа за нитку десятого номера рвущегося прочь змея? Пустырь еще совсем недавно был стрельбищем, и Колька Сметанкин нашел в яме ржавый револьвер, а сын адмирала Кошкина, высокого седого старикана с золотыми нашивками на рукаве, исчез в кустах бузины, в кустах розово-черного взрыва, и мы все бежали к домам, и никто не хотел вернуться и посмотреть. Ручные гранаты после войны можно было выкапывать, как картошку...

Одинаковые тихие накрахмаленные голоса отпускали мне жизни на три недели, на месяц, запрещали шевелиться, поднимать руку, переворачиваться, садиться... Я лежал, сплюснутый запретами, и на слух обшаривал мой крошечный космос, сантиметр за сантиметром, не всегда, впрочем, опознавая звук, и тогда включалось единственное, что могло резвиться и прыгать во мне, — мое свободное, с разбитыми коленками воображение.

Я помню белую гривастую кобылу, на которой я скакал в те как бы запотевшие времена, сквозь клубящуюся цветущими садами Москву на помощь попавшей в беду красавице. Небесное создание, жившее на семнадцатой странице «Трех толстяков», голубоглазая мечта моего детства, — я вытаскивал тебя из задымленных горящих комнат. Глупая! Ты забивалась под треногий неуклюжий, уже со сморщенной от жара кожей, рояль... Я был неплох в белой пузыряем рубахе, с короткой морской шпагой на крыше дровяного сарая; один, конечно, против трех добродушно-мерзких небритых рож, похитивших мою синеглазку. Сколько клюквенных дыр я понаделал в них! Но мой настоящий триумф — медленное путешествие по солнечному лучу над забитой чернью площадью. Странные пистолеты употреблял я в те времена. Граненые их стволы наливались небесной лазурью, пока я целился в пивное брюхо палача. Звуковая дорожка моих приключений чаще всего отсутствовала, но я отчетливо помню, как с тугим продвижением второй фаланги указательного пальца, вдавленного в курок, грянул и рассыпался звоном лопнувших окон (в каждом окне по облаку) выстрел.

Стоило бы хоть сейчас, с опозданием на двадцать семь лет, послать бабушке телеграмму в ее генштабовскую богадельню — благодарность за идеальный синхрон, вовремя выроненный поднос со столовым серебром.

Но в дни, когда Эверестом карабкалась температура и с невидимой иглы падала, сообщая о готовности, росинка лекарства, я не мог представить себе ни обычной трамвайной улицы, ни соседней комнаты. Всегда, неизбежно, с сердечной тоской я видел одно и то же пустое кожаное кресло на коротких кривых ногах. Я напрягал все свои жалкие силы, пытаюсь соскользнуть вбок, вверх, упасть внутренним своим зрением на пол, — ничего! Ровно стоящее, лоснящееся потертой кожей, тускло мерцающее рыжими гвоздями кресло... Когда оно появлялось, вылупляясь из общего порядка вещей, я уже знал — наступает кризис. И бывало, мать еще только морщит лоб и бродит вокруг телефонного столика, а я уже корчусь под гипнозом кресла, пытаюсь закрыть закрытые глаза. Больше всего на свете я боялся, что в одно из своих появлений кресло оживет и кто-то даже и не холодный, а внетемпературный, давно ждущий опустится на оливковое сиденье и сложит вместе прозрачные пальцы.

Когда мне разрешали самому держать в руках книгу, она вдруг начинала разрастаться до жутких перекошенных размеров, а чайная ложка и подавно вытягивалась через всю комнату, наливаясь невыносимой, но подвижной тяжестью. Лет в восемнадцать, когда я впервые по-настоящему нарвался на буклет запрещенного Дали, я был поражен точностью его иллюстраций ко дням моего умирания: растекающиеся тела и их подпорки, перепады веса и обособленный, отрешенный голубой воздух. Меня, помнится, окатила волна слабости в уютной мастерской известного художника, отличного портретиста, увы, словно приписанного к кремлевскому парикмахерскому салону, к меняющимся бородам, усам и бровям. Книгу, которую он мне дал, я ощущал как ожог или порез. Мне пришлось положить ее на стол, но и переворачивая страницы, я отдергивал пальцы.

За три года, в которых было больше зим, чем апрелей и августов, домашние мои свыклись с затянувшимся умиранием. В итоге что-то сдвинулось, ожил крошечный, но мускулистый протест. Я стал садиться в кровати. Кружилась голова, я цеплялся взглядом за чашку на подоконнике, чашка соскальзывала, но не разбивалась, я упирался изо всех сил в красное с ранкой надкуса яблоко — жужжащее вращение останавливалось... Я медленно вставал — ватно в ватных волнах постели (дитя войны: одеяло было стегано парашютным шелком) — и пытался подтянуться, чтобы залезть на вплотную к кровати придвинутый гардероб. Через какую-то календарную вечность мне это удалось, и я стоял на четвереньках на припорошенной седой пылью крышке гардероба и разглядывал огромные желтые фотографии, аккуратно сложенные в папку с тесемками. Великолепные бородачи строго восседали в креслах, а рядом строго стояли волоокие дамы в пышных платьях. Я нашел меж страниц газеты со сталинскими лозунгами фотографию матери. В шелковом переливчатом платье она сидела на качелях, вделанных в невидимое фотографическое небо, пальма росла из кадки, мать была старше себя самой. Свалившись вниз, в подушки, я долго отдыхал, глотая разорванный воздух. В начале мая я уже мог пять раз подряд взбираться на свой Кавказ, а в июне, в полном стремительных ливней июне, при полном собрании нашей осколочной семьи, мне было разрешено встать с постели. Мать держала меня за обе руки и жалко улыбалась, словно приглашая танцевать, на столе рос целый куст жирной сливочной сирени. «Что же это такое, господи!» — всхлипывала в углу безбожная моя бабка, и, отворачиваясь, хлопал по карманам, ища спички, дед — я не умел ходить.

До сих пор во мне живет уверенность, что я обязан сам себе, скуке и заброшенности — выздоровлением. Всклипывавший всеми клапанами мой мускул натренировался в тюленьих прыжках. Но я навсегда впитал и эти прозрачные минуты умирания, и голоса докторов, тихо извиняющихся в коридоре за свое бессилие, за смущенную уверенность в моей скорой смерти.

Мои сверстники играли в расшибалку тяжелыми екатерининскими пятаками, когда меня вывозили на прогулку в дохлый садик, но уже через семь лет на стадионе Юных пионеров я перелетел зыбкую планку на восторженной высоте и, оттолкнув все еще пружинящий шест, рухнул в яму с опилками, установив рекорд района, а еще через три года меня гнали двадцатикилометровым маршем через тайгу, и автомат бил по спине, и мешала саперная лопата,

и скатка натирала подбородок, и шухаряга ефрейтор Климов, завидев у раскоряченного трактора бабу с ведром, на ходу кричал: «Хозяйка, дай воды напиться, а то так есть хочется, что не с кем переспать...»

Дополнения и уточнения: бабке на качелях шел лишь двадцать первый год, но выглядела она действительно старше дочери. Странности слуха привели меня за год до армии в институт экспериментальной психологии. Опыты шли в изолированной затемненной камере. В час платили три с чем-то. В графе, указывающей тему, стояло простецкое: опыты по мозговому утомлению. Я сидел, опутанный проводами датчиков, обязанный каждый раз, как только услышу изменения в частоте почти неуловимого сигнала, нажимать кнопку звонка. Я не только слышал выше всех норм, но и слышал, как за стеной звукоизолированной камеры оператор поворачивает свой диск. Каждое деление, на которое я по идее должен был реагировать, давалось ему с легким хрустом.

* * *

Никита был небрит, сентиментален, растерян. Он вышагивал из угла в угол кухни и грыз ногти. «Что случилось? — уставился на него я, — Начинаешь новую жизнь?» — «Боюсь спугнуть старую курву фортуны, — морщился он. — Забодал товару на девять кусков... Хочу притормозить... Влюбился...»

Влюбился! Никита влюбился! Половой разбойник Никита влюбился! Какое слово, приятель! Мы ржали, как два идиота. Никита вытащил из морозильника две пачки пельменей, я прихватил капиталистического максплея, и мы отправились ко мне — скотч был на моей территории.

* * *

Я никуда не уехал. Дверь, не успев я вставить ключ, распахнулась — незнакомый рыжий дядя улыбался с порога. «Добрый день, Тимофей Петрович», — сказал он. Везде горел свет: на кухне, в коридоре. Агитатор? Выборы? Голова не справлялась с лыбящимся дядей. Никита со сползшим лицом пошел первым. Я попытался пропустить дядю вперед, но он ласково замахал руками — к чему, мол, формальности... Дверь комнаты нашего чемпиона приоткрылась, и оттуда все с тем же заинтересованным выражением на красной ряхе высунулся еще один...

Я все еще не понимал. Из-за спины второго виднелось бледное лицо чемпиона. Я потянул за собою дверь, закрывая, но неизвестный ловко подставил ногу. «Можно к вам на секундочку?» — ласково спросил он. «А в чем, собственно, дело? — спросил я. — Я спешу на поезд». — «Да уж и стоит ли спешить? — входя, сказал второй дядя и протянул мне вдвое сложенный лист. — Поезда у нас по всем направлениям ходят», — добавил дядя. И, еще не добравшись до первой строчки, я увидел в левом верхнем углу — и потянул на себя ящик письменного стола — гриф КГБ — и тут же сильно получил по руке. Кромешник, поднимая лекарство и читая название, совсем уже другим тоном сказал: «Не больше двух, а то заснете и весь обыск коту под хвост... Сычев!» И в комнату вкатился третий: маленький, кругленький, с оттопыренными ушами. «Вам предлагается добровольно сдать наркотики, оружие, иностранную валюту, драгоценности, запрещенную литературу...» — читал свой стишок дядя. «Не имеется».

Я уже пришел в себя, но вечер был совсем другим, словно все подменили, словно ГБ было фокусником, специалистом по подмене реальности. Все было теперь немножко неправда. Никита стоял у стены, его обыскивали. У меня из кармана тянули записную книжку. Я лихорадочно соображал, дома ли отрывок из Солженицына, вернул ли я посадочного Орвела даме с камелиями, она же Мила, где Хроника Утекающих Событий, просекут ли они телефон Роджера, записанный наоборот... Ввели понятых, судя по всему студентов.

«Место работы?» — спросил налившегося кровью Никиту капитан Хромов. Развернутое удостоверение он, забыв наконец свою улыбочку, держал перед моими глазами. «Только что уволился, — вместо Никиты ответил лейтенант Сычев, — пока изволит отдыхать...» — «Нехорошо, Никита Григорьевич... Так и до тунеядства можно докатиться. Придется вашему отцу пожаловаться...» — «Моего отца ваши ребята шлепнули, — задохнулся Никита, — по ошибке, говорят...» — «Тише, тише, — прорычал, снимая пиджак, капитан. — Ошибки прошлого учтены. В том числе и перестрелка в институте Курчатова». — «Ах, юроды! — Я никогда не видел таким Никиту: безголосым, с пеной на губах... — Какого же хрена подкалывать, если вы по архивам прошли?» Капитан, аккуратно расправив, повесил пиджак на спинку стула. Под мышкой у него была короткая рыжая кобура.

* * *

Во втором часу ночи в хаосе перевернутой вверх ногами комнаты начал проступать порядок. Со дна раскрытой тахты был извлечен последний обрывок печатного, как они называли, материала. Понятые заканчивали просматривать гору журналов, пытаясь напоследок обнаружить застрявший меж страниц лист или письмо. Маленький шустрый Сычев, отодрав оклейку окна, ловко, напустив свежего воздуха, откупорил обе половинки и, улегшись животом на подоконник, шарил вслепую под оцинкованным заоконным карнизом. Стены были простуканы, из паркета вынули несколько расшатанных половиц. Отобранный материал лежал на рогоже мешка: кипа бумаг, Пари-Матч десятилетней давности, ворох магнитофонных пленок, фото-кассеты, «Поэма без героя», «Воронежские тетради». Среди промелькнувших бумаг я успел заметить письмо Солженицына, переписанное от руки консультантом по Парижу, отставным послом, да несколько страниц моего черновика на желтой технической бумаге. Я нашел несколько рулонов этой желтой бумаги на даче у академика, и, разрезав, печатал на чистой стороне: не на военных ли тайнах, черт побери? Папиросной бумаги с Хроникой не было. Капитан попытался было присоединить к вороху добычи и пачку западных пластинок, но я чисто инстинктивно успел вставить: «Не мое...» И Чарли Мингус миновал Лефортово.

Я сидел и пытался припомнить хоть что-нибудь из процессуального кодекса или из диссидентских рекомендаций. Но кодекса в открытой продаже не существовало, единственный раз я листал его в Осиной захлавленной библиотеке, а из правозащитного материала в голове застряла лишь мудреная статья о презумпции невиновности — словосочетание, от которого вскипает кровь даже у отставного гэбэшника.

В уборную повели под конвоем, закрывать дверь не разрешалось. Еще бы! — утоплю свою преступную голову в ржавом унитазе и тем самым уйду от справедливой кары. Некстати вспомнилось: «Унитаз — лицо хозяйки»? Кто это сказал? Мамаша одной из красоток, высокопоставленная бабенка...

Отвели и в кладовку. Предложено было указать мои места. На полатах стояло два чемодана изрядно истлевшего самиздата первой волны, с трудом раздобытых газет довоенного времени, каждая из которых громом звучала и пахла не пылью, а дальней дорогой. «Что здесь ваше?» — повторил капитан. Я ткнул пальцем в угол, где, зажатая в раму, напрасно ждала перетяжки ракетка, восьмеркой изогнутая стояла вторая, валялись мои норвежки да еще была коробка из-под китайского, времён песни «Сталин и Мао братья навек», печенья, набитая железной чепухой. Капитан пошарил глазами, царапнул и меня по лицу и повернулся уходить. Над его головой висела, надписью к стене, самодельная табличка «Ул. Мандельштама», которую лет десять назад мы с Саней пытались повесить в Фурмановском переулке.

Никита сидел мрачный. Курево кончилось, его не отпускали. Я все еще не мог вычислить причины обыска. Роджер? Рукопись? Новая волна посадок социально опасных? Хрен его знает. Капитан Хромов, разглядывая картину Ицина — пляж, гниющие останки зонтов, мячей, шезлонгов, купальщиц и их детей — единственное мое сокровище, изволил заметить, что у него есть две вещицы Сизова.

«Из конфискованных?» — поинтересовался Никита.

«Я бы вам порекомендовал, — оскалился капитан, — подумать, почем нынче фунт лиха в пересчете на тугрики...»

Никита растерянно хмыкнул. Господа опричники явились по наши души весьма подготовленными. Меня уже несколько раз спрашивали про практически невычислимые вещи. Никите передали привет от Додика Стальные Яйца, который «изучает особенности северного сияния» там, где «из баб одни медведицы»... Краем глаза я вдруг заметил, что один из понятых, белобрысый кореш с комсомольским значком на свитере, перелистывая не слишком крамольный Даун Бит, вдруг резко закрыл его и отложил в сторону уже проверенного. Я точно видел, как меж страниц мелькнула та самая лиловая папиросная бумага Хроники. Я попытался перехватить взгляд белобрысого, но он насупился еще больше, работа была ему явно не по душе. Дернули небось с дежурства в штабе народной дружины; одно дело — алкашам руки вязать, другое — шмон.

«Мы не можем составлять перепись всего материала, — сказал капитан, — поэтому будем оформлять изъятие». И он начал сваливать в мешок бывших и будущих зэков, бледные страницы бледных вдохновений, магнитофонные спагетти, старые записные книжки, негативы, конспекты уроков английского... Маленький удаленький Сычев подкатился и, удушив мешок веревкой, в полсекунды нацепил пломбу.

Вошел еще кто-то: усталое лицо, мешки под глазами, углы рта опущены. Капитан протянул ему самиздатовский перевод «Вновь найденного рая» профессора Краузе, трехсотстраничный труд по сексологии. Перевод сделал на свой страх и риск молодой переводчик, но издательство «Советская медицина» на провокацию не поддалось.

«Способ с применением льда... — прочел вошедший, — прихватите-ка и эту порнографию».

«Есть, товарищ майор, — деланно официально отвечал Хромов.

«Ну что ж, — повернулся ко мне майор, по всей вероятности большой любитель сюрпризов, — одевайтесь, Сумбуров...»

Это был момент, когда меня таки прошибло с головы до ног. Оттуда — не выпускают. В сопровождении шустрого лейтенанта я пошел переодеваться в ванную. Я стоял на холодном каменном полу и, как мне казалось, смешно промахивался мимо шерстяного носка. Свитер, тельняшку я выбрал автоматически. Как задумчивый плейбой, повертев в руках билет в оперу, бессознательно, но точно бросает на кровать легкую сорочку, с бледным исподом галстук и стоит, разглядывая в мягком рыжем омуте зеркала двумя пальцами оттянутое вниз веко с огненной точкой ячменя, так и мы (хихикнул идиотскому обобщению) бездумно выхватываем из накренившихся в ужасе шкафов крепкие теплые вещи для путешествия к оперу.

Клянусь, подобная литературная чушь обрушилась на меня в закутке ванной!

В комнату я вошел усмехаясь: меня словно проморозило насквозь и я освободился от подлого страха. «В тюрьме человек свободен» — ненавистная мне формула каторжан начала воплощаться. Я стоял, улыбаясь, посередине разгромленной комнаты, а майор, тоже улыбаясь, сверлил и сверлил меня тусклыми своими зенками.

«Когда вы видели в последний раз Зуйкова?» — спросил он, все еще продолжая сверление.

Киса! Что-то стряслось с Кисой!

«Не помню... До Нового года», — отвечал я.

«Не оставлял ли он вам что-нибудь на хранение?» Теперь вся команда уставилась на меня.

«Нет... А что случилось?»

«Вопросы задаем мы», — хрестоматийно отвечал старший по рангу дядя, который вдруг поплыл у меня перед глазами: ба-бай, не забывай полоскать горло утром свежим нарзаном.

Киса, Киса, что ж ты, остолоп, выкинул? Продал японцам водородную бомбу? Сбросилдохлую кошку на мавзолей?

«Ваш друг пытался бежать за границу. Накануне он отправил вам письмо».

«Я ничего не получал». Я попытался вспомнить, когда я вообще в последний раз имел дело с местным гермесом.

«Конечно, не получали», — сказал майор, протягивая мне конверт. Внутри был клочок ресторанный салфетки: «Дверь открыть нельзя. Зато можно дверью хлопнуть. Твой К.И.Са.».

«Что это значит?» — спросил фельдмаршал.

«Понятия не имею, — отвечал я. — Шутка. Зуйков в нашей школе был известнейшим шутником...»

«Вот-вот, — протянул мне протокол обыска генералиссимус, — он и дошутился. Подпишитесь здесь. Пожалуй, мы вас с собой не возьмем. Завтра приедете сами. К девяти». И он стал чертить на бумажке план. «Сойдете с троллейбуса, вернетесь на сто метров и — первая улица направо. Увидите детский сад, войдете во двор и там...» — «Jail!» — не выдержал Никита. «И ты дошутишься, полиглот... — сказал главный. — Захватите паспорт...»

* * *

Они ушли, прихватив пишущую машинку, и в дверь тут же заглянул чемпион. Кажется, это был единственный случай, когда я видел его в гражданских брюках. «Ни хрена себе! — сказал он. — Дела! Они у нас сидели. Тебя стерегли. Чапаевцы. В засаде... Ходят ли к нему иностранцы? Шляется ли он по кабакам?.. Ты не думай... Мы ничего. Мы так и сказали — а чего мы?.. Они и телефон подключили. Проверьте, говорят, как слышно...»

Никита набивал мою старую трубку чинариками. Пальцы его тряслись. Я разлил скотч по двухсотграммовым стаканам. По самый край. Хотели чокнуться, да куда там. Расплескаешь. Выпили. Никакого эффекта.

«Что же с Кисой?» — спросил я.

«Идем погуляем? — ангельским голосом сказал Никита. — Подышим воздухом глубоко осознанной необходимости...»

* * *

Я предложил пройти проходными дворами к цирку. В темных кривых, знакомых с детства закоулках так легко раствориться без осадка...

«Не дрони органы, — сказал Никита, — они этого не прощают. По крайней мере сейчас тебе это ни к чему. Пусть погуляют вместе с нами».

Мы молча дошли до Никитских. На пустом бульваре празднично светились фонари. Парочка широкоплечих влюбленных плелась сзади. «Не напрягай мозгу, — посоветовал Никита. — Вспомни что-нибудь из анально-орального периода... Как они Краузе схапали! Будут теперь по науке. «Способ с применением льда»! Бесплатное приложение к оргазму... В их заповедниках на севере льда до и больше... Ты где жил до Каретного?»

«На Соколе».

«А до?»

«На Zubовской, напротив сквера...»

Я вспомнил, как мы бежали с братом в Америку. На трамвае Б, на букашке. Что такое Америка, я понятия не имел. Брат утащил у деда из шкафа пачку револьверных патронов и разложил их на рельсах. Как мы тогда никого не убили! Трамвай уносил нас в Америку, в сторону Новодевичьего монастыря, когда из-под колес брызнула очередь, а из окон академии имени Фрунзе посыпались стекла... Мне было пять, брату одиннадцать. У нас были сухари и двести рублей старыми. На железнодорожной насыпи брат посадил меня в ползком в гору идущий товарняк. Мы добрались до какой-то жалкой вечерней станции. Небо над ней было так широко, так дико, не по-городскому распахнуто, что я разревелся... Заспанный, похожий на бабу, милиционер зацапал нас, как только мы заявили в зал ожидания... Дед отправил после этой истории брата в суворовское училище. Я еще года два катался на букашке...

«Тоска по утраченным фекалиям... — резюмировал Никита. — Хорошо бы зверски надраться...»

Было четыре часа утра, мы стояли у витрины кинотеатра Повторный. «Дети райка» были приклеены под стеклом. Здоровье прямо-таки перло из меня.

* * *

Я до сих пор не пойму, почему я никуда не уехал? Почему не плюнул на вызов и не смылся в Крым? Я мог бы оторваться от хвоста и уже в три дняпил бы пиво на солнечной Итальянской улице Феодосии, кося от морского воздуха... Был ли я под гипнозом? Я думаю, был. Но главное, я надеялся узнать, что с Кисой.

В девять утра я уже входил в дверь следственного корпуса лэфортовской тюрьмы. Сержант отобрал мой паспорт, позвонил по вертушке. Вторая дверь была из металла, как в бомбоубежищах.

* * *

Ветка жимолости, отведенная в сторону, уронила жалкую слезу утренней поливки, и стал виден угол щербатого корта да почерневший теннисный мяч, из-под которого лезла пожухлая трава. Море ровно окатывало слух сухими солнечными брызгами. Густо пахло подсыхающей зеленью. На перекрестке двух аллей, держа свисток, как ребенок карамельку, стояла баба Гитлер. Кто и когда окрестил ее так, неизвестно, но несла она свою сторожевую службу, отделяя заходящих любителей парковой тени от законных хозяев, солидных столичных писателей, рьяно. Баба Гитлер, глыба тяжелого мяса в цветастом халате, уже надула свои паровозные щеки, а я, выбирая просвет меж деревьями, уже приготовился к спринту, как из-за ее спины, застегивая ширинку, отмахиваясь от цепких веток, вылез долговязый Гаврильчик, официальный гений номер раз.

«Ба! — зарычал он. — Кого я вижу! Представитель оппозиции! Внутренний эмигрант! Иди, я тебя облобызаю, сукин ты сын!..»

Баба Гитлер, разбираясь в субординации, шмыгнула носом и, переваливаясь, отошла в плотную тень еще не расцветшей катальпы, где на обрубке лжекоринфской колонны стояла, золотом крашенная, лысая голова вождя — сочетание двух культов, как говорит князь: советского и фаллического.

Гаврильчик был в кожаных шортах, в кепке с километровым козырьком и босиком.

«Сразимся?» — я поднял ракетку.

«Э, нет! — он сгреб меня в охапку своими заросшими рыжими волосами щупальцами, — Мы сейчас с тобой нажремся шампуня за мир во всем мире!.. Что же ты, вражеское отродье, никогда не звонишь в Москве?»

Глухо ударил мяч, но через кипение листвы ничего не было видно. От автора «Сонаты для базуки с оркестром» несло многодневным перегаром, досада, что корт перехватили, сжимала мое все еще городское сердце, и, боком выскользнув, отметив про себя несмертельный выстрел подачи, я крикнул на ходу: «Вечером, господин поэт! Заходи вечером...»

Я несся сквозь заросли форзиции и дрока, огибая ржавый угол корта, и сердце мое кувыркалось. Где бы я ни был: у решетки зверинца на Кронверке, в Сокольническом лесу или в разобмленном Кенигсберге, звук скачущего мяча рождал во мне тахикардию.

Лопнул взрыв реактивного истребителя, полоснувшего невинное небо до белесого надреза, задрезбжали стекла, и из соседнего писательского коттеджа раздался раздраженный бас: «Ну разве здесь что-нибудь напишешь? Завещание!..» — «Внимание отдыхающих, — грохнуло с моря, — прогулочный катер Киммерия отправляется через десять минут...»

Роскошная шоколадница, подмигнув крыльями, снялась с амбарного замка, запиравшего сетчатую калитку. «Как ты туда забралась?» — крикнул я. Она наклонилась, завязывая шнурок, опрокинулись уже выгоревшие волосы, обнажив детскую шею, тугие трусики крепко врезались в плоть, а новорожденный, цыплячьего цвета мяч, только что посланный в угол и отскочивший от деревянного бортика, все еще продолжал катиться вдоль меловой линии. Распрямившись, рывком носка туфли и ракетки подняв мяч, улыбаясь, перекатывая мяч в ладони, промокая сухим ворсом пот, она сказала: «Здесь сбоку есть дыра».

Налетевший ветер обсыпал меня подсыхающим цветом акации, и, отогнув сетку, я протиснулся на корт.

У нее был правильно поставленный удар и чуть-чуть не хватало скорости. У нес была хлесткая, отлично подрезанная подача и несильный туповатый смэш. У нее была чудесная низкая посадка, и она мягко перебирала ногами перед каждым ответным ударом. У нее был короткий шрам кесарева, как я думал, сечения и маленькая грудь. Шрам в первой версии оказался ударом ножа, но позднее она созналась, что сама искромсала себя бритвой в ожидании так и не пришедшего любовника. Вместо пятнадцать-пятнадцать она говорила на детском английском teen-teen, вместо тридцать-тридцать — *trenti pari*, и вместо «игра» — «приехали». Наше первое короткое замыкание случилось душной ночью на берегу маленькой, как выдох, бухты. Закусив губу, она задумчиво раскачивалась на мне, кося полузакрытым глазом. Кончив, она вся осела и растеклась. Ее перекрученное тело сломалось по всем направлениям. «Можешь так заснуть?» — спросила она.

Нас засекали однажды ночью пограничники и вытащили из воды, где мы практиковали нечто сложное, слизываемое волной. Фары стоящего на обрыве газика слепили глаза. «Документы!» — сказал невидимый сержант, и мы, обнявшись, захохотали. Нервно зевала овчарка. «Покажи им свой документ, — шептала она, — может, требуется печать...»

Я любил рассматривать ее худую спину и растрепавшиеся прядки на длинной шее, когда днем она спала на моем чердаке — вся разлинованная полосатым солнцем, бьющим с тяжелой силой через щели камышового занавеса. Я вообще любил подсматривать за ней — как она, присев школьницей на каменистой тропе, бесшумно журчит, раздвинув мальчишеские бедра, в то время как ее рука автоматически обирает куст кизила — мы никогда не стеснялись друг друга, — как она, забывшись, пеплит сигарету в собственную кофейную чашку, как кокетничает, подергивая маленьким задом, со знаменитым режиссером у входа в деревенскую киношку или как она плоской ладошкой, придерживая левой рукой задранную до груди майку, далеко вытянув напрягшуюся ногу и подтянув к подбородку другую, медленно тешит сама себя, мутно плавая глазами по потолку, и вдруг вымученным шепотом выдавливая: «Иди сюда... скорее же...»

У нее были немного разные глаза, как и у ее матери, один зеленее, другой серее, и у нас ничего не было уже два года.

* * *

«Тима... — сказала она, — милый... как же я рада. Ты надолго?» Она крепко вжалась в меня, и мы простояли целую маленькую ретроспективную вечность, окатываемые волнами солнца, и я вдыхал знакомые запахи ее тела, легкий летний пот, нагретые волосы...

«Я слышала, у тебя были неприятности? Все кончилось?»

«Судьба вывезла», — сказал я.

В лице ее было что-то новое. Под ровным загаром бежала трещина хорошо спрятанной боли.

«Ты одна?» — спросил я.

Женщины протискиваются сквозь наждак лет головою вперед. Вечное время не выносит временной красоты. Жалкие вечерние притирания, мед и кислое козье молоко... Скрипят жернова. Мрамор оборачивается терракотой.

«Одна. Одна, к счастью. Сет?» И ободом ракетки она бесконечно знакомым движением почесала под коленкой.

Фаф! — с фетровым звуком сдвинулся широкий маятник. Ф-а-ф... В глазах рябило. На размягченном битуме зыбко дрожала пестрорядь листвы.

«Хочешь, подавай», — крикнула она, перегоняя окраиной ко мне стайку мячей.

«Играешь каждый день?» Я сделал несколько пустых замахов, разогревая плечо.

«Куда там! Ключ дают только гениям, и, пока кто-то не проделал лаз, мы только облизывались... Потом рыбаки украли сетку, и мы ждали две недели, пока пришлют из Москвы. Теперь сетку на ночь снимают, представляешь?.. Поехали?»

На мгновение ослепнув, я отправил в путешествие первый мяч.

«Сетка!» — крикнула Тоня.

Подбросил и навалился на второй и, все еще чувствуя в кисти хлесткое продолжение удара, помчался вперед, краем глаза отмечая, что мяч уже проскочил навстречу и, отметившись в правом углу, исчез.

«Ах ты, зверь! — Я подбирал мячи. — Будет тебе Ватерлоо, оно же Аустерлиц...»

Я сильно подрезал мяч, и она, присев над ним, широко расставив ноги, с вытянутой растопыренными пальцами вперед левой рукой, все же загнала его в сетку.

«Teen-teen» — улыбалась она коленками, локтями, ямочками ключиц, даже затылком, повернувшись, чтобы... — тут в калитке хрустнул ключ, и баба Гитлер, глыба скифской неприступности, потребовала: «Ваши пропуска, граждане отдыхающие...»

* * *

Сквозь Тонию, а тем более сквозь этот парк, лохмы лоха и ветви тамариска уже пробивается другая тема, знобит перо и дырявит бумагу. Рука, помнящая столько раскаленно-счастливых изгибов, отказывается тащиться за жалкой строчкой, предательская слабость свертывает кровь, и тогда я ищу на ощупь, ослепнув, не скажу от чего, в осенней моей комнате уже полупустую — куплена вчера вечером (реактивный свист мгновенных перемещений) в драгсторе на Сен-Жермен — бутылку скотча и сижу на полу у стены полчаса, час, разглядывая чешую крыши склада «Французские окорока» и промокшие контрфорсы собора. Как черна сердцевина тех прозрачных дней! Сколько яда влито в какую-нибудь обычную пятницу или соседний четверг моего прошлого...

Высокий ветер дул тогда, окна были заляпаны синевою, и загорелая рука то застегивала, то расстегивала пуговицу у самого горла. Скажи же хоть что-нибудь...

Я давно подозреваю, что скотч в Париже разбавляют. Не может быть, чтобы сорокаградусное пойло не было способно разогнать второй группы, резус отрицательный, которая не водица...

Звонит телефон, но я не отвечаю. Голубь мокнет за окном, но я не впускаю. Диктор на телеэкране стучит по стеклу с той стороны, но я не включаю и звук. Что он может сообщить? Что дождь не кончился? Что конец света не означает еще начала тьмы? «Хорошего вам конца света, дамы и господа! Прямая трансляция конца света будет передаваться по всем каналам, сразу после рекламы...»

Корректор, голубчик, выкинь эту страницу...

* * *

Затянувшееся прощание, тени прошлого, снег последней зимы, степная полынь. Все можно было бы вынести за скобки: Никиту, Осю, Кису, Роджера, тройку славных ребят из железных ворот ГПУ, даже Тоню, даже неудачную главу моего первого романа... Но я не пишу историю для читателей, проживу для критиков. Я сижу в жирной глянцево-темной парижской ночи и ковыряю струпя своей души. Гноится все последнее семилетие, заражена лимфа памяти, и на челе того ясного летнего дня проступает розовая сыпь.

* * *

Тоня жила в самом конце поселка. Раскопки профессора Померанцева (Никак-не-Померанцева — острили на пляже: профессор получил первую ученую степень еще чуть ли не при царе) начинались сразу за забором. Надтреснутый греческий пифос, подарок мэтра, зарос дикой повиликой. Дом ее матери, известной актрисы, еще более знаменитой жены — дальше уж карабкаться некуда — сверхизвестного мужа (драматург-маринист; зрителям первых рядов выдаются резиновые сапоги и лаковые плащи с капюшонами), был выстроен до войны, когда болгарская терраса или греческий портик не считались преступлением. Веранда с каменным полом, увитая с двух сторон виноградом и глицинией, хранила тугую прохладу.

Тоня поставила на стол бутылку домашнего вина, длинными ломтями нарезала овечий сыр.

«А потом купаться», — сказала она, стягивая через голову тенниску. Вынырнув из рукавов, она перехватила мой взгляд и, сникая, сказала:

«Мы же с тобою теперь как брат с сестричкой?.. Кто-то так решил, правда?»

Я кивнул. Наш инцест и без того длился пять лет.

Пришел огромный, с рваным ухом кот. Прозвенел велосипед почтальона. В лиловых подтеках глицинии добросовестно ткали и ткали воздух пчелы.

«Меня спасла чепуха, — рассказывал я. — У меня было несколько пластинок Коломейца. Того самого, который написал «Гимн цветущих континентов». Когда меня выпустили из Лефортово после трехдневных допросов, я отправился к нему, чтобы вернуть пластинки. Естественно, рассказал, что случилось. Что шмонали по одному делу, а самиздата набрали на новое. Он живет в высотке на Восстания. Открытый счет, закрытые глаза и т.д. Спросил, не били ли меня... Фамилию следователя. Когда я вернулся домой, он позвонил. Сказал, что из соседнего подъезда за мной пошел один воротник, а из телефонной будки второй. Сказал, что он читал «К небывшему», чтобы я не беспокоился, что он все устроит... И все! Оказывается, он пьет с самим... Дело закрыли, вернули практически все, кроме «Скотного двора» и перевода по сексологии. Сказали, что это порно и они обязаны уничтожить. Теперь копия гуляет по Москве с нездешней силой. Все магнитофонные пленки вернули подклеенными, все бумаги систематизированы. Письма разложены по адресатам. Никиту тоже таскали, и он им сказал, что на хрена деньгами разбрасываться, платить здоровенным лбам за слезку, тратить деньги

на прослушивание, платить целому отделу за жанровое и лингвистическое исследование печатного материала...? «Гоните мне эти бабки, — заявил он следователю, — и я вам два раза в месяц сам буду сообщать, антисоветчик ли я и если да, то почему...» С ним тоже все утряслось. Но что я Коломейцу? Мы познакомились, когда он срочно разыскивал довольно-таки редкий диск Кёрка. Кто-то ему сказал, что я задвинут на этом деле. Я дал ему переписать, и он напрочь запил пластинку. Сказал, что привезет из-за бугра... С тех пор от него не было ни слуху...»

«Поцелуй меня, — сказала она, — как брат сестрицу. Один раз...»

* * *

«А Киса?» — спросила она через маленькую тягучую вечность.

«Киса их всех уделал. Они раскидывали чернуху, что он увяз. На самом деле он смылся в Турцию. Я уверен, что он был бухой. Самолет вернули, но еще двое решили остаться и поглазеть на минареты. Дальше хуже. Турки обычно выдают нашего брата обратно. Там, видимо, разыгрался классический детектив: Киса давно не бегал стометровок и до американского посольства ему пришлось попотеть. Представить себе все это трудно, даже в сбивчивом пересказе самого беглеца по Свободе».

* * *

«Группен-секса не будет, — объявила стервозного вида девица. — Кто-то подхватил трихамон...»

Мы отправились на дачу к Хмырю в поисках потерянного времени — Тоня оставила часы на пляже возле лежбища сезонных хиппарей. Жара густела. Размыло горизонт, и запотели горы. Суп из медуз тянулся вдоль береговой полосы. Гаврильчик, пробовавший на мне свои смелые тропы, обозвал их, пересекая наш путь, презервативами. Дельфины играли в салки. На набережной испортился винный автомат, что-то заклинило в нем, и белое вино било хилым фонтаном. Народ сбегался из соседней гостиницы с графинами, мисками, бидонами. Алкаш в тельняшке подставлял под струю свой смоленый кепарь. Пили пригоршнями. В пьяной очереди начали возникать первичные Советы. «Больше литра не отпускать, а то скоро кончится», — орали сзади. Передние же, изрядно уже дурные, как младенцев, прижимали к груди банки. Дармовой фонтан бил, как оказалось, уже минут двадцать. Половина поселка впала в свирепое дионисийство.

Возле Дома поэта мы набрели на человека, держащего на лысой голове в виде компресса лиловую медузу. Он стоял, задрал голову, слушая детский лепет рояля.

* * *

Про группен-секс объявила Скорая Помощь. Хмырь уверял, что с ней только ленивый не пробовал. У нее было что-то вроде пригготовительного класса, сексуальных яслей; она выпускала в мир всхолмий и вздрагиваний юнца за юнцом. «Моих мальчиков не собьешь с толку, — заявляла она, — они твердо знают, что женский оргазм существует...»

Это был единственный в своем роде дом, караван-сарай, гараж, ангар, черт его знает что... Хмырь, нежнейших свойств душа-парень, унаследовал его от отца — генерала парашютно-одуванчиковых войск. В свободное от морских омовений время он предавался дилетантским опытам с местной коноплей и выжимками маков. Среди обитателей дачи был лобастый физик, нырнувший в буддизм: он плел сандалии, бубнил мантрамы и путешествовал в астрале. Был там отказник Гера, состоявший в односторонней переписке с ГБ и собиравшийся, вот уже третий год, дать деру через море на надувной лодке. Был там и знаменитый бард, существо желчное, талантливое, прожорливое. Была поклонница знаменитого барда, состоящая

из глаз и ног. Были безымянные, часто меняющиеся мальчишки-девочки, отловленные у автобусной остановки на предмет пополнения дырявого бюджета коммуны. И конечно же, Скорая Помощь, вечно держащая палец на чьем-нибудь курке. Здесь не здоровались, здесь от калитки спрашивали: даешь трешник? А уж потом сообщали, что Нина забрюхатела или Саша отравился техническим спиртом. Местная милиция регулярно водила своих инвалидов на облаву — хиппы жили без прописки, — но Хмырь завел злощущую микроскопическую шавку, которая поднимала хиппеж от любого звука, кроме треска расстегиваемой молнии. Так что под залиvistый лай вся команда отступала в гору, а оттуда, по узкой тропе, спускалась в соседнюю бухточку.

Хмырь жил на чердаке. Окно было занавешено мокрым полотенцем. Добродушного вида толстяк, стриженный под городского, лежал на голых досках пола. У стены, скрестив ноги по-турецки, сидела — я где-то ее видел — Ольга? Нина? — Лидия.., — сказала она, протягивая руку. Толстяк, продолжая лежать, шелкнул каблуками парусиновых туфель и неожиданно высоким голосом отрекомендовался: «Суматохин. Евгений Дромадерович...» И, всхлипывая, захохотал.

* * *

Так начался самый длинный день моей жизни. Правильнее всего было бы и повествование начать именно с этой минуты. Словно мягко щелкнул невидимый хронометр, «Не пойти ли нам в бухты?» — перестав хохотать, произнес Суматохин, Тоня отвела в сторону полотенце, и море, неотличимое от неба, залепило взор... Хмырь пустил по кругу жирную самокрутку, и жизнь моя мягко отчалила от своей половины. Заметил я это уже зимой, где-то на Фонтанке, глядя на вмерзший в лед канала хлам: проволоку, ящики, сапог. Дул промозглый ветер с Финского залива. У продавца пирожков все деньги сдуло под мост. Толпа висела на перилах, на решетке набережной. Продавец в грязном халате и ватнике осторожно ползал по льду, собирая трешники и пятерки. Но ветер, как назло, гнал к полынье стайку розовых десятирублевков, и кто-то уже тащил занозистую доску, и сквозь толпу, жуя свисток, пробирался цельный, из одного куска сделанный, милиционер.

Я стоял, стиснутый толпой, и задыхался. Я только что пересек финишную черту, луч зимнего солнца багрянил угловое окно, хронометр наконец перестал свиристеть. Это был счастливый марафон. Старт же состоялся на чердаке Хмыря: не то чтобы не по моей воле, а неизвестно для меня. Просто подсыхало полотенце, хотелось есть, Лидия затягивалась, закрыв глаза, и лисья мордочка хозяина светилась.

* * *

Берег был пуст. Тяжелое солнце придавило поселок. Куры, собаки, кошки валялись в жалкой рябой тени. Окна были глухо задраены. На продуктовой палатке мелом было выведено: ВОДЫ НЕТ. Но над Святой горой уже появилось первое сгущение — уже не облако, еще не туча.

«В воздух, — сказал из-под рваной соломенной шляпы Хмырь, — можно ввинчивать лампочки. Они будут гореть...»

Тоня положила руку на мое плечо и тут же отдернула. «Дурак, сгоришь...»

«Вы откуда?» — спросил я Лидию; у нее был странный акцент.

«Из Тарту», — улыбнулась она...

«Ха-ха», — сказал Хмырь.

«Честно говоря, я француженка. Русская француженка, но Женя просил говорить, что я из Эстонии. У вас тут ведь все засекречено...»

* * *

Восточный Крым был запретной зоной. В складках гор ждали своего часа ракеты. Тетка уверяла, что от их общего старта полуостров обломится в самом узком месте и наконец-то станет островом. «Какое гадкое столетье, — морщилась она, — к-а-а-ак мне все это надоело!

Бездарность... Единственное, что еще меня удерживает здесь, так это любопытство. Хочется посмотреть, чем все это кончится...»

Для иностранцев была Ялта, потемкинские деревни Интуриста, идеологически устойчивые олеандры, в профсоюзе состоящая бугенвиллея. Для них был свой, бетонной стеною от аборигенов огороженный, пляж, своя еда, свои профильтрованные вечеринки. Любая машина с иностранными или интуристскими номерами, вильнувшая от Симферополя влево, была обречена. Но слава нашего крошечного поселка была всемирной. Кое-кто из бывших колонистов жил теперь в Нью-Йорке, Париже, Мюнхене. И хотя министерство финансов приветствовало ностальгические набеги иноземцев на наманикюренный Север или разрешенный Юг, заглянуть туда, где Мандельштам пас цикад или Цветаева вышивала Волошину плащ розенкрейцера, ни у кого не было шанса. Иностранец виден в советской толпе, как пуговица от пальто, пришитая на рубаху. Кассирша не продаст ему билет на автобус, таксист не повезет и за миллион. Да и сам народец выявит инородное тело с талантом закоренелого самодоносчика. «Органы переводят массы на самообслуживание», — заявил мне один торжественный мерзавец.

Лидия, как я узнал позже, переодетая Суматохиным во что попроще, села в автобус с десятикилограммовой авоськой картошки. Суматохин, подыгрывавший ей, начал длиннющий монолог о своей любви к Прибалтике. Двое перегретых портвейном пролов поинтересовались, почему у такого большого дяди такой тоненький голос. Суматохин вмиг стащил одного из них с сиденья и, слегка придушив, объяснил: «О физических недостатках в приличном обществе говорить не принято. Тебя мама этому не учила, паразит? Еще раз пасть откроешь, я тебе ноги из жопы выдерну... Понял?»

Бруно Понтекорво, единственный иностранец, свободно приезжавший в поселок, был итальянским физиком-перебежчиком. Ему было сильно за пятьдесят, но его крутой удар слева доставил мне в свое время массу хлопот.

* * *

Четырехсотметровая базальтовая стенка давала узкую жалкую тень. Мы были одни, народ слинял. Кристально чистая вода лежала неподвижно. Черный мех одевал подводные камни. Тоня схватила меня за руку, потащила в воду. Мы ныряли, кувыркались, возились, как дети. Солнечный свет дрожал на подводном небе; морской кот прошмыгнул маслянистой тенью. Задыхаясь, мы выбрались на плоский горячий камень. Берег был метрах в пятнадцати. Хмырь и Суматохин узкой тропой сквозь заросли шиповника продирались к горному ручью. Лидия ровно плыла к рыбачьим сетям. Я закрыл глаза. Тоня уткнулась мне в подмышку мокрым носом. Мы все еще тяжело дышали, как после любви.

«Ты тоже хочешь?» — спросила она.

Ее рука скользнула вниз. Я лежал под тяжело льющимся солнцем. В мире было тихо.

«Я тебя всего знаю, — сказала она, — по миллиметрам. Я всегда знаю, когда ты хочешь. Даже если не гляжу на тебя».

«Я тоже». — «Я рада, что ты приехал. Ты все такой же, знаешь? Ты не меняешься».

Ее губы пожевали мочку моего уха, исчезли, сухо провели по моим губам. «Я вся теку, — сказала она, — пойдем куда-нибудь...»

Хриплый рокот мотора ворвался в бухту. Крутая волна окатила нас. Я с трудом разлепил веки — катер с тремя антрацитно-черными мерзавцами круто заворачивал в сторону Лидии, налетела вторая волна, мы свалились в воду, но Лидия уже повернула назад. Обугленные монстры, свешиваясь за борт, отпускали дежурные шутки, дыбился катер, и на берегу что-то кричали, разинув рты, Суматохин и Хмырь, и край великолепно-уродливой тучи наконец наехал на солнце.

* * *

Тоня разложила на полотенце хлеб, зеленый лук, редиску, сыр. Стаканов не было, и бутылка охлажденного в ручье белого ходила по кругу. У тебя лопнул сосуд и порозовел чудесно-серый глаз. Тоня скоро заснула, а мы потащили Суматохина в воду. Оказывается, он не умел плавать. Втроем мы пытались столкнуть его в воду, но он отрясал нас, как дуб листву, как медведь шавок. Быстро темнело, и на западе уже шуршала фольгой сухая гроза. Наконец наша возня разрешилась радостным падением, и в последовавшем разделении одного спрута на четверых индивидуумов нас впервые свело случайной судорогой вместе. Падая с тобою на глубину, поневоле обнимая тебя, а потом отталкивая, я заглянул совсем близко в твое лицо.

Суматохин, охая, на четвереньках выбирался на берег. Хмырь нырнул и исчез. Ты выходила из воды, отжимая волосы одной рукой, и улыбалась странной, совсем не русской улыбкой.

* * *

Я знаю, что рано или поздно ты это прочтешь. Не закипай. Всего легче сказать, что я пытаюсь взять запоздалый реванш. Тебя тошнит от придуманного имени? Тебе не понятно, зачем я перевираю детали? О моя радость, подожди! Я примешал к тебе столько других и случайных, затащил тебя в такую бездну совсем не твоих приключений, что тебе разумнее всего было бы смириться. Я скажу почему: в чистом виде я тебя бы не вынес. Прямой пересказ нашей с тобою короткой жизни звучал бы как неопытная ложь. Мы нарушили с тобою все, что можно было нарушить. Я лишь следую традиции.

Я знаю, ты предпочла бы, чтобы я писал о чем-нибудь другом. Как-то, под вечер наших отношений, ты сказала, что у тебя большое русское сердце. «Большое и пустое», — добавила ты.

Я собирался написать роман страниц эдак в триста. Два действующих лица: девять грамм плюмбума и довольно-таки энергичный мускул, с небольшими ревматическими отклонениями. В отличие от того, что пишу сейчас, — полное единство действия, времени и места. В лучшем аристотелевском смысле. Время действия — одна секунда. Место действия — те несколько нежнейших сантиметров, отделяющих вплотную к твоей груди приставленный ствол последние годы безработного браунинга и середину густой кровью омываемого одного из желудочков. Я был намерен описать первую встречу ничего не подозревающей эпидермы с тупой яростью в девках засидевшейся пули. Слои за слоями, имею в виду твою, набитую муками радости и радостью муки, плоть, главу за главой. Не забывая ни красных кровяных, ни скачка давления. Клетка ребер? Тех, что напрягались под моею рукой? И она бы имела место в нескольких, жестоко говоря, осколочных главах... Меня не очень интересовали бы остальные функции твоего организма. Мне кажется, я сумел бы сосредоточиться на этом небольшом, немного раздавленном от вспыхнувшего адреналина, ударе сердца. Судьба пули — я имею в виду, дальнейшая ее судьба: путь через розовыми пузырями пенящееся легкое, удар в каминное зеркало, его, как всегда, преувеличенные трещины и неизбежное в конце жизненной траектории сплющивание — меня интересует и того меньше. Это для соседнего департамента, где господин Холмс пьет чай с Федором Михайловичем и в печке бутафорски потрескивает полено. О, ты знаешь, я написал

бы это. Для забавы. Для чудаков, любящих не жизнь, а дробь и скобки, логарифмы будней, квадратные корни из.. Так сказать, пересчет на миллионы — листьев в осеннем лесу. Но я не стану. Мне нужна живая ты. С твоим засушливым лицом. С твоей легко набухающей раной. Рана лона. О боже! С твоей убийственной добротой и щедрейшей жестокостью. Ты нужна мне лишь для одного — я хочу наконец избавиться от тебя.

* * *

Несколько больших капель растерянно упали с потемневшего неба, а потом, без извинения, без обычной паузы, напичканной истеричным перегретым воздухом, не дождь, не гроза, а стена воды обрушилась на бухту. Все промокло вмиг: одежда, остатки еды, волосы. Камни промокли. Море. Лишь Хмырь, нырнув под навес скал, пытался спасти остатки травы. Море кипело и пенилось от белых теплых струй. Суматохин, растянувшись на гальке, углубился в чтение обрывка газеты. Но сверху, подмытый водою, сорвался камень, остро взвизгнул, отскакивая, другой, и мы, наскоро прихватив утопшие вещи, по колено в хлещущей воде, дали деру. Уже через сто метров дорогу окончательно размыло, ноги скользили в глине, Тоня упала, помогая ей подняться, и я распластался в жирной грязи, и, помогая себе руками, неуклюже переваливаясь, мы оставили верхнюю тропу и опять спустились к морю.

Десятиминутная дорога растянулась на полчаса, и, когда на подъеме в поселок нас встретили целые потоки хлещущей сверху рыжей, пятнистой от садового мусора воды, Суматохин лег в лужу и предложил возвращаться вплавать.

Мы хохотали, мы были перемазаны с головы до ног, мы что-то пели, если ты помнишь... Около почты мы расстались, договорившись встретиться через час в придорожном ресторане. Гроза ушла, но поселок был затоплен, ты завернулась в мокрое полотенце. Ты смеялась меньше других. В тебе была опасная тяжесть. Ты знала это. Тебе некуда было деваться от твоего собственного тела. Как я ненавидел Суматохина, этого толстого клоуна, уводившего тебя прочь. Курица, сдавшись на волю судьбе, плыла с потрясенным видом в водосточной канаве. Припекало. Тоня дрожала.

* * *

Мы отмывались холодной водой из шланга в саду, искали в кладовке резиновые сапоги, переодевались в сухое. В ресторане было пусто. Я спросил бутылку водки, заказал солянку на всех. Суматохин и Лидия приехали на местном дерьмовозе.

«Старики, — вопил он от дверей, — мы еле переправились, у аптеки такая лужа, что мотор заливают...»

Был наш шумный шут в отличном дорожном костюме, и, глядя на него, я подумал, что такого человека нельзя похитить, а можно лишь угнать.

Твои волосы подсыхали. Этот русый переливчатый цвет до сих пор заставляет меня вздрагивать где-нибудь в вагоне метро, мчащемся по десятому, вполне комфортабельному, кругу.

Мы просидели до вечера. Вода за окнами спала. Суматохин заказывал и заказывал выпивку, осетрину, икру. Мы курили твой житан, а потом на пачке ты написала свой адрес. Вы укатили, как только стемнело. Хмырь свалил спать.

«Она тебе понравилась? — спросила Тоня. — Не дай Бог, их засекут на обратном пути. Было бы совсем глупо...»

Оркестрик играл нечто тангообразное: «В далекой Аргентине, где снега нет в помине, где кактусы небритые цветут...» Певец, повар с кухни, явно что-то переврал. На выходе случилась глупая драка. Двое местных юношей, на девяносто процентов размытых южной ночью, явно принимая меня за кого-то другого, дыша портвешом, попытались учинить акт агрессии. Не было времени ни позвонить в ООН, ни протрезветь. Я отнекивался, пытался объяснить, что я

это не я, но в итоге, когда один стал заходить сбоку, а второй вошел в транс общеизвестных в таких случаях выражений, я ткнул в абсолютную тьму, к удивлению своему попал и, повернувшись ко второму, увидел при вспышке фар отвратительно узкую заточенную отвертку. Я попытался было перехватить руку неизвестного мне гуманоида, но в это время исчезнувшая было Тоня нанесла точный и справедливый, как я до сих пор считаю, удар бутылкой по кумполу идиота.

Мы заструились прочь, тяжело дыша и оскальзываясь.

«Где ты взяла бутылку?» — спросил я ее.

«Здрасьте! — сказала она. — Мы же решили допить у тебя...»

* * *

Я проснулся рано, свистнул Чомба, калитка распухла от вчерашнего ливня, он примчался с пустыря, я открыл ее с трудом. Берег моря, пляж, крыша пивного ларька, навесы — все было покрыто сплошной массой вздрагивающих, ползающих, параличных бабочек. Волны раскачивали труху бесчисленных крыльев.

«Они прилетают из северной Африки, — объясняла мне тетка за завтраком, — и, едва завидев берег, рушатся вниз. Половина гибнет по глупости в береговой волне. Изволили назююкаться вчера?»

Тонины ноги спускались по лестнице. Обросший рыжей грязью кофейник стоял на домашней выпечки томике «Дзена» профессора Судзуки.

* * *

Поселок был не крупнее соринки, попавшей в глаз. Три знаменитых горы закрывали его от западных ветров, а эсминец восточного мыса, эсминец устаревшей марки, гасил дыхание суховея. Ветры дули циклами, три, шесть, девять. Через холмы и степи дышала Россия. Оттуда шел холод. Дождевые тучи застревают на Святой горе, клочьями их сносило в долины. Выматывающий душу восточный ветер ссорил любовников, гнал по улицам детский плач.

«В средние века, — работая маникюрной пилкой, рассказывал князь, — когда задувал восточный, преступления не засчитывались».

Низовка — называли рыбаки этот ветер и пошире расставляли ноги. Их совхозик, шесть-семь баркасов, лепился на краю невзрачной замусоренной бухты. «Волна Революции», — было написано на спине сарая. — Совхоз № I». Кольчючка ржавела кольцами. Обожравшийся кот лениво играл с рыбешкой.

Холмы, поросшие полынью и чабрецом, обслуживали тылы, и меж них лежала раз и навсегда убитая степь. Пересохшая до звона, в татарском узоре глубоких трещин, она играла в войну, расставив в кривом порядке низкорослую казарму со сторожевой вышкой, с десятков плоских мишеней в полный рост да фанерный, со свастикой на лбу, танк. Овцы, подгоняемые огромной овчаркой, переходили вертолетную площадку. Вместо бубенцов на шеях болтались банки из-под сгущенки с гайкой ботала внутри.

Тарантулы жили в круглых дырах, и в дождливую погоду, присев на корточки, можно было рассмотреть брюхо мамыши, собою запиравшей вход. Немая соседская старуха, с пергаментным как степь растрескавшимся лицом, прутиком выковыривала паучих из гнезд и топила в склянке с постным маслом. Противоядие это показал мне ее внук, фотограф с набережной; хранилось оно за темной иконой Николая Угодника... Несколько лет назад, пробираясь под теплым ливнем домой, сняв сандалии и закатав штаны, я почти вступил в густое войско сколопендр, римской когортой покидавшее затопленные места. По кривым горбатым улочкам поселка носились ни на что не похожие собаки. Аборигены прозвали их «трамвайчиками» — за непомерную длину и низкую посадку. Бешенство со скоростью километр в год двигалось с Керченского полуострова

в шурах издерганных травлей лис. Филлоксера кралась под землей, сжирая корни винограда. Саранчой налетали на поселок пошлейшие обожатели рассекреченной литературной колонии. С конца мая по сентябрь все вокруг тонуло в густом сиропе восторженного хамства. Цены на жалкие скрипучие койки взлетали. В хрупких курятниках день и ночь шла — выражение того же князя — «возня со стоном». За статуей пионерки с обломанными по локоть руками мутноглазый детина пытался запихнуть в штаны все еще дымящееся, оружие; из-под куста барбариса торчали разведенные обессиленные ноги. Жаркими вечерами парочки, прихватив одеяла, отправлялись в холмы. Млечный путь скрипел об антенны.

* * *

Тетка моя жила в двухэтажном, терпимо запущенном, со всех сторон продуваемом доме. Легенда гласила, что однажды на уже готовый фундамент привезли и поставили концертный стейнвей и только тогда начали возводить стены. Я числился здесь последние годы на должности поэта-кухарки. С утра кропал свой акростих, в обед охотился за продуктами, выстаивая в потных очередях одинаково скомканные маленькие вечности, гонял в теннис до шести и мчался готовить ужин двенадцатиголовому дракону веранды. В восемь я стучал поварешкой в таз, сзывая за стол внушек и бабушек, питерских знатоков сюрреализма и московских собирателей похабных лимериксов. Язык веранды с трудом переводится с русского на русский.

Комната моя выходила окнами на верхушки трех пирамидальных тополей, оккупированных скворцами-пересмешниками. Они мяукали в ветвях, сводя с ума кошек, они лаяли, они, к моему потрясению, изображали стук пишущей машинки и лязг даже колодезной цепи. Князь Б., деливший со мною чердак, ходил надутый — комната его выходила окнами на сортир.

У князя, милейшего чудака лет двадцати семи, подгуляла какая-то хромосома, и он застрял на полпути между мужчиной и женщиной. Так по крайней мере думала веранда. Некоторые все же решались на провокации. Так, отставная балеринка явилась к нему во время сиесты и, задрвав юбку, сказал: «Я хочу, чтобы ты внимательно рассмотрел это...» Князь бежал. Тетка моя, Наталья Кирилловна, смеясь, журила его: «Голубчик, но она же просто прелесть! Какие плечи, какая грудь...» — «Ах, оставьте, — корчился князь, — эти отвратительные припухлости...» Князь делал маски для лица, депилятором сводил волосы с ног, дышал через одну ноздрю, читал по линиям руки, голодал два раза в неделю, пил носом морскую воду и, когда весь дом уже засыпал, регулярно отправлялся «прогулять кишку». Злые языки шептали, что князь стучит, что его ночные прогулки не что иное, как рапорт капитану Загорулько, что поселок собираются закрыть, а пока изучают степень растленности колонистов.

Во всем этом была доля правды; время от времени, волоча за собою провода, как-то не так всходило солнце; горный обвал, весь в сухих гейзерах песка, обрушивался на нижнюю дорогу, но звук непростительно опаздывал и был весь какой-то затертый. Износившийся, под гальку сделанный ковер пляжа, заворачивался, и тогда становились видны ребра ржавых подпорок да фаянсовый скат моря, но мы все еще были способны ничего не замечать и лишь иногда раздражала кукольность статистов на ночной танцплощадке или явная халтура не той стороной запущенной Луны.

Сам князь однако был чист как слеза и не с какими органами, кроме собственных, не связан. Помню его меланхолический, к истине близкий вопрос за вечерним чаем: «А что, если все придумано КГБ?»

«То есть как это всё?» — удивилась тетка.

«Ну так, всё: этот поселок, эту страну, этот вид неба... Быть может ГБ придумало вообще всю историю, Азириса, Пилата, крестовые походы, крестики-нолики, французскую революцию... Мы же ничего не можем проверить. Вдруг вместо других стран по контурной карте СССР вниз идут обрывы и все опутано проволокой? Вдруг мир действительно держится на партийной черепахе и полицейских слонах? И лаборатория в Кинешме сочиняет музыку

некоего Моцарта, а Казань отвечает за гнилой рок-н-ролл? Вдруг мир — гениально дешевая подделка для ссыльных вроде нас?»

«Я вам говорила, что нельзя валяться на солнце по восемь часов». Тетка пошла за аспирином.

В глубине комнат сквозь ровное глушение потрескивало радио, в саду шел спор по-французски, старина Вилли, которому на войне отстрелило зад, вылавливал из трехлитровой банки вина жирную ванессу, Антарес мигал в черных ветвях ночных яблонь, и кто-то пробовал одним пальцем выбить мелодию душещипательного романса на теткинском стейнвее.

* * *

Одни и те же люди приезжали сюда в одно и то же время каждый год. Тетка, несмотря на свои семьдесят пять лет, жила и зимой. Я провел в ее доме одну ледяную зиму и преклоняюсь перед ее мужеством. Ветер выдувал тепло жалкой печки уже через час после топки. На крышу наваливали огромные камни, но все равно у соседей сорвало кровлю до самых стропил. Под Новый год перевал занесло снегом, и такси с друзьями, выехавшими из Фео, вернулось, так до нас и не добравшись. Собаки жили в доме. Коты — в собачьей будке. Мыши бегали по роялю. Зимняя жизнь шла в луче. Лучом был жар спирального обогревателя. Проснувшись где-нибудь посередине января, нужно было первым делом включить луч, а уж потом собираться с силами, дабы в отчаянном прыжке покинуть постель, заваленную по крайней мере шестью ватными одеялами.

Зато как прекрасен был безлюдный дикий поселок! Мы ходили смотреть свирепый ночной шторм. Огни на набережной наконец-то были отключены, и подол неба прогибался от веса звезд. «Хокусай», — констатировала тетка, и мы удирали по узкому пирсу от глянцево-черной гривастой волны. Охала, падая, злая вода, гремела галька, шипела пена. Жизнь была бедна: посередине пустого прилавка лежали бычьи семенники, но, когда везло, можно было купить у хромого рыбака камбалу или десяток окуней.

Полнолуние было последней новостью, а не арест неудачника-самосожженца в столице.

Дневные прогулки в горах промывали душу: собаки, подняв зайца, неслись, заливаясь лаем, по пересохшему руслу ручья и замирали на самом краю обрыва. Море лежало далеко внизу сморщенной кожей, дряблым мускулом, а ветер гнул султаны ковыля, да трубил в ущелье от стада отбившийся бык. В безветренные дни, завернувшись в ватный узбекский халат, я читал, лёжа в саду, на хромом шезлонге. Тетка бежала с севера, спасая не только горделивое чудачество. «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря, писал ее любимец.» Она вывезла из Питера редчайшую по советским временам библиотеку. Здесь было поколение погубленных, серебряный век дореволюционной литературы, упраздненные мистики, запрещенные философы, историки без марксистской подкладки, расстрелянные поэты. Книги прятались в самой дальней, самой темной кладовке и, в зависимости от количества тревоги, разлитой в воздухе, выдавались на руки под речитатив предупреждений и заклятий. Добрая треть книг была надписана авторами.

Италия и Петербург были ее детством. Ссылка вместе с отцом в Среднюю Азию съела юность. В крымском самоизгнании, живя между сбором коровьих лепешек для удобрения сада и Равелем, она, Плиний в юбке, обобщала советский опыт в язвительных афоризмах.

«Голубчик мой, — говаривала она, — в этой стране одеться хорошо можно плохо, зато одеться плохо можно очень хорошо...»

Заметив однажды мое пузырящееся бешенство в очереди за колбасой, она посоветовала: «Не наживайте себе язву, очередь давно пора научиться воспринимать как явление природы: как ливень, град или шторм. Стойте и переждите».

Я любил ее дом, я любил бедный этот поселок — дикий мед ушедших столетий все еще смазывал его растрескавшуюся землю. Я написал здесь все самое лучшее. Цикл стихов «К

небывшему», «В очереди за смертью», почти все рассказы, начало «Станции Кноль». Тетка была строга и судил меня без поблажек. Наш бронзовый век давался ей с трудом. «А уж каменный и подавно!» — охая, отмахивалась она, когда я цитировал кого-нибудь из юных стихоложцев...

Несмотря на неумное чувство юмора, она была странным образом ревнива. Заметив, что я украдкой провел к себе наверх какую-нибудь застенчивую распутницу, она умолкала на полдня. Вместо ежедневного Моцарта она играла тогда что-нибудь ломаное современное, и лишь вечером за компромиссным чаем, в который я изрядно подливал дрянного местного коньяка, мягчала, напоследок выпуская когти.

«Коитус, снeг аті, минутное дело, но многие не умеют».

Говоря по правде, она спасла меня. Задержанный, перекошенный, с затравленным взглядом, я появился как-то ранней весной на ее террасе. Цвел растопыренный безлистный миндаль. В Москве на солнце все еще горел черный снег. Здесь же воздух медленно сверлила пчела, в непривычной тишине звук отъезжающего такси был слышен до самого дальнего поворота. Три года армии загнали меня в угол. Мир раскрылся, и во всем я видел лишь арматуру, цементные обвалы, бетонные осыпи. Как в детстве, после болезни, я должен был снова учиться ходить. Но я предпочитал лежать на чердаке и пить. Тетка не судила меня. Она появлялась с самодельной закуской, с веткой полыни, опускала ее в бутылку, водка заметно зеленела, пила со мною, шутила, вспоминала. Это было что-то археологически древнее: поездки с ухажером на Острова, картежные проигрыши, многочисленные рассказы про отца, который — вот обломок уцелевшей мозаики — при приступе зубной боли брал револьвер и шел стреляться во флигель... Была она внимательна, весела, мягка, и лишь гораздо позже я понял, что стояло за этой внимательностью и мягкостью. Она неназойливо расспрашивала меня, и незаметно, лежа на сеннике, кроша черный хлеб и хлебная водку, я выговорил ей все эти тридцать шесть месяцев, всю муть подземных войск, перегретый пластик пустых коридоров, белый лавсан защитных костюмов, липкие намордники и возню индикаторов радиации. Я выговорил наконец весь этот бесконечный снег наверху, вышки, проволоку, проволоку, зону...

* * *

Мы жили по системе четыре плюс четыре плюс четыре. Четыре часа на посту, четыре в боевой группе, четыре сна. Через несколько месяцев вся жизнь превращалась в размазну. Через полгода мы все тихо задвинулись. Наверху пылила звездами зима или стояло лето, но это было как в кино. Поднимаясь наверх, мы загибались от кессонной болезни, от тяжести внешнего, такого с виду нормального, мира и от распирающего изнутри сюрреализма подземелья. Мы уже были кротами. Вооруженными, дрессированными, сачковать научившимися кротами.

Мы дошли от скуки. Хотя что-то все же происходило. Сулейманов спал на седьмом, когда взрывом разнесло стену, пробив защиты, разорвало противогаз: гроб, выставленный в гарнизонном клубе, был закрыт. Генкин клянчил у работяг технический спирт. Какой-то сучий прол притаранил ему целую флягу. Генкин, бывший парикмахер с Таганки, чудила грешный, не проверив пойло на радиацию, даванул стакан за мир во всем мире. Спирт звенел на всю катушку. Это Генкин просек на выходе, в санпропускнике, стоя у аппарата радиационного контроля, — звонок предупреждения гремел, окошко с надписью «туловище» не гасло, и мыть спецпастой брюхо было ни к чему:

Генкина даже не судили, он уже испекся. Работяга, которого он прошел из автомата, родственников вне зоны не имел, и его похоронили на новеньком местном кладбище. Олежек, с которым я не разлучался с призывного пункта на Красной Пресне, белобрысый, ноющий на верхней койке ночами: «ба-а-абу хочу...», Олежек отправился в вечную самоволку, вышел в астрал и хлопнул дверью за три месяца до дембеля. Я был готов убить его за это, но он и без

этого был основательно мертв: я несся по деревянной тропе наряда между двумя коридорами колючки, с вышек зырили очумевшие салаги — он лежал на повороте шестнадцатого поста, лицом вниз. Крови не было. Какая к дьяволу кровь, когда мороз заворачивал за тридцать семь! Тулуп, овчинный полушубок — хрен перевернешь такую тушу, — ватный бушлат, гимнастерка, свитер... Только тогда рука моя влипла в горячее.

Капитан Жура, пропойца, не стеснявшийся одалживать деньги у солдат, в ту ночь, в то четыре плюс четыре плюс четыре, сам припер нам выпивки; заложил его кто тогда, кончилась бы его двадцатилетняя чин чинарем служба... Мы сидели в сушилке, все свободные от смены, никто не спал, пульт был заброшен к черту, ружпарк не заперт. «Сучья жизнь!, — всхлипывал капитан, — блядская сучья идиотская жизнь!» — и размазывал по фиолетовым щекам слезы.

Волосы выпадали. Мать показала мне позже, дома, мои письма — они были засыпаны ресницами. Мелкие царапины не заживали неделями. Мы таскали в нагрудном кармане индивидуальные кассеты контроля. Но, поговаривали, что допустимую норму негласно занизили: старая система защиты теряла эффективность. Мы же «отдавали долг рождения в великой стране».

Радиация усиливала чувство голода. В тайге ранним летом, на стрельбище, еще салагой, я собрал полную пилотку крупной земляники. В противогазной сумке всегда была припасена горбушка черного. Предвкушая пир, я уже собрался было затыриться за барак стрельбища, как вдруг отлично начищенный хромовый сапог вышиб у меня пилотку из рук — взводный, весело оскалась, стоял за спиной. Не объясняя, он кликнул дозиметриста и ушел. Дозик, вытаскивая жезл счетчика, спросил: «Жрал?» — «Не успел», — сознался я. «Повезло...» — сказал дозик. Земляника звенела. Звенел и березовый сок, который мы, штык-ножом сделав надрез по стволу, нацеживали в пустую патронную банку. Звенел и заяц, убитый в предзоннике под Новый Год; звенели грибы, малина...

Через год, сачкуя в гарнизонном клубе на липовой должности фотографа, я должен был ехать как-то рано утром с офицерами на охоту. Они пили всю ночь, резались в карты на полковом барабане, смолили едкие местные папиросы... Утро было туманное, водяная муть висела в воздухе. Мы выехали из зоны и по лесной дороге часа два добирались до дальнего озера. Называлось оно ни мало ни много Лунным, и вряд ли я когда-нибудь забуду его гнилые берега. Офицеры выпрыгивали из кузова, кто с АКМом, кто с тулкой... Грязно-розовый свет с трудом просачивался сквозь лапы елей. Слабый ветер сносил рассветный туман. Капитан Жура щелкал затвором, и вдруг все замерло: в сыром прибрежном песке копошились бесперые слепые твари — переваливающиеся, тыкающиеся в сапоги утки. Офицеры трезвели на глазах. Я стоял с расчехленной камерой. «Твою мать!» — не выдержал капитан и с остервенением выпустил целый пулеметный диск по прибрежным кочкам Лунного озера...

* * *

Перед самым дембелем, я был уже старшим сержантом, мы накурились плана, который моему капралу Габидулину чувиха исправно присылала в письмах, и, прихватив салагу Коломейца, втроем отправились вниз с целью достигнуть дна преисподней — минус двадцать пятого яруса. Изрядно забуревшие, дозаправившиеся техническим спиртом, мы увели со склада электрокар и покатали по бесконечному низкому коридору. Двойные лампы мигали зеленым до самого последнего поворота, но за ним красным вспыхнула финишная прямая бетонного лимба, электрокар чуть не перевернулся на вираже, Габидулин врезал себе по яйцам прикладом — все мы носили, спускаясь ниже третьего яруса, свинцовые намудники — мое переговорное устройство не работало, и, вмиг взмокнув, мы стали улепетывать, бултыхаясь внутри тяжелых костюмов защиты; нас провожали поворачивающиеся телекамеры, и наконец какая-то дверь лопнула, и нас втащило в грузовой лифт.

Дозик даже не взял наши кассеты, всем было ясно, что мы хватанули прилично. Но пьяного дурака судьба вывозит, анализы крови были нормальными. В то время мы еще не знали, что при взрыве на подстанции в Югославии уцелели только те пять парней, что были в лоскуты пьяны.

* * *

Я будил своих фазанов и салаг в спертom воздухе казармы, и то у одного, то у другого морда прилипла к наволочкам — кровь шла носом. Работягам платили за вредность бешеные деньги. Машину можно было купить в керосинной лавке. Дорог, правда не было. Мы же получали за звон по бутылке кефира. Поэтому стрелялся народ не из-за на карачках ползущего времени, а из-за этой невидимой всепроникающей, неизвестно что с тобой вытворяющей, неизвестно где тебя стерегущей смерти.

* * *

Я выговорил тетке и зимние крошечные утренники, когда нас, по пояс раздетых, гоняли кроссом по черной дороге, воздух был еще цельным, не растормошенным, ночным. Глухо и тяжело молотили сапоги, кто-то сплевывал, задыхаясь, и вдруг нас заворачивали — дорогу пересекала черная же колонна эзков; овчарки стерегли поле, конвойные с автоматами наперевес маячили со всех сторон. Однажды меня послали в ближний лагерь крутить киношку, киномеханик то ли сломал ногу, то ли врезал дуба, справки в памяти не сохранилось. В конвое меня накормили до отвала жирным мясом — ребята подворовывали мясо в собачнике; фильм был старый, довоенный, с большеротой блондинкой в крепдешинном платье, поющей что-то на палубе речного трамвайчика, шпарящего вдоль стен Кремля. Ээки, урки — политических к зоне близко не подпускали, — выдавали пудовые шутки, но как-то угрюмо, тихо. Когда фильм отстрекотал и всех выгнали на развод, я пошел по проходу меж лавками, чтобы отсоединить динамик, и поскользнулся, а падая, чуть не размозжил себе голову, еле удержался — пол был густо забрызган спермой.

* * *

Тетка заставила меня записать рассказанное. Не оглядываясь, наспех, чувствуя, что она права, в три недели я накатал историю моей службы, и мы прочли ее вместе, сидя на кухне у печки, а на полу на газетах была рассыпана пережившая зиму айва. История моя уместилась в шестьдесят убористых страниц, и мы сожгли их в топке и сверху поставили чайник.

Я был пуст. Внутри меня можно было расставлять мебель, но я мог наконец дышать.

* * *

Дора, Дора, помидора,
Мы в саду поймали вора.
Стали думать и гадать,
Как бы вора наказать...

Утро кипело, сияло, пузырилось. Дети под миндалем, встав в круг, придирчиво следили, как самая старшая, до синевы июньской сливы загоревшая, Ася, считала их:

Мы связали руки-ноги
И пустили по дороге,

Вор шел, шел, шел
И корзиночку нашел...

Тетка в драном голубом халате времен русско-японской войны кормила котов. «Mange! — с котами она говорила только по-французски. — Qu'est-ce que je te dit, mange!» Весь в разбитых коленках и локтях примчался соседский пацан. «Тетя Ната, — на лету крикнул он, — мамка сказала — курей завезли!» Тетка, выпустив кота из рук, склонилась над кустом отцветающей Gloria Dei. «Тля!» — громко констатировала она.

В этой маленькой корзинке
Есть помада и духи,
Ленты, кружево, ботинки,
Что угодно для души...

Стрекоза вертолета протарахтела в сторону заставы. «Des poules, — сказала тетка и, меня в гамаке не заметив, устала на мое окно. — c'est pas mal! — Тима! — вдруг грянул ее боевой вопль, — Вставайте выполнять мужской акт... Хватит дрыхнуть. Слышите, кур, говорят, завезли...»

Под миндалем теперь было пусто, но из-за бочки с дождевой водой торчал чей-то ржаной затылок и розовый сарафан, а от колодца к углу дома на четвереньках пробиралось нечто пятилетнее. «Тима, — тетка приманивала второго кота, моего тезку, буддийского спокойствия разбойника, — голубчик... куры же!..» Я печально кивнул ей, выбираясь из гамака, пряча под подушку растрепанный томик Дарелла.

Дома кашу не варить,
А по городу ходить —

— писклявый голос подзадоривал водящего. «И купите мыла!..» Утро было убито. «По три двадцать...» Мылом мы называли местный сыр.

* * *

Персонажи, а не люди жили в поселке. Наша прачка, из местных, в обиходе называлась la baba ordinaire. «Вот идет la baba ordinaire, тащите простыни». В пятьдесят два года собралась она замуж. И хоть была горькой пьяницей, хозяйство у нее имелось. Нашла себе мужика. «Хороший мужик, — поясняла она, сидя, как бы из уважения к работодателю, на самом краешке стула. — Калитку мне новую навесил. Баню, говорит, как распишемся, построю. Зарабатывает хорошо...» — «Что же он делает, красавец твой?» — спрашивает занятая гимнастикой для лица по системе Корво столичная референтка газеты Монд. «Шофер он, — терпеливо отвечает la baba, — говно возит...»

Мы уже насобрали в складчину деньги, присмотрели в магазине кружевную ночную рубашку, как la baba вдруг заявила вдребезень пьяная, маленькое ее личико было перекошено горем. «Ванька-то мой, — забыв поздороваться, начала она, — говновоз, с дырою вышел!» И заплакала. Оказалось, перед самым загсом поволокла она своего Ваню на рентген, и не зря! — оказался супруг с язвой желудка. «Я-то, дура, радовалась: не пьет, не курит, а он порченный», — причитала она.

Молочница наша («На море шторм. Молочница больна, и слово астма тяжелее гипса») — ходячий источник самых мрачных новостей, — ослепительно белой марлей закрывая эмалированное ведро, рассказывала: «В Щебетовке, слышали, индюшка с двумя головами вышла... В Феодосии у грузина, клубничкой торговавшего, — нате! сифилис... У почты поутру

— авария! Большой начальник. С автобусом. Багажник ему помяло. Народ глянь, а там чего только нет: колбаса-то, икра, говорят, гурьевская, еще какой дефицит... Вырезки целая корова». Когда кто-нибудь жаловался, что молоко горчит и отдает полынью, она кручинилась, глубоко вздыхала и, качая головой, говорила: «Все туда же... К войне! В святой книге что сказано? Упадёт звезда-полынь и все поотравит...»

«Да что же ты, матушка, страху-то нагоняешь, — не выдерживала тетка, — ты коров куда-нибудь в холмы гони, а то они у тебя по солончаку колючку да звезду-полынь и жуют...»

Младший сын молочницы сел за поножовщину. Старший должен был скоро выйти. Муж жил с другой, и от всего этого у нее началась астма. «Знаю я, — с обидой поднимала она глаза, — они мой волос сожгли. В могилу меня метят... А я к Казанский поеду, поплачусь... Заступница, скажу, спаси».

Здесь жил знаменитый авиаконструктор, балетных дел мастер, кремлевская старушенция, герой гражданской войны, два-три официальных писателя с достаточно громкими для провинции именами. Этим аборигены уважали и почитали. Но несколько домов, похожих на теткин, где в затаившемся побеге жили недобитые интеллигенты, словно имели на воротах намалеванный жирными белилами крест. Народец сталинских уроков не забыл, а тогда брали именно таких, умненьких шутников. Слово интеллигент уже полвека было ругательным. И бродили по аллеям писательского парка шефы: донецкие шахтеры в тяжелых черных костюмах фотографировались группами под спортсменкой с веслом, а на ближнем пляже здоровенный дядя проверял пропуска: все ли имеют право на море?

Здесь читали на всех языках, здесь знали все последние новости, здесь трещали машинки, обсуждались рукописи, давались домашние концерты. Здесь в море плыл и фыркал огромный поп, а навстречу ему саженками летел рыжий дьячок. Здесь оскользнулся режим, расставивший столько сторожевых постов вдоль берегов Киммерии. Здесь дышала, доживая последние часы, странная вольница, основанная в начале века поэтами, мистиками, художниками.

Сказать ли правду, что всего этого больше нет?

* * *

Однажды на пляже на закате подошла ко мне старушенция, та, «которая видела лешего» где-то в бунинских курских лесах. «Вы заметили, — спросила она, — что турецкий берег неизменно отодвигается? *Moi, je m'en fiche...*»

Была она из Петербурга, из Питера же была и ее подружка, восьмидесятилетняя гренадерского роста дама со слуховой трубкой и отличными кавалерийскими усами. Они жили вне советского времени — собирали на пляже сердолики, перечитывали «Любовника леди Чаттерлей», припоминали ужин у Ахматовой так, словно это и вправду было вчера и от грузинского вина еще не исчезла изжога. «Пунин невозможен», — говорила одна. «Бедная Анечка...» — вздыхала другая.

Где-то там же, между киловой горою (серо-синий вулканический пепел) и спасательной станцией, встречал я обветренную дубленую личность, именуемую Стась. Его роскошные плечи были обтянуты выгоревшей тельняшкой, лихо заломленная капитанская фуражка и коротко стриженная седая борода выдавали в нем пирата, через всю щеку шел отличный голливудский шрам. У него был дом: трехэтажный терем с раздвигающимися стенами и, самодельной сигнализацией опутанный, огромный сад. Предполагалось, что он был знаменитым рабом-скетчистом всесоюзно известного шутника. Было ему сильно за полтинник, но все его каскадные шутки неизменно съезжали к фаллосу.

Я не встречал более задубевшего пошляка. Что-то лоснилось в его самодельном провинциальном мачизмо. Детская слюнка пузырилась под всегда аккуратно подстриженными усами. Взгляд не отрывался от ватерлинии проплывающих мимо красоток.

«Я доволен последним поколением комсомолок, — сообщал он, мигая, — ни одного триппера за последнюю пятилетку. Точно! Пятилетка качества...»

Он сидел. Намекал, что за политику. Но через несколько курятников от него жила семья, отсидевшая по десятке (антропософия), и у них были совсем иные сведения. На набережной, где каждый вечер нежнейшим образом издыхало перламутровое море («Что-то нынче на душе перламуторно...» — вздыхал Стась), где шел ленивый флирт, а заодно устраивались издательские делишки и можно было между «котлетой по-пушкински» и компотом протиснуть на вход полусгнившую в ожидании рукопись, — на набережной Стась, выгибая спину, целовал ручки, шаркал ножкой и подкручивал ус.

«Кто этот забавный старикан?» — спрашивала жена писателя Тараканова, хорошенькая дуреха, состоящая из сплошного декольте.

«Как? Ты не знаешь? — удивлялась ее приятельница, по прозвищу Ходячая Газета. — Это же Стась! Его рассекретили лет десять назад; наш резидент в Каракасе... Потрясный мужик...»

Стась был не только Джеймсом Ивановичем Бондовым, бывал он и таинственным конструктором подводных лодок и даже тем самым, кого запустили вокруг шарика еще до Юрки... Юрка же был Юрием Гагариным. Одним словом, Стась был легендой, Омар Шарифом местного разлива...

Тетка уверяла, что он клептоман. После его неожиданных визитов она обычно начинала метаться по дому. «Где швейцарский будильник? — вопила она в окно. — Он спер! Точно спер!» Я находил будильник под подушкой. «А ножницы? Мои лучшие ножницы? Он же коллекционирует ножницы...» Ножницы висели на гвоздике под барометром. «Как он не утащил мой барометр? Он же обожает барометры!..»

Я ходил за нею, умиряя брыкающиеся вещи — уборка дома была частично на мне. «Тима и я, — рассказывала тетка гостям, — убираем дом принципиально по-разному. Тима все запихивает под кровати. Пройдет — и ничего нет! Я же убираю так: хожу и выясняю, где что лежит...»

* * *

Однажды Стась затащил меня к себе. На террасе как бы небрежно забытая, в складках полуистлевшего пледа лежала скрипка. Без струн. Гостиная от пола до потолка увешена часами и, действительно, барометрами. У окна — оно тут же уехало в сторону и шум пляжа ворвался в комнаты — стоял мольберт с недомалеванным куском синевы. Сбоку у сарая был виден абиссинского цвета раб, ковыряющий землю. «Даю возможность поклонникам приблизиться», — сообщил хозяин и жестом Аладдина пригласил меня в кабинет. Боже, у этого человека в этой стране была коллекция оружия! Зауэр-Три-Кольца висел над диваном. «Желаете взглянуть?» — «Нижний ствол нарезной? Я погладил щеку приклада. — Для дум-дума?» — «Ого! — Стась глянул на меня с интересом: юноша знает толк ... — А как вам нравится это?.. — и он вытащил из-за дивана ни мало ни много винтовку с оптическим прицелом. — Вот отсюда отлично видно...»

Крест прицела скользнул по разогретому пляжу. Грудь, зад, рука, поправляющая бриточку, гипопотамья складка живота... «Ну как?» — Стась протягивал мне запотевший стакан розового вина. «А вы?» — «В глухом завязе. Я свой план перевыполнил... — И он принял из моих рук мелкокалиберку. — Чудесные попадаются экземпляры. Вот, например, эта писюлька... Так, кажется, и пообрывал бы ей ручки-ножки... — И он как бы с сожалением оторвался от прицела. — Около лодочной станции. В красном». И, передавая мне винтовку, подмигнул желтым глазом, из воздуха извлекая вдруг патрон, щелкая затвором... «От этого у них прибавляется прелести».

Я посмотрел в сторону лодочной станции: мокрый песок еще с живым отпечатком ноги, волосатые ляжки спасателя, детское синее ведро, распущенные волосы, дужки очков... «Нет, вы уж извольте пальчик на курок», — горячо задышал надо мной Стась. Я выпрямился и протянул ему винтовку. Он улыбнулся бёзгубой улыбкой и, сморщив сфинктер левого глаза, замер с винтовкой, прижавшись к оконному косяку. Лишь фаланга его указательного пальца, к моему ужасу, не переставала двигаться, вжимаясь в курок. В момент, когда я уже собирался перехватить, направив в небо, цевье, затвор жалко щелкнул, и Стась уже раскланивался: «Пардон за шутку...»

Он провел меня через второй этаж, невзначай мы миновали его спальню: кровать размером с боксерский ринг, софиты, изрядно кривое зеркало вдоль стены и хассельблад на деревянном штативе.

«Правда, что вы снимаете девочек?» — спросил я его на крыше.

«Жалкая ложь, — он шарил телескопом по горам, — ...некоторых. На память... Поразительно прозаично спаривается нынче народ, — вздохнул он. Или оптика сплющивает пространство? Какая-то каша из рук и ног...»

* * *

Стась вечно обменивался. Шило на мыло. Шиллера на Миллера, как сказал бы один, в Нью-Йорке спланировавший, шутник. Пронюхав, что я привез японский коротковолновик, он поймал меня в зарослях сирени. Я уже наломал целый воз и собирался отваливать, когда он вынырнул из из-под земли. «Пятьдесят рублей наличными», — сказал он и полез в карман, где явно ничего не было. Я отказался. Мы пролезли через дыру в заборе на территорию гаража. «Сказали бы мне, — Стась кивнул на сирень, — я бы вас одарил... Дельтаплан хотите? У меня приятель только что разбился». Пока мы пересекали дорогу, заворачивали за аптеку, шли через поле, он успел мне предложить: кавказскую бурку, реваган с комплектом вполне еще кусачих пуль, трех богинь комсомолок из личного гарема и ключи от замка на целый месяц, корень женьшеня, волчью ушанку, полное собрание сочинений каторжанина карманного формата. У калитки я извинился, я должен был кормить недобитую интеллигенцию, трех собак, двух кошек и целую банду гастрольных скворцов. «Делаете ошибку», — сказал он мне вслед.

С тех пор, уходя в горы или к морю, я навешивал на дверь крошечный висячий замок, открыть который, конечно же, могла и залетная стрекоза нечаянным ударом слюдяного крыла.

* * *

Все это не больше чем прощание. Профессиональное нытье. Осложнившиеся отношения с *passif composif* и *futur simple*. Способ изжить случившееся. Память — все, что у меня есть. Я занимаюсь честной подтасовкой в памяти. Подклеиваю ноги блондинкам к туловищу брюнетки. Посыпаю зимнюю дорожку рыжим летним песком. Гордо говорю «прощай» там, где были сплошные слезы и сопли. Избегаю свидетелей. Да и они, признаться, здорово спятили. Вчера в Бильбоке, одна в нарушение правил встреченная длинноножка, выдала: «Если бы ты не волочился за мной как кретин, я уверена, что мой второй муж пристроил бы тебя на Мосфильме...» Боже! На кой черт мне «Мосфильм» и кто ее второй муж? И разве я волочился за нею, а не за ее младшей сестрой, которую, аллас, не помню как звать?

* * *

Короткая, закатным солнцем подсвеченная струйка орошает облезлый бок карусели. Пацан со спущенными штанишками глазееет на ослика с позолоченными ушами. Старая карусель мертва. Сердце, износившее витки обмотки, выброшено на ближайшую свалку. Краснорожий

механик возится в фанерной, таможенником Руссо раскрашенной будке. Трансплантация не обсуждается местной, несуществующей, прессой. В деревянном экстазе вскинувшая копытка лошадка, слоник с дырою на месте хобота, дромадер с девичьими ресницами и китайский, партийного цвета дракон («дракошка! дракошка! драная кошка!..») пребывают в унылом параличе. Механик выходит раскорякой и, недоверчиво глядя в люк, поворачивает рубильник. Сноп бенгальских искр бьет из будки, судорога сводит дубовые мышцы бестиария...

Я стою в очереди за пивом; тупоголовый альбатрос кувыркается в темнеющем 02 и прочих примесях. Подводная лодка, кокетничающая по случаю арифметически правильной даты основания красноплавниковых военно-морских сил, зажигает иллюминацию. Старик пенсионер с криво лежащим в желудке ужином бредет по песку. Магнитные волны шуруют сквозь все и вся без спросу, но застревают и оживают в ловушках транзисторов: сарабанда Генделя с усиленными ударными участвует в сгущении верхних слоев атмосферы.

«Время идет слишком быстро, — говорит, шелестя юбками, спутнику расплывшаяся шатенка, — дни свистят, как пули...»

«Чушь, думаю я, время стоит. Время вкопано в вечность, как столб виселицы в бок земли. Это мы движемся сквозь время, стирая кожу или жилы, изнашивая сердца и слишком серое вещество головного мозга. Мед и деготь, липкая масса дней и месяцев — продираясь в этом смертельном затвердевшем сиропе, утомляешь мышцы души. Комар со своим писком, вплавленный в глыбу янтаря: вот ты, вот я. Лишь смерть выстреливает нас прочь. Смерть — избавление от проклятия времени. Умирание мы называем жизнью, а конец плена — смертью.»

Я думаю о жизни как о серии бесчисленных моментальных фотографий. Где-то попался мне этот снимок: прыгун с шестом, расслоенный на целый веер шелестящих, друг в дружку переходящих образов... Эксперимент стоило бы продолжить. От рождения до смерти. В доме, в городе, в стране, в воздухе и воде, до последнего, плохо вышедшего из-за лиловой вспышки взрыва снимка — старик, пристегнутый ремнями к самолетному креслу, с коньячной рюмкой в руке падает в океан. Точка. Конец передачи. Точка. Я вижу пульсацию городов, как бесчисленные перекрещивающиеся маршруты, расслоенных на мигающие миги, жизнью. Мы любим иногда выдергивать из собственной или чужой серии один-единственный кадр, обрамлять его в рамку, вешать на стену. Дальнейшее развитие визуальной идеи требует стереовиденья, нужны лазеры, кулисы, компьютеры, четвертое измерение...

Самка ракетноносца, вся в траурных дымах, подходит и становится на внешнем рейде. Рядом с подлодкой. Медная музыка войны глушит старину Генделя. Народонаселение скапливается на границе твердого тела полуострова и равнодушной крутодышащей хляби. Все ждут активного раздражения зрительного нерва. Охает первый залп. Славный военно-морской флот эякулирует калиброванными фаллосами, развешивая в небе родины цветную сперму. Да здравствует наша родная плавучая смерть!

Интеллектуальный онанизм продолжается. «Жизнь, думаю я, погружаясь в пиво, есть постоянное прощай. Прощай, никак не сформулированная секунда. Я не успел запихнуть в тебя ни иголку боли, ни целый шкаф радости. Прощай, недостаточно стеклянная, чтобы застыть или разбиться вдребезги, волна. Прощай, ночное беспартийное облако, сваливающее на всех парусах в сторону заминированного Босфора.» Женщина встречает мой взгляд: «прощай, красотка, у нас никогда ничего не будет, а если будет, то после того, как мы выжмем друг другу тела, — прощай, краденая радость, прощай, живая вода перекрученных ласк. Где складываются эти миги умирания, эти всегда разные взрывы? Уже через минуту на месте живой судороги ничего не найти, кроме хилой агонии и вдогонку мчащегося сердца. О, я уверен, что сдвоенный оргазм — это самовольная отлучка. Мы счастливы, нас здесь нет!.. День уходит за днем — и старина Экклезиаст пусть пудрит мозги царице Савской, — и восходит солнце, но совсем не вчерашнее, и возвращается ветер, но вовсе не на круги своя. Звезды завтра в двадцать три пятнадцать по московскому времени будут не те же, пересчитав, недосчитаешься многих, а первое «прощай» было сказано в колыбели. Про кого это в коротком некрологе выдали: «Он

прожил шестьдесят восемь прощальных лет»? В сердцевине жизни, то, что отравляет радость — надвигающаяся разлука. И искусство не есть ли попытка крикнуть «прощай» громче других? А уж потом — дуй дальше, протискивайся сквозь мусор звезд...»

Пустая гильза шлепается рядом, пацаны дерутся из-за нее. Молодая мать смотрит на них, улыбаясь. Будь Дианой, бэйби! Плюнь на победу изма, на начавшийся рак груди — застынь в веках, найди форму, затвердей в столетиях; пусть ледяное дыхание трогает твой сосок и твое лоно, а не эти волосатые руки горилл... Вся жизнь, вся философия, весь собачий бред утопий — не одно ли слабогрудое желание сказать «здравствуй»? Кому?

Со страшным ржавым звуком трогается наконец-то карусель. Вопли и слезы. Медали и ордена. Помилование приговоренных ко сну. Очередь сопливых за билетами. В глазах осла плывет жасминный куст. Из его белого взрыва надрачивает что-то простонародное гармошка. Совсем рядом летают в воздухе крепко сжатые кулаки, лопаются мелкие сосуды, несется вскачь ошалевшая кровь, кипит лимфа, поминаются родственники женского пола с обеих сторон: «Твою мать, ать, ать... Дай ему! Дай ему промеж рог...»

* * *

В тот вечер, когда скрипя, ибо ревматизм не шутка, старая карусель сдвинулась с места, сдвинулся с места и поселок. Переполненный, как старая барка, гениями и графоманами, антропософами и хиппарями, дзэн-буддистами и потаскушками, уже отсидевшими и все еще ожидающими отсидки, генералами от партийной музыки и гомосексуалистами, поселок накренился, загудел и отчалил от берегов родины. Началось с небольшого скандала, когда банда тунейдцев-волосатиков, изловив на выходе из писательской столовой начальника московской литературы (бедняга безмятежно ковырял в зубах спичкой), задала ему преступный по сути вопрос: «Почему в стране победившего социализма (победившего кого?) тиражом в двести тысяч экземпляров выходит на подтирку не годящийся журнал Уголь, а журнала поэзии нет?» Начальство отрыгнуло коньячком и попробовало улизнуть. Мешал живот и улыбающиеся глаза коллег. А распоясавшиеся юнцы шпарили дальше: «Какой вред самой передовой в мире от стишков и песенок? В каких отношениях состоит ЦК с Парнасом? Когда кончат возить тяжелую воду на отечественном Пегасе? И не пора ли освободить от лесоповала поэта Веревкина?» Неизвестно, чем бы все это кончилось, скорее всего, микроинфарктом, ибо кто же может выдержать без физических потерь вслух задаваемые подобные вопросы, но тут грянул гром, сверкнула молния, и не кто иной, как Стась, в сопровождении хромого милиционера и бабы Гитлер, явился глазам обалдевшей публики. Ловко заломив ближайшему говоруну руку, Стась сунул под нос любителям вопросов известного вишневого цвета удостоверение и тем самым заложил самого себя на веки веков.

Публика запела Интернационал. «Ишь, пастернакипь...» — рычало начальство. Хиппы, однако же, презрев традиции тридцать седьмого года, а также пятьдесят второго, не слиняли, а дружно врезали оперуполномоченному по первичным половым признакам и, подхватив друга, смылись в сторону базальтовых образований эпохи неолита.

Публика, покончив с Интернационалом, неожиданно перехлестнула на Опавшие листья, капитан подводной лодки высрал на берег шлюпку с отлично наглаженными матросиками и на всякий случай велел расчехлить зенитный пулемет. На писательском пляже в тени, образуемой щитом с инструкцией, как вести себя во время утопания, пионерка Люся пыталась отжаться поэту Гаврильчику, но ничего не выходило. Слезы неразделенной любви орошали ее грудь. В это время на всех парусах подбежал к пирсу прогулочный катер Киммерия, и вдребезень пьяная съемочная группа Мосфильма влилась в народные массы.

Все, может быть, и устроилось бы, но тут хлопнуло верхнее окно Дома поэта, и вдова в круглых очках по-черепашьи выглянула на набережную. Лишь Стась своим тренированным слухом да я просекли ее грозный шепот. Это были последние строчки запрещенной поэмы:

«...пошли нам мор! германцев с севера...» И тут же без всяких театральных штучек, взрезая толпу воем, выкатилась и помчалась к гостинице Млечный путь скорая помощь. Через пять минут обеспокоенные массы уже знали, что в номере таком-то дал дуба ударник коммунистического труда, здоровенный дядя, фамилия неизвестна. Сказал-таки свое последнее прощай и весь в жидком дерьме протиснулся на выход. В эту самую вечность. Дежурный врач предполагал холеру. В местной лаборатории вспыхнул свет. О результате анализов было сообщено по телефону в Фео. Утром поселок проснулся, оцепленный войсками. Был объявлен карантин.

* * *

Мне пришлось выкупать Тоню у солдатиков, цепью перекрывших холмы. Накануне моей тоски она уехала в Феодосию — то ли принести жертву в храме Афродиты Привокзальной, то ли испросить совета у горбоносого авгура-айсора, прикидывающегося чистильщиком ботинок. Стоила мне моя наложница пять рублей неконвертируемой валюты и честно расплатилась тут же под кустом издохшего кизила длинным и мокрым поцелуем.

Какого хрена мы не могли ужиться вместе? Быть может, мы действительно были братом и сестрой и нас подтачивал банальный инцест?

Полномочия советской власти перед лицом стихии, будь то незапланированная смерть в виде холеры или небольшая трехмесячная засуха, понижаются, что дает грядущим поколениям небольшую надежду. Левушка Троцкий, конечно же, не задумываясь, сбросил бы на поселок небольшую бомбу. Владимир Ильич приказал бы устроить идеологически объяснимое землетрясение. Гуталин Джугашвили придумал бы что-нибудь похитрее: срытие Святой горы и возведение на ее месте какой-нибудь пирамиды в виде куба. Нас же оставили без надзора. Стась исчез. Голос Америки звучал теперь из-за каждого забора, гомосеки встречались вечерами у «бабы Лены», памятника Ленину, и шли на танцульки. Дело дошло до грима, до травести, до враждебных нам по духу танцев. Катер Киммерия превратился в плавучий бордель. Шепотом и на цыпочках жившие пииты начали читать свои шедевры открыто по всем террасам. В качестве профилактики народ потреблял с утра белое столовое по семьдесят две копейки за литр и был счастлив.

* * *

Мы решили с Тоней бежать. В конце концов, одно дело — жить по собственной воле на фальшивом сквознячке коктебельской свободы, а другое — сидеть взаперти. Мы уже прослушали крамольную лекцию правозащитника Икс о презумпции невиновности, повесть Зэт о франкмасонах в сибирском обкоме и фортепьянный концерт Игрека, который, распатронив нутро рояля, играл всеми своими сорока пальцами не на клавишах, а на струнах... Мы, наконец, провели с Тоней интенсивное перемирие, полное солнечных взрывов и умопомрачительных провалов. Лишь тетка вела себя разумно и, покончив с дневными экзерсисами (Дебюсси) и очередной главой «Александрейского квартета» (мучительное торможение словаря), пилила дрова на зиму.

Напоследок я заглянул к Гаврильчику, попрощаться. Номер раз держался за печень, но продолжал тянуть новосветское шампанское.

«Старина, подпольщик стоеросовый, я тя должен предупредить, — воздвиг он спич. — Грядут, клянусь тебе, великие перемены. Кто не с нами, тот вас ис дас. Кончай играть в прятки. Мне точно известно. Вас будут травить дустом. У нас генералы созрели. Целая роща. Ракет у нас до и больше, старина... И дело не в том, правы мы или не правы, а в том, что нас теперь весь мир слушает... Правы мы будем потом... Это только вам, остолопам, из вашего окопчика кажется, что наверху нет сверхидеи. Чудило! Идеи в ЦК в бочках солят...»

Грустное было прощание... Зашел рыхлый, с обвисшими телесами критик правофлангового журнальчика, покати́л бочку на евреев: «Жи́ды-ы-ы-ы, — жужжал он, — раздракони́ли вдребезги страну, Троцкие и Урицкие, а тепе́рь ходу́ дают, на родину... а-а-а-а-а... предков...»

Со своей бутылкой, скромно в кресле, устроился милейший умнейший красавчик киношник, сигарку пожевал, спичкой чиркнул — так и застыл: в одной руке сигарица от товарища Фиделя, в другой — огонь.

«Проблема полукровок, — завел он, — полтинников. Кого ни копни: наполовину еврей. Так и ждешь, что вот-вот он переметнется. Одной рукой домны и нивы воспевают, другой — паскви́ли для заграницы строчит...»

Девушка пришла, из провинциалок, номером раз приглашенная, застенчивая, в платье, чем-то чудовищным надушенном. Выпила стаканчик шампуньского, речи столичные про грядущую войну послушала и разревелась; сидит, слезы по румяным щечкам размазывает и икает. Гаврильчик по головке ее гладит, глазами знаки делает, сматывайтесь, мол, идиоты, сверхидея у него созрела.

«Будь здоров, — говорит, — Тимофей, и помни, у нас есть тепе́рь трезвые, за страну стоящие люди. На западном фронте лишь временно без перемен. Пу́ть в Берлин, сказано, лежит через Афганистан. Знаешь, кто придумал? Лев Бронштейн. Любитель кактусов».

* * *

Кстати, о войнах: вторая мировая на станции Джанкой будто бы и не кончилась. Какая там вторая! Гражданская еще: сидят пейзажи на корточках, режут грязные дети, штурмом берутся какие-то расхлестанные вагоны; качается на ветру голая лампа — влево — гаснет, вправо — зажигается. Сука с обвислым брюхом глядит в беззубый рот жующего чучмека. Гражданин начальник бежит вдоль путей в сопровождении бегущего мусора... Билетов на Москву нет. Нет ни гостиницы, ни ресторана. Налетают из мрака поезда — в окнах мужичье в майках, столы, заставленные бутылками, жирные колбасы, буханки хлеба. Дрожат рельсы николаевской еще дороги.

За полночь я сую проводнику московского скорого пятнадцать рублей в потную лапу. «Их, ух, твою мать, да куда же вы?» — и мы в служебном купе. Он запирает нас, рыжий дядя. Тоня виснет на мне, устала, соломинка, вот-вот сломается... Служебное купе завалено грубыми солдатскими одеялами. Мы забираемся вдвоем на верхнюю полку, кое-как вжимаемся. Спи, маленькая. Ее уже нет. Дядя Морфей в милицейской форме упер ее к уполномоченному Гипнозу.

Гнилой ветер бьет в окно — Сиваш, ахиллесова пята русской истории, конец белого Крыма. Проморгали, ребятки, Русь, а тепе́рь в терема и бояр играетесь... Ободрали жар-птицу до дохлой курицы, деревянной ложкой чужие консервы уминаете... Мать говорила: эх, знать бы, где эта кнопочка, что мозги выключает... Не выключаются. Степь бежит за окном, заламывает руки, дышит сухой полынью. Проводник весь в молниях грязного света врывается: «Давай, паря, еще десятку, контроль идет, замазать надо...» Где там у кисоньки в джинсах трешник. ...Да не трогаю я тебя, не вздрагивай, мне десятку сивому мерину выдать нужно...»

* * *

Под утро мы въехали в осень, моросило, тянуло гарью, торфяные болота дымили. К одиннадцати часам, когда разносили жидкий чай в кривых подстаканниках, повалил снежок, и Тоня вышла на станции Сентябрь. Она махала рукой, она улыбалась с платформы, она сглатывала круглые, изрядно стеклянные слезы. За мелкие деньги я договорился с машинистом, и поезд завернули в Питер. В сизых морозных дымах мы ворвались под грязный свод вокзала, вдарили по тормозам, и, поднимая ворот шубы, запихивая руки поглубже в карманы, я увидел

знакомого йога, жмурившегося под схемой ленинградского метро. «Ты кого здесь ждешь?» — спросил я. «Тебя, — сказал он, — я тебя протелепал...»

Питер был весь сикось-накось зарисован белым. Снег валил со всех сторон, даже снизу. Мы взяли извозчика, и он, на третьей скорости, покатил по Невскому. Князь Юсупов стоял в распахнутом окне и дымил длинным мундштуком. Николай Гумилев, в чем мать родила, сидел верхом на коняге Клодта. Пролетели легкие санки балерины Кшесинской. В ресторане Крыша половой, кланяясь в пояс и не показывая лица, принимал заказ: «Растягай, борщик украинский два раза, штофчик той, что посинее..., балычок...» Он поднял-таки голову и расстрелял меня в упор глазищами — Распутин!

«Тим, Тим, — трясла меня Тоня, — проснись же...»

Поезд стоял, солнце лупило по своим, баба в белой до слез русской косынке протягивала в окно горячие рассыпчатые картохи. Курск! Иван Бунин с запавшими глазами, с картузом в повисшей руке стоял под горячо дышавшей яблоней и повторял женское какое-то имя...

«Да проснись же ты!»

Во рту было кисло, пылью пахли одеяла, малосольный огурец стоил двадцать копеек. Дернуло, поехали... «А хлеб у нас есть?» А хлеба у нас была черная тминная горбушка. «Как спала, егоза?»

* * *

Короткое северное лето постояло в дверях, подразнило легкой жизнью и хлопнуло дверью. Еще бежали вперегонки вихрастые липы бульварного кольца, таяло мороженое на всех углах, и с треском испарывали ножи азиатские черепа арбузов, еще распахнут был всеми окнами крикливый трамвайчик, шпарящий через Язу, еще продолжались вечерние дачные посиделки: с самоваром, перекормленным сосновыми шишками, со свежесваренным малиновым вареньем, еще нежны были напозающие с лугов туманы, а на вокзалах продавались жирные астры и хотя пусты еще были чисто вымытые улочки центра, как грянуло вдруг со всех сторон первое сентября, хлынули из всех дверей наглаженные, причесанные школяры, дохнуло недвусмысленной свежестью и погода пошла мелькать все серее и серее, вплоть до грязных каких-то чернил, крепко к власти приписанные денечки.

В конце листобря я подрядился накатать несколько радиоинсценировок по сказкам братьев Гримм, а чуть позже Тоня познакомила меня с застенчивым крошечным гравером, у которого приятель, женатый на немке, уехал в гости к Гёте и квартира стояла пустая. Крошечная кухонька, кривобокая ванная и Г-образная комната были свободны до первых телодвижений властей, до стандартного доноса из посольства, что гражданин Перебежчиков не явился для продления визы. Плата была мизерная, домишко — волшебнo-старый, замоскворецкий, с кустами бузины, с тополями, кошками, заборами, сараями.

В середине дождебря я разделался с безработными принцами и грустными карликами, неделя первых заморозков ушла на разработку сценария для Никитки, который в сотрудничестве с Берем-и-Едем поднял драный флаг семнадцатого: «Грабь награбленное!»

В затею я не верил, но на Николу Зимнего получил двадцать хрустких пятидесятирублевых и совет провести Новый год подальше от стен Кремля. Роль посланника исполнял Понт; ни Никитки, ни Берем-и-Едем в российской федерации не было — друзья отправились дышать озоном Армении, глазеть на Арарат да отпаиваться чудесным местным коньячком.

Операция, базировавшаяся на моем старом рассказе («Хичкок в лаптях» — Осина реакция), прошла с некоторой отсебятиной, но в целом авторские права я удержал: в окраинную «Березку» нагрянула компания восточного типа людей, солидно одетых, хорошо откормленных; они набрали полные руки изрядно недешевого товара — кто шубу жене, кто колечко с камушком, кто стереохреновину (истинный ассортимент мне не известен); расплачивались странного вида валютой — вроде бы твердой, но вроде бы и не очень; кассирша, строго следуя

инструкции, попросила разменять лиловые банкноты Лилипутии с тысяч хотя бы на полтинники и нажала волшебную кнопку вызова опергруппы. Покупатели загулили, затараторили почучмекски, выражая обиду и недовольство, но тут доблестные мусора их и повязали. Прихватив с собой в качестве свидетеля кассиршу, опечатанную в срочном порядке кассу с лиловыми фальшивками, выбранный проходимцами товар, оперативные работники расселись по черным машинам и на приличествующей их положению скорости растворились в вечеряющей дали.

Настоящие опера приехали минут через семь.

* * *

Совета я не послушался и Новый год встречал в пустом зале театра Современник. На сцене горела голая дежурная лампа, динамики сотрясал «Диалог квартета Брубeka с оркестром Бернстайна», в фойе кипел банкет, и я, сидя в последнем ряду со стаканом теплого шампанского, вспоминал, как здесь же, в закутке на сцене, я спал сколько-то там лет назад между спектаклями на сваленных горой пыльных кулисах.

Валя Микулин, актер актерыч, подкравшись, однажды, вытащил из кармана моей куртки дедовский маузер, взвел курок, имея, к несчастью, в виду, что это лишь бутафорская игрушка, и разбудил меня пинком. Это был отличный двадцатичетырехзарядный маузер с рукояткой черного серебра. Дед мой умер, я бросил школу и бродяжничал; театр был моим единственным пристанищем. Я начал рабочим сцены и перешел в бутафорский цех. У Микулина до сих пор знаменитый трескучий зазубренный, запаутиненный голос. Наждак, да и только. Увидев наведенный в упор маузер, я резко крутанулся вбок, адреналина в ту эпоху хватало, свалился с кулис, и Валентин всадил пулю в гору тряпок. Когда до него доехало происшедшее, он затрясся и его и без того лошадиная морда вытянулась до колен. Мы тягнули в подвале театра по стопке старки, он хрипел извинения на нижнем регистре, а потом долго-долго играл кул на разбитом пьяно: был он отличным пианистом.

И теперь из фойе доносились ржавые скрипучие перекаты его голоса...

* * *

Опять, шурша грязными юбками, на город уселась зима. Все было до тоски знакомо. Дохлые осыпавшиеся елки, выброшенные после праздников. Баба с двумя авоськами апельсинов, испуганно озирающаяся на перекрестке. Шпана в пальтишках на рыбьем меху, с шакальим оскалом, с обветренными красными руками, не уместающимися в узких карманах. Винные магазины с лужами, матом и гнилым коллективизмом. Постовой в огромных валенках, с хорошо отъетой ряхой. Фраза приятеля по поводу постового: «Это его власть. Не твоя и не моя, а его...» Но было и новое — город прохудился, дал трещину, и через неё исчезали люди. Пришел прощаться Цаплин. Рыдал. «Страшно, старичок, конечно же, страшно... У меня там никого». Через полгода голубиной почтой домчалась его открытка из Рима. «Старина, — писал он, — сижу в кафе Эль Греко, бархатные диваны, картины на стенах, из Израиля еле сбежал. Никому мы на хуй не нужны. Первое время я бросался на книги, шатался день и ночь по музеям. Здесь все есть, все доступно, но никто ничем не интересуется. Вопросы, которые они задают о нашей жизни, чудовищны». Уехал художник Иванов. Трясся, что с такой фамилией его по израильской визе не выпустят. Проскочило. Уехали Мышкины. Всей семьей. С кастрюлями, подушками, электросамоварами. Малым ходом заслали вперед все, что можно было. Собрался на проклятый Запад даже старик Олин. «Куда ты?! Спятил, старый хрен? — приставал к нему Ося. — Что ты там будешь делать?» — «Клошарить...» — был ответ.

Фантастические новости о закордонном мире стали просачиваться в Москву. Люди были свои, подпольные, изученные, можно было верить. Поэт Сухомилин, получив премию Петрарки, снял в Риме в дорогом отеле целый этаж. «Зачем, я и сам не знаю... — вопил он по телефону.

— Так... с панталыку...» Новые места, вернее, дыры от уехавших, не затягивались. Поколение молодых нахалов — сочиняющее, малюющее, на дудках играющее — ничем не было похоже на наше. Они были какими-то американцами: деловыми, динамичными подпольщиками. Спикали. Парлевукали. Отнюдь не рыдали от счастья, получив на руки невиданную книженцию. Бегали кроссы. Коротко стриглись. Уповали на военный путч. Но и из них некоторые уже нацеливались на Нью-Йорк.

«Я не эмигрирую, — объяснял мне один из них, — я еду домой...»

* * *

Роджер передал мне короткое письмо парижского издательства: «Станцию Кноль» собирались тиснуть, лишь просили пройти по последней главе... Голова моя пошла кругом. Рубикон был не шире ручья; можно было, конечно, расставив ноги, удержаться на обоих берегах. Не лучшая все же поза для жизни. В то же время начать играть в открытую означало бы потерю анонимности, возможности писать вне контроля.

«Ты же мечтал, кретин перестать писать в стол! — орал я сам на себя.

Замоскворечье — все еще не Москва: улицы тихи, дома приземисты, церкви дыбятся на каждом углу. Я бродил кривыми переулками по заснеженному городу и решал и не мог решить... В конце концов, псевдоним тоже чушь; стилистический анализ ГБ практикует десятилетиями, и какой-нибудь старый хмырь, милейший профессор запятых, знаток Тютчева и Элиота, кряхтя над вечерним чаем, соорудит вполне резонный репорт о неумолимом сходстве Тимофея Сумбурова с Ефремом Курагиным, он же — Афиноген Фталазолов... Я дал знать парижскому издательству теми же окольными путями, что пересматриваю последнюю главу.

В это время в Питере начался процесс по делу Куна. Седой очкарик собрал антологию подпольной прозы и поэзии и тиснул ее домашним, в одиннадцать копирок, тиражом, да был заложен литературной бездарью, платным осведомителем... Банально до икоты. Я знал Куна по Крыму — беспомощный, милейшим образом задвинутый дядя. Я дал ему «Параллак» — лучший, как я считал, рассказ.

В первый день суда я вылетел в Питер. По аэродрому гуляла сухая поземка; когда такси выскочило на Невский и вдали малиново вспыхнул шпиль Адмиралтейства, я понял, что никакого псевдонима не возьму. Все осточертело. Я избегал коллективных писем и акций, чтобы писать вне сыска, — видимо, это время кончилось. Мог ли я подумать, что скоро вовсе забуду о своей страсти к словам?

* * *

«Параллак» давным-давно гулял в самиздате. У меня была слабость к фотографам. Они в разных видах, наскоро переодевшись, перебирались из истории в историю. Герой «Параллакса» видит мир таким, каков он есть на самом деле, лишь через видеоискатель «лейки». В обычной жизни он крот. Ему нужно выбирать: или бросать ремесло, или, так сказать, просветлять собственную — левый глаз 0,6 — оптику. Иначе — прогрессирующая шизня. Я сам когда-то мечтал быть фотографом, изрядно испортил пленки, кое-что просек в этом виде визуального воровства, но, увы, отказался от дальнейших потуг по простой причине: гроши, бабки, капуста... Однако приступы свирепой ненависти к писательству как таковому все чаще и чаще заставляли меня облизываться на витрину комиссионного магазина, где умопомрачительно сверкали ролефлекссы, хассельблады, никоны и лейки. Цены, как кольца сигарного дыма, состояли из сплошных нулей.

Кун считал «Параллак» слишком политизированным. «В этом вся проблема, — бубнил он, — феномен власти притягивает нас, как воронка смерча, мы освобождаемся от притяжения этого лишь временно, когда пишем; но, хотим ли мы или нет, смерч опять завихряет наши

мозги. Литература нынче на Руси, увы, лишь способ персонального сопротивления. Поэтому ГБ, шелкая неправовых бумагомарателей, абсолютно право».

Так или иначе, я все больше осознавал себя жертвой зрения. Нужно было описать деталь или случай, чтобы от них избавиться. Привычка слишком многое видеть, привычка родившаяся в глубине заброшенного детства, оборачивалась террором. Кой хрен я должен зреть хромую палому, жалко бьющую помятым крылом за полсекунды до хромированной, по осевой летящей смерти? Ничего, кроме шелеста колес. Я никогда не мог отвести глаз. Ни от бабы на станции Джанкой, широко расставившей ноги и опорожняющей себя под прикрытием грязных юбок, ни от жирных пальцев задумчивого узбека — он методично рвал проволоку лезущих волос из ноздрей, складывая на ресторанный скатерть. Я был забит до самой макушки виденным. Оно никуда не исчезало.

Но неприглядное застревало обычно с большей силой, обладая ранящей энергией. Бесчисленные закаты, игра красок, горный вечерний лес по-над морем, полнолуние в зимней степи — все это отпечатывалось во мне, звучало более расплывчато, смазано, нажимая, видимо, сразу на слишком много педалей. Или душа, кою я вечно чувствовал гостьей, по крайней мере отдельно (отдельно) от заболоченной психики, была покрыта амальгамой и прекрасное лишь отражалось, в то время как ужасное — царапалось?

Не я охотился на удачные и неудачные образы, а они подстерегали меня, набрасывались из-за угла и, претендуя на исключительность, увы, пользовались уголовным методом — ударом по голове. Одно время я предпочитал глушить себя запоем или спастись ненавистными мне транквилизаторами. Это была эпоха, когда я начал носить с собой пять-шесть розовых таблеток, способных из дергающегося, резкого человека сделать кашу. Без них я не мог выйти на улицу. Одна лишь мысль о том, что я забыл их дома, рождала панику и срывала с места в галоп сердце.

Фотография поэтому казалась мне прямой сублимацией, избавлением от проблем. Отснятое можно было забыть. Заноза внешнего мира вытаскивалась фотографическими щипцами. Преступление видеть не так, как все, принадлежало не мне, а объективу, фиксация шла на мокрой скользкой бумаге.

* * *

Суд шел в бывшем здании царской охраны. Это был спектакль по грубо сколоченному, с торчащими гвоздями, сценарию. Две трети маленькой зальцы занимали статисты в штатском. Старина Кун, и без того похожий на трость с набалдашником лысой головы, осунулся, но держался бодро и улыбался своим в публике. Дело было явно спланировано задолго до ареста, заткнуть глотки говорунам, припугнуть расплодившихся гуттенбергов. Судья клевала носом, заседатели резались в морской бой. Прокурор, сыграв вступление на небольшой эбонитовой флейте, потребовал семь лет за распространение клеветы, за порнографию и нарушение общественного порядка. Защитник отрещивался от защищаемого и, танцуя чечетку, призывал подумать о потенциально осиротевших детях. «У нас здоровое общество, — парировала судья, — оно и займется подрастающим поколением».

Свидетель Зиммерман от дачи показаний отказался. Ему пригрозили расстрелом. Зим, как все мы его называли, ласково разъяснил вмиг расвирепевшей публике, что максимум, на что советская власть отважится в эпоху протухшего детанта, — это штраф или полгода принудработ. Зим был переводчиком китайской философии, три года гнил в отказе, процессуальный кодекс выучил, как трамвайный билет. Но народные массы не спали. «У, сионистское отродье, — прошипел кто-то. — В Израиль его! Нахлебника!» Зим поклонился ожившему залу: «Сделайте одолжение, первым же самолетом...»

Саша Кулик, которому в отместку за устраивание нелегальных выставок сожгли ступни ипритом, крикнул из последнего ряда: «Вас сажать надо, быдло, а не нас! Засрали страну вконец...» Его выволокли в коридор. Прокурор потребовал привлечения к ответственности и

участников альманаха. «Нужно еще выяснить, кто стоит за спиной отщепенцев и бумагомарателей. Если они действительно достойны называться писателями, почему они не приняты в Союз писателей? Почему народ не знает их? Где их книги?»

Куну вlepили трешник.

Я протиснулся к дверям, когда его выводили. «Прости, старик, — сказал он, улыбаясь, — так уж получилось...» Боже! Праведный Боже! Он извинялся, он сочувствовал, он, уже закрытый солдатскими спинами...

* * *

Питерский денек меж тем продолжался. В морозных дымах солнце заваливалось за крыши, снег был синим. У подъезда суда маялась опухшая от слез Наташа Р., приятельница Куна. «Меня в зал даже не пустили, — всхлипывала она, — сказали, мест нет. Я пошла к частнику и зуб вырвала... Здоровый...» Мы отправились куда глаза глядят, вдоль канала, забрели в Новую Голландию, в гости к Михаилфедоровичу, потом тяпнули с ней в рюмочной — три ступеньки вниз — подряд одну за другой пять рюмок национального напитка. Каждый раз продавщица подсовывала плавленный сырок:

«Без закуски не продаем».

Народец топтался в лужах растаявшего снега, в меру шумел, говор был северный, свежий для московского уха.

«А ты не вылезай, — раздавалось сзади. — Вылез, и ан тебе по яйцам... Что? Лучше других, что ли? Не умничай!..»

У закосевшей Натальи комок платка был в крови.

«Я пойду, — сказала она, — ты у кого остановился? Хочешь у нас, на Кронверке?..»

Я поблагодарил: старина Вилли, тот самый с отстреленным задом, дал мне ключи от квартиры гастролирующей актрисы. Наталья ушла.

«Не выпендривайся, — повторял тот же голос. — Сиди по-тихому. Лучше все равно не будет. Дай Бог, чтобы хуже не было...»

Вот-вот, думал я, кристаллизовавшаяся формула жизни: лучше не будет. Не рыпайся! Единственное, чего от тебя и хотят. Сиди себе тихо и сопи в две дырочки. Тогда тебя никто не тронет. В армии, помнишь, овчарок надрочивали — руку поднимешь загривок почесать, и откормленная тварь уже висит на тебе, впилась в ватный рукав мертвой хваткой... Вся страна одна большая зона; мозги у всех работают по-лагерному... Даже тетка и та учила — не выделяйся, не давай им шанс зацепиться за твою инакость...

* * *

Я прошел весь Невский до Лавры, повернул, добрел до Елисея, протиснувшись, купил фляжку коньяку и лимон. Хотелось есть. Куну небось тащат гороховую размазню, два куска черного... На углу проспекта и канала пьяная рожка, обветренная до свекольного цвета, продавала пирожки. Я встал в очередь. «С чем пирожки?» — спросили сзади. «С кошатиной», — ответили спереди. «С капустой, чтоб ей было пусто», — вставил еще кто-то. Налетевший с Невского шальной ветер вдруг вырвал из замерзшей лапы продавца ворох бумажных денег, и они полетели — к чертям собачьим: рыжие, розовенькие, лиловые — в канал... Ахнула, устраиваясь поудобнее вдоль парапета, толпа. «Батюшки! Утопился, что ль, кто?» — охала, продираясь локтями, старушенция. Прыгал, разевая рот, краснорожий дядя, тащили откуда-то лестницу, опускали на лед. «Посторонись!.. Куда прешь?» — «Извините, как пройти на Литейный?» — «Куды?»

Зажглись фонари. На четвереньках, мимо вмерзшего в лед распутинского сапога, мимо разломанного ящика, хватать десятку, хватать трешник, еще один, ну! дотянуться бы — полз дядя.

Слабенький ветерок гнал и гнал денежный мусор к черной полынье. Я повернулся уходить и, прежде чем увидел, вздрогнул: в длинной, не по нашим временам, шубе, с оренбургским платком, сбившимся на плечи, с красными от ветра глазами ты стояла у портика сберкассы, и твоя зажигалка гасла и гасла вновь. Я помню, как, по-идиотски ухмыльнувшись, я отпил добрую треть фляжки, такси остановилось возле тебя, ты, подбирая шубу, устраивалась, таксист, повернувшись, ждал адрес, пластмассовая пробка все соскальзывала с резьбы и не закручивалась. «Европейская», — сказал я, как во сне, усаживаясь рядом.

Ты смотрела, не узнавая, улыбка никак не удавалась тебе. И хотя я всем сердцем ненавижу тебя (ложь! ложь! не слушай...), я благодарен (глагол не несет нужной нагрузки), а до сих пор, я всегда... «Ну здравствуй!» — сказала ты наконец и — узел тяжелых волос, узкие скулы — просияла навстречу с той искренностью, от которой у меня всегда свербило в горле, и мы полетели, заскользили по Невскому, вдоль нашей жизни, и я умолял старину Куна не улыбаться мне больше из призрачной вечерней толпы. Я тут, ты — там. Мы встретимся в Яффе, где на грязном пляже валяются одуревшие от шума крови парочки и узи лежат рядом в песке, и бывшие советские зэки, вроде тебя, старина Кун, смоят одну за другой, думая хрен его знает о чем, наискось глядя через море...

* * *

Сновали вполне прозрачные официантки, плохо выспавшийся оркестрик рассаживался на сцене: помятые лабухи, кого вы хоронили в полдень после вчерашней свадьбы? Ты помнишь, о чем мы говорили? Я — нет. То есть да — ты приехала с группой зевак, переводчицей, переводчицей моего терпения, в Питере, согласен, безумно красиво зимой. «Суматохин отличный парень, я думал, что вы...» — «Что ты! Он предпочитает мальчиков...» — «Здорово ты пьешь, совсем по-русски».

Харчо было огненным, водка ледяной, я любил тебя всегда. Глагол, который я никогда не употреблял. Аппендиксом, макушкой, армией мурашек, надпочечниками, резус-фактором со знаком минус, всеми молекулами ДНК, кожей, слизистой оболочкой, всем моим прошлым, в тебя запрятанным будущим. Ты проделала во мне дыру. Мне не хватало ни цинизма, ни сентиментальности, чтобы определить свои чувства. Меня подключили к мощному усилителю и вывернули ручки громкости до хромированного хруста. Я плавал в лаве неправдоподобной ревности, я, не имеющий права на миллиметр твоей территории. Я всаживал пулю за пулей в разнокалиберных мерзавцев, суетившихся за твоей спиной. Они мяли твои плечи, впивались в твою шею, тискали своими волосатыми щупальцами твою грудь.

«Па-а-ад жгучим солнцем Аргентины», — микрофон следовало бы заткнуть директору ресторана в зад, давно мог бы купить новый...

На какой-то момент на меня навалилась жуткая, тонн в двадцать, тоска. Что я Гекубе? Серо-голубые глаза, ямочки на щеках, мягкие, чуть раздвинутые губы, крепкая шея, вырез платья, в который срываешься без всяких надежд на спасение, этот чудный акцент и взмывающие интонации — при чем здесь я? Был курьезный эпизод, ты помнишь? Здоровенный убийца, первый в веренице последовавших, задирает меня на драку. Официантка подмигивала. Я по-идиотски улыбался... Ты морщила лоб. Мы пошли с ним на кухню, но повар с огромным тесаком загородил нам путь. До меня стало доходить, что это ГБ, что ты же иностранка, что мы говорим пятьдесят на пятьдесят на франко-рюс-английском.

«Слушай, кореш, — наконец сообразил я, — я не по вашему департаменту, я за Москвой не числюсь...»

Узел развязался мгновенно. Гора мышц пригласила меня выпить. Я изобразил легкую тошноту. Мы вернулись в зал. То, что было под соседним столиком, выглядело теперь как банальный портфель с деревянным магнитофоном. Официантка подмигивала не зря. «В чем дело?» — спросила ты. «Говори по-английски, — попросил я. — Они приняли меня за

валютчика». — «Я не сообразила, что они собираются тебя бить, — сказала ты. — Почему ты мне ничего не сказал? Я умею драться!»

Золотце мое, никакому международному обмену не подлежащее! Ты собиралась драться на моей стороне против этих командос? Ах, я не знал, мы бы общипали их, как курят! Я бы одолжил у повара тесак. Нам бы дали одну камеру на двоих до конца жизни, и все проблемы сразу бы устроились. Как мне сказать тебе, что...

«А ты не бойся, — сказала ты, — я, знаешь, люблю смелых мальчиков...»

* * *

В такси, целуя твою горячую шею — «Ну вот, началось», — смеялась ты, — я больше всего боялся, что у меня с тобой ничего не выйдет. Кретин, уговаривал я сам себя, не думай об этом, думай о других органах, об органах безопасности... Черная волга висела у нас на хвосте, таксист нервничал, ядовитые чернила рекламы — ГОССТРАХ — текли на черный снежок. Аббревиатура страховки выглядела формулой жизни. «Шеф, — попросил я, — нельзя ли нам оторваться?» Вместо ответа он тормознул, и черная волга остановилась рядом. Он выскочил и уж, ей-Богу, совсем истерично гаркнул: «Тут, товарищи, у меня беглецы, понимаете... Нельзя ли, говорят, оторваться...» Старый хрен, в предкремационном уже периоде, а всё еще дергался! Госстрах его заел. «Езжайте», — был ответ из машины. И все дела. «Скотина ты, шеф, — поблагодарил я его, — останови у булочной.. Лбом надо в церкви об пол стучать, а не товарищам...»

В Питере есть отличные глухие проходняшки. Я проволока тебя через туннель высококачественной тьмы, затянул в обшарпанный подъезд — три тени, одна за другой, промелькнули за грязными стеклами. Мы пережидали, прижавшись к раскаленной батарее. Я распахнул твою шубу, я поотрывал пуговицы своей. Я обнимал тебя и стучал зубами. Ты была сплошной ожог. Мои страхи рассеивались, я звенел, как натянутая струна.

Хлопнула дверь машины. Взыл кот. Мы выскользнули из подъезда и, задевая крыльями стеклянные кусты, пролетели дворик, завернули за угол, миновали тлеющую помойку и, наконец, впорхнули в кислый парадник. «Пятый этаж налево», — бубнил я. «Не зажигай свет», — посоветовала ты. Я боролся с дверью, стараясь понять, на сколько оборотов закрыт замок. Она лязгнула, жалкая питерская дверь, и защелкнула нас навеки.

* * *

Помнишь эту лишь лунной освещенную квартиру? Крест окна лежал на полу. Ты нашла подсвечник, щелкнула зажигалкой. Мы наспех обследовали двухкомнатный сезам. Актриска жила хорошо. «Шик... — сказала ты, — мне бы так в Париже...» Ты исчезла в ванной, вернулась с выстиранными колготками, ловко накрутила их на батарею. «Можешь помочь?» — спросила ты, подставляя согнутую шею. Я отцепил застежку молнии от цепочки. «Тебе не холодно?» — платье твое полетело в угол. Мы протанцевали к еще не раскупоренной постели. Простыни гремели, как жесь. «Это все, что у тебя есть?» — немного преждевременно пошутила ты.

Но ни слова больше о той ночи, ни слова. Je gйserve за roug toi ткте.

* * *

Меня разбудил стук в дверь. Было темно. К испуганным часам прилипло полвосьмого. Мы заснули лишь час назад. Я накинул твою шубу, подошел к двери. «Кто там?» — «Из ЖЭКа, — был ответ, — маляры, открывай...» Я до сих пор благодарен комитету госбезопасности за то, что большую часть ночи нас не беспокоили. Но какая липа! Маляры! Красить двери! На рассвете... В дверь ухнуло плечо. Еще раз. Видимо, все те же мородовороты с новыми

«Не бойся, — теперь уже улыбалась она, — правда твоя не трудная: ебаться будешь...»

И с гортанными криками, взмывами, смехом они свалили.

Ты помнишь? Я подошел к тебе, ты отделалась трешником да пустой, загипнотизировавшей их пачкой житана.

«Знаешь, — сказал я, — мое будущее?» Народ все еще не расходился. Ты смотрела на меня, как это часто бывало с тобой, вне всякого контекста, не отсюда, размыто и в то же время пристально вглядываясь.

«Карменка сказала, что мы опять будем...»

Мы хохотали, обнявшись, мы куда-то шли, мухи делали дыры в воздухе осуществленного социализма, на скамейке сидела банда подпольных поэтов.

«Элиот здесь бы не выжил», — сказал Кривулин; «А Оден и того подавно, загнулся бы», — добавил Охапкин. «Нам нужно ставить памятники, хотя бы потому, что мы не спились», — закончил Кузьминский.

Блеснула Нева. Катер отчаливал на Острова. Молоденький матросик придержал канат, мы прыгнули, речной ветер ударил в лицо...

У меня есть фотография на обложку: ты сидишь на корме в белом пиджачке с Bloshinoго рынка, летит красный платочек, летят твои волосы — откинув голову, ты пьешь теплую водку из горлышка, забыв про протокол... На снимке отлично вышла всегда студеной невяская волна и Петропавловка с золотым шпилем; небо было удивительно чистое в тот день.

* * *

Если я о чем и жалею нынче, если меня и тянет вспять, то лишь в подмосковный дачный полдень да на Острова. За сущую чепуху я нанял неуклюжую плоскодонку, всхлипнула вода, весло ударило и разбило желток солнца, пустило золотую рябь, ты легла, опустив руки за борт, обдав сыростью, наехал мост, ноги твои заголились, сетка горячей светотени закрыла нас. Как я ни искал безлюдной отмели или папоротниковых джунглей, все было бесполезно: народец распивал пиво и распевал песни; убегали с хохотом от преследователей розовоплечие няяды, пускал слезу и стучал костылем, глядя на них, застиранный до белёсости инвалид.

Благословен мирный полдень и отсутствие лозунгов на Островах, благословен жужжащий моторчик шмеля, не осведомленная в валютных тонкостях лягушка, ржавый бок старого баркаса!

Мы пришвартовались к нему, часики твои совсем немилосердно вдавились в мою шею. Ах, ты всегда была щедра, с тобою не нужно было терять голову, с тобою наступало имеющее глубокий смысл безмыслие. Дура чайка что-то прокричала над нами. Нет, она не сглазила меня, хитрая смуглянка!

* * *

Мы обедали на Невском. «Ну что ты все ешь меня глазами? — улыбнулась Лидия. — Объешься — тошнить будет...» За окном валил, все закрашивая, снег. До августа, до солнечных Островов, было далеко. Небранный официант кимарил в углу. Таракан сидел на зеркале. Спички отсырели и ломались. «Иди первый, — попросила она, — будь хорошим мальчиком...»

Сучья жизнь! Кариатиды дворца плавилась у меня в глазах, несущийся вскачь троллейбус размыло до цветного пятна... Я свернул на канал. «Аты-баты, шли солдаты, аты-баты, на базар...» Взвод матросиков шлепал в баню. Кирза месила снег. «Может быть... — сказала она ночью, — не знаю, может быть, приеду...» Разве мало в Москве красивых девочек? В Париже веселых мужичков?.. Такси тащилось навстречу. Я сделал пальцами V. Моя победа, в переводе на советский, означала, что плачу я вдвое.

Такси, подняв волну грязи, тормознуло. «Куда едем?» — высунулся дядя. «В Париж, — сказал я, садясь, — отвези меня, шеф, в Париж». Он опустил голову, вычисляя, шучу ли я. «Ресторан, что ли, новый?» — наконец повернулся он. «Кол тебе по географии, — сказал я. — Давай на Московский вокзал...» — «Все вы такие, — крутанул он баранку, — москали. Все, черти, шутите!..»

* * *

Пять дней в феврале. Три дня в марте. Еще три в конце марта. Неделя на Пасху. Такси, самолеты, переезды, интуристовские отели, бары для иностранцев. И везде одно и то же: кое-как сброшенная на пол одежда, развороченные внутренности чемодана — где-то у меня была здесь фляжечка — и обморок за обмороком, все дальше задвигаясь, все глубже проваливаясь, взрываясь всегда вместе, истончая внешний мир уже до какой-то невыносимой бледности, до сладкой зыби...

И всегда, раньше или позже, стук в дверь: мадам переводчицу требуют по срочному делу... Кретины! Единственно срочным делом было для мадам переводчицы мычать да кусать подушку!..

Она, пошатываясь, одевалась, недовольно морщась, разглядывала себя в зеркале, отпивала из бутылочки изрядный глоток кинзмараули.

«Спи, — говорила ты, — я сейчас вернусь. Если кто постучит, не отвечай...»

И она запирала меня на третьем этаже гостиницы Националь, на шестом России, на одиннадцатом Интуриста, и я слышал, как ее усталый голос преобразался, приветливо выпрашивал, какое, к чертям собачьим, случилось мероприятие, оно же — происшествие. Конечно, чаще всего это были проделки поэтажных надзирательниц, хитрющих ведьм все из той же уныло-могущественной конторы. Лидия привозила целые корзины мелких даров — задабривать прожорливую систему. В дело шли чулки, авторучки, сигареты, заколки, пудра, одеколон, зажигалки. Швейцары, официантки, этажные, уборщицы, таксисты — все получали свой вещевой паек. Временно нас оставляли в покое. Потом объявлялась вторая смена, или у этажной случалась беда: крали скляночку французского лака для ногтей и она сидела зареванная, или, что происходило регулярно, шла обычная двойная игра: принимались дары, но все же сообщалось в дежурку, что в номере у нее торчит неизвестная личность.

Однажды в Киеве поворот ключа разомкнул створки моей дремоты, и я, идиот, улыбнулся открывшейся двери — в номер вошли и уставились на меня двое местного засола, коренастых и чернявых, оперативника. Они кисло рассматривали меня, я был крайне мало одет — сапоги, вот и все, что уцелело на мне, когда нас настигла гроза нашей тра-та-та (придумай другое слово). Мне было так далеко до мира этих тупорылых, я был так глубоко перепахан любовью, что единственное, что я сделал, и спасло меня: я взял со стола пачку сигарет, закурил и бросил им. Они улыбнулись, и их размыло. Советский человек не мог бы отреагировать с таким равнодушием к ситуации — тревога, страх, простое смущение выдали бы его. И не то чтобы я обнаглел в итоге, нет, просто с тобой во мне открывалось что-то мне самому неизвестное, я начинал действовать по-другому, вернее, я просто-напросто начинал действовать...

В другой раз, в столице мира, раздраженный постоянным приставанием разнокалиберных стукачей, я отправился к этажной и, показав ей свое фуфловое журналистское удостоверение обратной вполне гэбэшного цвета стороной, спросил какую-то чепуху: номер телефона шереметьевского аэропорта, дату рождения Мао Цзэдуна, длину экватора в дюймах... Нас немедленно оставили в покое.

Но если не нужно было ехать, лететь, тащиться с группой зевак по расколдованным аттракционными местами Союза, мы запирались в замоскворецкой квартире, и в часах кончался завод. Я обнаружил время внутри времени; природа его была неподвластна грубому математическому учету, зато реагировала на такие мелочи, как смех, отсутствие сигарет или простое прикосновение руки к разгоряченной коже.

* * *

Май был полон тяжелых стремительных гроз. Роскошные брюхастые тучи, криво застегнутые на лиловые трескучие молнии, надвигались со всех сторон. Темнело. Заходилась плачем здоровенный пупс, забытый в коляске под топодем. Хлопали окна. Замирало. Рушилось. А через десять минут солнце уже горело на новеньких глянцевах листьях отцветшей сирени, от земли шел пар, пар шел от тарелок борща на столе. Воробьи аккомпанировали Чико Буарке — крутился тобой привезенный кассетник. Ты сидела с ногами в кресле, курила, глядела исподлобья.

«Что мне нравится в тебе, — говорила ты, — так это то, что ты богат и имеешь солидный пост. За это я прощаю тебе и седую голову, и фальшивые зубы. Налей тете водочки...»

«Хочешь, — спрашивал я, доставая из холодильника чудом добытую банку, — апельсинового сока?»

«Разве я больна?» — удивилась ты.

Шелк, употребляемый для известных сравнений, давно протерт до дыр. Твоя кожа была нежнее шелка. Но самое удивительное, драгоценное в тебе, было ощущение благодатной тяжести, тяжести, долго имевшей для меня неуловимый смысл. Я конфисковал в городе Париже, в одной захлавленной несчастьем квартирке, твою безнадежно юную фотографию: полосатый купальник, Лазурный берег, обломок кариозной скалы. У тебя взгляд пытливой девчонки, ты ворожишь, заглядывая в объектив, но ты уже тяжела. Слово это не имеет ничего общего с весом. Просто тебя нужно делить на два. Но что действительно сводило меня с ума — перепад температур (эскулапы здесь не причем!) различных частей твоего тела. Приступ малярии, хихикающий из надвигающейся тьмы последней главы, безнадежно пародирует горячие и холодные окаты, сквозь которые двигались те дни. Даже сейчас, под анестезией моей горячей к тебе нелюбви, по заливке моему хлещет озноб.

Слишком много плоти. Слишком много лежания вместе. Слишком много этих ленивых до поры до времени касаний. Слишком много глядений в глаза. Всего было слишком много: глупых слов, неизбежной в нашем с тобой случае водки, которая не действовала до последнего прощания, до проклятого КПП Шереметьева, до мостика, по которому ты шла, улыбаясь, в другой мир, к белобрысым затылкам солдатиков паспортного контроля.

Ты была щедра. Ты была умна сердцем. Ты была терпелива. Через тебя хлестал в мою жизнь неизвестный мне мир. Со мною, по крайней мере я так думал, ты получала свою Россию. Ты была моим первым свободным человеком. Без метафизических потуг. С тобой я начал меняться: поползла кожа, затрещали суставы, я начал вставать с четверенек. Я набирал силу день за днем. Передовое общество все еще кололось, но уже не кусалось. Казалось, еще момент — и лопнут к чертям последние перегородки, затрещит фанерный мир, проступит неподдельная реальность... Ты рожала меня, а я забывал о твоих муках, я дергался, ожидая света. Я не подозревал, что ты сама на исходе сил.

* * *

Скорость наших отношений вырывала нас из реальности. Три дня за два месяца? Два месяца за три дня! О, ты научила меня многому: быть позитивным в кислейших ситуациях; тому, что лишь сильный может позволить себе быть слабым... Ты пыталась пробудить меня от мечтаний, ты распахивала окно.

«Сирень», — говорил я.

«А дальше?» — спрашивала ты.

«Облако», — отвечал я.

«Еще? Еще!»

«Самолет... тащит нитку воздушной пряжи...»

«О-о-о, — вздыхала ты, — а где скамейка? Где лужа, гараж, помойка, белье на веревках?»

«Любовь», — говорил я.

«Тра-та-та, — жмурилась ты. — Осторожно, — просила, — мальчик мой, умоляю тебя, осторожно... Это ужасное слово... »

* * *

Я полюбил аэродромы: особенно провинциальные караван-сарай с увядшими ромашками в зале для иностранцев; с табором страдальцев, ожидающих вестей с неба, в общем зале. Я освоил приемы общения с различного сорта буддами, восседающими за стеклом одинаково мрачных касс. Я больше не обращал внимания на то, что билетов не было. Их не было с семнадцатого года. Я выучил имена больших заоблачных начальников и лишь мимоходом интересовался их здоровьем (в Симферополе) или семейной ситуацией (в Киеве). Билет при этом я брал неохотно, почти с сожалением.

Оказалось, что если сосредоточиться и психологически не выходить из роли, проблемы этой, из проблем состоящей, страны — исчезали. Нужно было лишь, чтобы маленькие начальники верили в твою принадлежность к большим. А для этого существовала своя сигнализация, язык полуприказов, полугроз.

Я обнаглел до того, что несколько раз проходил без всякого билета, затесавшись в твою труппу. Стюардесса считала своих баранов. «Who's afraid of Virginia Wolf?» — шептал я ей на ухо, но она не отвечала и лишь милейшим образом улыбалась. В счете выходил перебой, старушка из Гренобля оказывалась лишней, арифметика начиналась сначала, но в это время я уже скрывался за спинкой последнего кресла, и дважды два опять выходило четыре. С пачкой паспортов ты пробиралась к последнему ряду, и тогда, словно я был у тебя в сумке, на соседнем кресле прорастал и я.

Билетов не было, но самолеты летали полупустыми. Так мы перебирались из Риги в Сочи, из отвратительного Минска в отвратительный Воджегоorsk. Как хорошо, что ты никогда не носила джинсы... Мы курили втихаря заранее свернутую травку, была ночь; одеяло сползло на пол; я был преступно спокоен.

* * *

Ты не могла прилетать как частный турист. Слишком дорого и слишком ясно для сов, что ты частишь неспроста. Но и переводчицей часто не выходило. Все было — «может быть». Все было под вопросом. И все держалось на тебе. Как всегда, в делах «Интуриста» был полный бордель. Мы никогда не знали точно, прибывает ли самолет вовремя, не переменят ли гостиницу или программу. Я ждал тебя в Питере, напротив Исаакя: час, два, три... Входили в гостиницу японцы, привозили в отключку пьяных финнов, наваливались когортой немцы, лишь французы куда-то пропали. Я звонил в Москву — так и есть — вас посадили в столице.

На одну единственную ночь я перелетал к тебе; мы встречались в два часа ночи посередине клумбы (пятиконечная звезда, георгины) в Зарядье. На тебе была разлетающаяся накидка, лихо на глаза надвинутая шляпа. Куда мы шли? Город был мертв, пуст, вымыт. Мы шли в бар для иностранцев, в гнусный привилегированный подвальчик, где здоровенные ряхи играли что-то а-ля-рюс. Пятьдесят на пятьдесят: на одного иноподданного один стукач. Спать идти не имело смысла: утром по программе твоей группы мы улетали в Питер.

Не все мне сходило с рук. Особенно в Шереметьево. Как-то с грузинскими цветочками, задерганной мордой я ждал тебя в толпе дипломатов, работников фирм и мидовцев. Народ все шел, а тебя все не было. Но в тот момент, когда я тебя увидел, двое солдатиков пригласили меня на тур вальса. Раз-два-три, раз-два-три... Ты проходила таможенный досмотр, меня тащили

под руки в закуток возле сортира: намозолил я глаза начальству Главной Дыры в железном занавесе. Я не качал права и не жалобился, я давно заметил высокие хромовые сапоги под кремовой шторой второго этажа. Самого капитана не было видно, лишь эти неподвижные сапоги. Он был прав — какого хрена я торчу на границе двух миров? Я безмятежно перевел тебя в категорию близких родственников, что было неподдельной правдой. Удостоверение прессы и тут меня выручило... В Союзе так мало вишневых с золотом удостоверений...

Ты все еще была за цепочкой охраны, когда меня выпустили. Я никогда не мог обнять тебя в этом зверинце, мы лишь улыбались издали друг другу.

Я бы повесил мемориальную доску в буфетике этого заведения: столько прощаний, столько удушных на полпути слов. Под китчевыми советскими зодиаками — Водолей крутит колесо гидроэлектростанции, Близнецы обмениваются классовым опытом, Козерог сдает рога на пуговицы, Стрелец целится дяде Сэму в глаз — за мокрыми столиками мы пили жидкий кофе, я заплетал косички твоей шали, таксисты набирали попутчиков в Москву, объявляли рейс на Токио, мальчики и девочки, обладатели свободных паспортов, тащили свои сумки.

«Береги себя, — говорила ты, — не оставайся один, прошу тебя, хочешь, я пришлю тебе какую-нибудь японочку?»

Я хмыкал, я давно уже не мог вернуться к скучному слипанию с остальной частью женского населения планеты. После тебя это было издевкой...

«Ну, мне пора», — говорила ты, твое стадо уже маялось на выходе, поглядывая на нас. Я трогал твою руку, ты улыбалась, я отворачивался. Потом я стоял внизу у стеклянных дверей и ждал, пока ты мелькнешь на лестнице: две-три секунды перед тем, как выскользнуть в иной мир. Ты появлялась — знакомая до бреда, до бреда уже нереальная, я получал четверть твоей улыбки, поворачивался и шел на улицу.

Рейсовый автобус бил копытом на стоянке. Я сел, меня трясло, и прижавшись, вдавившись в грязное стекло окна, я отдавался процессу влаговыведения, старательно приглушая всхлипы.

Я был лишен хоть какой-нибудь возможности выбора. Я мог лишь ждать, сидеть душой-пенелопой и надеяться, что тебе не закроют визу, что у тебя достанет сил тянуть эту историю, что меня не загребут за нежелательные контакты, которых теперь становилось все больше и больше. Сесть на этот раз означало совсем другое — навсегда потерять тебя.

Я был невыездным, о'кей! Но посадка теперь имела для меня новую цену. Меж тем я как раз делал все возможное, чтобы отправиться глазеть на северное сияние. Причина была одна — деньги.

* * *

Нужно было как-то покрывать эти немыслимые для меня расходы: перелеты, такси, рестораны, взятки. Я решил переговорить с Рождером. Мы встретились на крыше Нерензея. Дети гоняли в салки, старушки сплетничали за вязкой, Москва, крупно нарезанная проспектами, лежала внизу; купола церквей сверкали в лучах заходящего солнца. Я встал так, чтобы видеть входную дверь на крышу — после нас никто не вошел, мы могли говорить. Но Роджер сразу же отказался от моего предложения.

«Я могу помочь вывезти твои рукописи, твои собственные вещи, если тебе нужно, но не антиквар. У меня и так хреновые дела с вашими джеймс бондами. Кажется, они меня наметили на роль очередной жертвы и собираются выслать, если Вашингтон объявит персоной нон грата очередного Иванова, засветившегося на техническом шпионаже или, что хуже, вербовке вдребезги голубых морских пехотинцев... Короче, они меня держат на мушке... У меня и так слишком много нежелательных контактов. Но, черт побери, Тим, давай я тебе дам денег? Не стесняйся. Отдашь, когда сможешь. Я буду рад тебе помочь. Подумай...»

Роджер отпал. Лидия меня познакомила с несколькими французскими бизнесменами, но у них не было никакого прикрытия, а я не мог, однажды решившись и рассчитав все ходы, провалиться в самом важном звене. В моем списке на последнем месте стоял красавчик Рафаэль. К моему удивлению, он согласился с полуслова.

* * *

Я почти не видел Тоню, не видел Осю и Саню. Я больше не писал, не читал, не участвовал в чердачных хэпенингах, не шлялся по нелегальным выставкам. Мне все было неинтересно. Никита вывел меня на семью харьковских отъезжантов. Я должен был обеспечить отправку за бугор их сокровищ. Среди колечек, золотых цепочек, довольно крупных камушков, подстаканников, брошек с изумрудами и чьих-то автографов там была отличная, не позже пятнадцатого века Троица, два зимних пейзажа, довольно грубо намалеванных поверх старой грунтовки, великолепное пасхальное яйцо и рисунок пером Дюрера. За переправку я должен был получить изрядную сумму наличными, а Рафаэль роскошную доску с более поздним окладом (золото, эмаль, проба на месте). Аукционная цена иконы, предположительно, была около пяти тысяч долларов. По крайней мере, в каталоге аукциона Кристи более бледная икона той же эпохи и схожего сюжета была оценена в две тысячи фунтов.

Рафаэль не рисковал ничем. Харьковская семья — деньгами. Я — посадкой.

В начале августа, за неделю до твоего приезда, я получил аванс и тяжеленный чемодан эпохи рок-н-роллов. Меня ласково предупредили, что в случае неудачных телодвижений и ошибок с моей стороны будут приняты соответствующие меры. Все шло через Никиту: я не знал ни одного имени, не видел ни одного лица. В то же время меня показали хозяевам...

Я выбрал бойкую вечернюю стоянку такси в центре города. Два первых поворота были без светофора, а дальше начинались сказочные проходные дворы, кривые переулки, сразу за ними — прямая, обычно пустая в этом месте набережная. Был душный вечер, все полыхало у меня в глазах. То, что меня пасли последние полгода, было ясно как божий день. Не плотно, время от времени. Стоило меня лишь захватить с этим синдбадовским сундуком — так, проверки ради, — и здравствуй грусть!.. У меня было огромное искушение избавиться от него: передать хромящему мимо инвалиду всех войн, просто оставить на стоянке, оттаранить в ближайший околоток, раскрыть и предлагать публике по копейным ценам... Врежь мне кто по кумполу в тот момент, я бы выпустил из рук свинцовый чемодан и вырубился бы надолго и с облегчением. Но народ в очереди попался мирный, вечерний. Обсуждали проблемы зимних сапог («Завезли в Дом обуви, очередь на километр...») и перемены климата (В наше-то время лето было летом, а уж зима — зимой. Нынче же...»).

Подошла моя очередь. Я пропустил парочку старушек, они залепетали что-то про невиданную вежливость. В отдалении показался бмв Рафаэля. Я оглядел площадь — все было тихо, скользил вдаль одинокий велосипед, дежурных наружек не было и в помине. Бмв приближался, я сделал шаг, выходя из очереди, моментально почувствовав на себе взгляды сознательных граждан. Задняя дверь была приоткрыта, он придерживал ее рукой. Было странное понимание между мной и людьми на стоянке: все прекрасно знали, что происходит недолжное, что вся загвоздка в отсутствии милиционера или дяди в штатском. Я был уверен, что кто-то уже пережевывал губами номер иностранной машины... Ах, нехорошее это дело садиться в такую красивую машину да с чемоданом в руке... По лбу у меня катился пот, в машине пахло духами. Рафаэль улыбался. Мы нырнули в проулок, выскочили на набережную — был лиловый мирный вечер — и тут чертиком выскочивший из-под земли постовой в белых перчатках остановил нас: еще крутилось колесо опрокинутого велосипеда, шел, расстегивая на ходу шлем, понурый мотоциклист и лежал, дергаясь на проезжей части, худой пацан в динамовской футболке. Милиционер указал нам объезд, и, уже на повороте к Кремлю, навстречу нам выскочила и надала, захлебываясь плачем, скорая помощь.

Не знаю, чем он мне не приглянулся сначала, он был отличный малый, Рафаэль. Он переводил Бодлера, отлично разбирался в живописи, был неподдельно внимателен, его пластинки были подобраны по высшему классу, его юмор ничего общего не имел с обычным хохмливый выпендриванием аморального меньшинства. Служанки не было, но ужин ждал в духовке. Не помню, что мы ели и пили, лишь всплывает изряднейшая полночь да крейцера соната с Иегудием Менухиным.

«Оставайся ночевать, — сказал он. — Мне легче тебя вывезти утром; да и тебя сейчас ничего не стоит зацапать: хотя и не с чем — вид у тебя дурной».

Он отвел меня в комнату для гостей, и я почти сразу, все еще с коньяком в руке, кое-как раздевшись, заснул. Проснулся я как от толчка. Комната была черна, лишь стрекотали часы, кто-то гладил меня по спине. Я не повернулся, я лежал с открытыми глазами, в конце концов, это даже было приятно, я лишь должен был побороть туповатый внутренний протест. Но через какую-то скомканную паузу я услышал собственный тихий и хриплый шопот: «I'm tired, man... Sorry, tired, I'm terribly tired...»

* * *

Я был богат в тот раз. Я купил у Никитки старые русские кораллы для тебя — пять тяжелых нисок с серебром. Ты была в Ялте. Мест в интуристовской гостинице, естественно, не было. Никита дал мне адрес капитана ГБ.

«Алкаш, — сказал он, — в трезвом виде невыносим. Все устроит».

Я добрался из Симферополя до Ялты на самосвале. В гостинице никто не шевельнулся узнать, кто я такой. Я спросил по-английски номер твоей комнаты. Дверь была не заперта. Ты спала, разметавшись, среди сбитых простынь. Я сел на балконе. Внизу было море, бетонными стенами огороженный пляж. Пахло гниющими водорослями, чесноком, кремом для загара. Ты со стоном проснулась, завернувшись в простыню, вышла на балкон; лицо твое было покрыто потом.

«Мне приснился кошмар, — сказала ты, закуривая, — словно я иду по Сен-Мишелю сквозь демонстрацию и пули попадают в меня и вязнут во мне... Мы приехали поздно вчера, и, только заснули, нас разбудил шум: какой-то югослав выбросился с последнего этажа... Рабочий, строил этот отель. Наверху у них что-то вроде клуба...»

И замолчав, ты прижалась ко мне и мы стояли, как на чьих-то похоронах, и сердце твое билось в два раза быстрее моего...

* * *

Капитан оказался маленьким облысевшим человеком. Насколько я понял, он завалился на чем-то в Сомали. Теперь он тихо спивался — отпаивался, по его словам — в своей запущенной квартирке рядом с Ливадийским дворцом. Он дал мне ключ, но мы провели там лишь несколько часов. Невозможно было жаркой ночью сжимать друг друга в объятиях, чувствуя за фанерной перегородкой лежащее на раскладушке одно большое, огненно воспаленное, заросшее волосами ухо.

Я перебрался в твой номер, очередная этажная надзирательница получила скляночку духов, и все затихло. Лишь накатывалось море да развозил по нему бодрые песни прогулочный пароходик. На интуристовском пляже поджаривались восточные немцы, в баре было навалом выпивки, сморщенная ведьма в закутке, огороженном сеткой, выдавала деревянные лежаки. Рядом, в пятидесяти метрах, был пляж аборигенов — серая пустыня крупной гальки. Я лил тебе на спину масло, растирал. Было тихо, спокойно, твои волосы быстро выгорали. Перед самым отъездом мы отправились в горы на левой машине: виток за витком среди перегретых

сухих сосен. Там, над Ялтой, мы сидели над озером на прохладной террасе ресторана, улыбочивые официанты открывали саперави, тащили перепелок, горячий, свежее выпеченный хлеб.

«Сюда, — отвечал я на твое удивление, — могут добраться только местные нувориши, начальство или иностранцы. Оттого-то обслуга и не стервозна».

«Все-то ты видишь в черном свете, — вдруг сказала ты. — Почему бы тебе просто не думать о людях лучше?»

Я поперхнулся. Я откровенно ненавидел Ялту, заповедник советского истэблшмента, иностранных туристов, гостей Кремля — жирное, гноющееся, продажное место.

«Ненавидеть легче всего», — сказала ты.

Что-то новое было в твоих глазах. Что-то сквозило за твоими словами. Я протянул руку поправить твою челку.

«Оставь!» — сказала ты резко. Ялтинская тишина оборачивалась затишьем.

Еще в первый раз (во второй, когда ты приехала уже ко мне) ты привезла и оставила на столе туго набитую сумку.

«Что это?» — спросил я.

«Детишкам на пряники, — ответила ты. — Чепуха с Блошиного рынка. Продашь, будут деньги меня угощать...»

Я отдал сумку Понту. Там были джинсы, рубашки, духи, зажигалки, еще что-то. Перед самым твоим отъездом ты попросила достать икры — в открытой продаже ее практически не было. Мы обегали несколько веселых буфетов и в итоге купили за двойную цену у официанта в Пеште. За два килограмма мы выкладывали (с помощью Понта) всего лишь потрепанные ливайсы. Ты старалась взять с собой как можно больше: четыре, шесть килограмм — икра окупала все твои поездки. Времена еще были терпимые, таможенники заигрывали с тобой, пока ты пропихивала сумки на выход. Конечно, случалось, что и отбирали. С твоими знакомыми я отправлял в Париж что мог: шелковые русские шали, кубинские сигары, янтарь, бухарское серебро. Рафаэль отослал с одним из своих мальчиков немного старья: складень XVIII века — перегородчатая эмаль, несколько сухих легких, с помощью Никиты надыбанных досок.

«Складень, писала ты, оказался подделкой, иконы — отличным письмом, может быть, даже конца семнадцатого века. Но на их реставрацию нужны были деньги. — Дядя мой, — продолжала ты, — предпочитает «Ромео-и-Джульетта» или «Хосе Женевьев». Пришли ему что-нибудь ко дню рождения...»

Это означало, что сигары идут хорошо и что это реальнее эмали и финифти. Конечно, я был дитятей по сравнению с людьми, которые проявились теперь из мутной тьмы, заполненных ожиданием Лидии, будней. Народ скупал драгоценные камни, редкие монеты, марки. Деньги вкладывались с расчетом легчайшего вывоза. Князь Б., встреченный мной в консерватории, конечно же, все знал и, отпустив злую шутку насчет перемены моей профессии, предложил натюрморт... Гитлера. Дьячок из Сокольнического храма, бывший сезонный хипарь, поэт-модернист, а ныне экуменический подвижник, осудил мой частный сыск уцелевших икон.

«Меня это не колышет, — отвечал я на странном, среди фарцы подцепленном, языке, — из досок в этой стране жгли костры, делали табуреты и двери — я сам видел дверь в хлеву, сделанную из цельной иконы. Для меня моральной проблемы здесь не существует. Иконы уцелеют на Западе и, нужно будет, вернуться в Россию. А отток флюидов и эманаций — бред для школьников старших классов...»

Он согласился со мной, белобрысый старикан лет двадцати шести, житель города Кельна в настоящий момент...

* * *

Иногда мне казалось, что уехали все. Свалили. Вообще все. Осталась только шайка герантов за кирпичными стенами да пустая, дохлыми танками заставленная страна...

* * *

Я выучил голоса телефонисток международного пункта связи. «Париж, — говорила одна явная стерва, — завтра после четырех, не раньше». Другая специалистка словесных фильтраций была помягче. Я ждал несколько часов, пока где-то проверяли мою фамилию, гадали, какого черта я звоню по телефону выбывшего на Запад потенциального перебежчика и какие последствия для народного хозяйства могут иметь мои мычания и бульканья. Кто-то решал все это. Давали Париж. Твой голос спускался с небес. Было плохо слышно. У тебя были гости. Мы говорили о погоде, о вещах несуществующих. В трубке явно жила кроме нас группа опытных придыхателей. Любой намек попадал в лузу, любое срывание на английский ухудшало слышимость. Ты не могла сказать ни дату возможного приезда, ни положения с визой. «У нас холодно», — говорил я. «Говори громче». — «Холодно. Дожди шпарят». — «Я тебя отвратительно слышу». — «Как ты?» — «Чудесно. Не пью. Худею. А ты?»

А я?

Я больше не жил, я существовал внутри плотного угара ожидания. Я не читал ничего серьезнее Кристи. Я старался просыпаться как можно позже. Я метался из угла в угол моей квартирки, я метался из угла в угол города, и, если встречал знакомых, они с трудом узнавали меня. Я пытался играть в теннис, но те, кому я раньше давал уроки, теперь несли меня вскачь; я превратился в гнилой пень, я не успевал ни к сетке, ни к нестрашному посылу в угол. Мать заставила

меня сделать анализ крови. Чушь! Я был всего лишь навсегда мертв без тебя. Мои письма, все тем же бумерангом засланные в Париж, были полны стонов и воплей в то время; я корчился в каждом слове, я был болен тобой, твоим отсутствием, невозможностью хоть что-нибудь сделать, хоть как-то дотянуться до тебя.

Тоня пришла меня спасать! Милая, нежная Тоня. С букетом астр, с бутылочкой армянского коньяку, с осторожной, словно я был при смерти, улыбкой. Мы все это оставили на столе, включая пугливую улыбочку, мы разворошили и перевернули постель — она плакала, моя бывшая наложница.

«Что с тобой? — утешал я ее. — Я сделал что-нибудь не так? Я тебе больно сделал? Да не молчи же ты!»

Да нет... Все было не так. Просто она знала, что ярость, с которой я в нее вгрызся, никакого отношения к ней не имела...

* * *

«Ты меня случайно застал, — говорила ты, — звони позже или утром».

Ах, девочка моя, разве я выбирал...

«Ты меня еще помнишь?» — интересовался я искусственным голосом.

Ты ласково хмыкала: «Так, чуть-чуть...»

«Заканчивайте», — как будто это было тюремное свидание, встревала телефонистка.

В трубке шуршало разорванное пространство, я лупил кулаком по ручке кресла — московская моя комната, расплывшаяся было до тусклого фона, возвращалась, подсовывая надоевшие детали.

Никогда в жизни я не был так слезлив, задерган и одинок.

Я встретил в то время пугливое взъерошенное создание: валютную блядь из Националя. В ее потерянности мне виделась собственная. Время от времени я оставался у нес. Маленькая, бледная, смолившая одну за другой, ругавшаяся как сапожник, она устраивала меня: она жаловалась и злилась, ни на что не претендуя.

Истории ее были одинаковы: я сижу он подходит можно говорит вас на танец заказал шампанского пошли к нему в номер дал двадцатник зеленью из Канады а Валерка опер говорит посмотри у него нет ли там фотопленок в атташе-кейсе а жена у него на фото как игрушка а кончить он ну никак не может...

Она плохо спала, а когда засыпала, вздрагивала во сне, даже не вздрагивала, а подпрыгивала. Я лежал с открытыми глазами, слушал дождь, проваливался лишь под утро. Она меня не будила; на аккуратной ее кухоньке был сервирован завтрак на одного, лежала какая-нибудь смешная записочка, опечатанная жирным карминным поцелуем...

* * *

В сентябре (группа французских кардиологов, гостиница Россия, конференция Академии наук, поездка в Самарканд и Бухару) я повез тебя за город. Стояло бабье лето. Прозрачные до этого дни словно запотели. Ты была в моем любимом лиловом платье. От станции мы шли узкой тропинкой, заросшей подорожником и дикой ромашкой. Дачный поселок был пуст, лишь мелькал меж сосен и исчезал картуз лесничего да смуглый хулиган жевал яблоко и длинно сплевывал, стоя в распахнутой калитке. Хозяйка, моя добрая приятельница, сидела на горе подушек, рыжая в зеленом боа, курила, не затягиваясь, сигарету в янтарном мундштуке. Белки кувыркались в густой зелени елей, пахло грибами, закипал самовар.

«Сразу после революции, — рассказывала хозяйка, — мы перебрались с мужем из Питера в Москву. Питер был мертв, словно ушел под воду, утонул. Трамвайные пути зарастали травой, одуванчики цвели меж торцов знаменитых площадей, дворцы стояли с выбитыми окнами... Москва же наоборот: бурлила, закипала от энтузиазма, неслась вскачь, как говорил мой муж, торговала будущим оптом и в розницу... Я была худа как палка, острижена под ноль, и дети во дворе, завидев меня, кричали: «Шкелетина идет!..»

Я глядел на тебя сбоку и, как это иногда бывает, видел твоё лицо таким, каким оно будет лет через пятнадцать-двадцать. Мне было грустно, словно я прощался с тобой.. Мы поругались вчера, на самом исходе ночи. Ты кое-как одевалась, собирала вещи.

«А-а, — рычала ты, — как мне надоели твои умирания! Ты болен? Ты больше не сочиняешь свои стишки? Ты без меня не живешь? Вот спасибо! Обрадовал... Я-то думала, я тебе в радость. Bordel de merde! Отстань! Я тебя лечить не собираюсь; меня такой банальный уровень отношений не устраивает. Слезы-мимозы, сопли-вопли...»

«Но, — пытался встрять я, — пойми же, я не могу ничего сделать, я лишь могу сидеть и ждать, ждать, ждать! И ничего больше! Я каждый раз трясусь, что тебя не пустят!»

«Не трясись, ты нашла одну перчатку, не могла найти вторую, швырнула в угол и первую, — не трясись — живи! Я же здесь! Я же приехала? Не провожай меня...»

Я все же вышел с тобой на улицу. Я пытался улыбаться, пытался взять себя в руки, ничего не выходило: меня трясло. Значит, все кончено, думал я, так глупо, так по-идиотски? Какого дьявола я действительно разнылся?

«Лидия... — ты садила в такси, — послушай...»

«Иди к черту, — сказала ты. — Tu m'emmerdes!..»

В девять утра я был в гостинице. Я прошел мимо швейцара как торпеда. Ты была внизу, на завтраке. Я сел рядом, взял чашку, кофе еще был горячий. Ты улыбалась. Глазами, ямочками на щеках, губами.

«Ты пойми, — сказала ты чуть позже в номере шестьсот каком-то, — если я с тобой ругаюсь, это потому, что я тебя ищу. Когда я тебя к черту посылаю, мое отношение к тебе не меняется; я хочу понять, какой ты там внутри себя..., что у тебя там, кроме колючек и греческих трагедий... Ты мне весь нужен, а не только твои... достопримечательности...»

Зазвонил громкий дачный телефон, хозяйка, астматично дыша, опираясь на палку, вышла.

«Оставайся в Москве, — сказала ты вдруг. — В Бухаре будет слишком много работы...»

«Ты не хочешь, чтобы я летел с тобой?» — утренний страх возвращался.

«Нет, — сказала ты, — сиди дома. Сиди и не переживай, а то отправлю тебя в госпиталь...»

Я приеду в конце октября на всю зиму. Я, кажется, взяла здесь работу, на одной хитрой фирме...»

«Правда? — взлетел я. — Правда, о...»

«А потом мы уехали в Китай, — продолжала от дверей хозяйка. — Шанхай в то время был большим и веселым сумасшедшим домом. Везде были русские: молодые, безденежные, но веселые...»

«Мой дед, — начал я автоматически, весь уже погруженный в нашу с Лидией совместную жизнь, — был с секретной миссией в Китае. Там он, по словам бабки моей, пристрастился к опиуму. В детстве у меня были плоские, обшитые зеленым и красным шелком, фигурки мандаринов...»

* * *

Я ожил. Я носился по городу, восстанавливая нужные и ненужные связи, штопая дыры полугодового отсутствия. На радио опять обещали кой-какую работенку. Гаврильчик, пойманный у Милы, советовал подрядиться писать для ЖЗЛ.

«От Понтия Пилата до наших дней: история казней и предательств...», — вставила Мила.

Ося на все смотрел скептически, но все же позвонил какому-то кретину на Мосфильме, и тот согласился просмотреть мою заявку на...

«На что?» — спросил Ося.

«Сценарий детского фильма. Кошей Бессмертный, раскаиваясь, вступает в партию. Змей Горыныч служит на границе. Василиса Премудрая кончает блядовать и торгует первым в мире нетающим мороженым. И так далее. Багдадский вор поступает в уголовный розыск. Граф Монте-Кристо отдает замок пенсионерам. Американские космонавты стыкуются с советскими, и те, перейдя на звездно-полосатую территорию, просят политубежища...»

За неделю до приезда Лидии из военкомата завалился хмурый тип в чине лейтенанта. Его интересовал хозяин замоскворецкой квартиры, исчезнувший поклонник фрау Икс. Визит означал, что пора было сматываться; это было своего рода предупреждение. Я заметался по городу в поисках жилья. Бедная бульварная газетенка, принимающая объявления, обещала тиснуть мой призыв к гражданам Москвы сдать угол счастливой парочке не раньше чем через четыре месяца... Никто никуда не уезжал, меня охватила паника, но заявился шутник Саня с виолончелисткой, розовощекой до неприличия кисонькой, сообщил, что вопреки Марксу «небытие определяет сознание», и я неожиданно опять получил ключи от дачи академика и заверения, что мамашиной ноги там не будет. Заверения были даны как-то кисло, но Саня на кухне пояснил мне, что мамаша распорядилась своей жизнью, наглотавшись персефонных таблеток, и выбыла из рядов строителей будущего.

Мне казалось, что тебе понравится жизнь в этой избушке на курьих ножках. Я выскреб полы, вычистил сад, перевез вещи. Вечером за день до твоего приезда я жег в саду сухие листья. Ветра не было, и дым ровно поднимался к розовому небу. Я был счастлив, так по крайней мере мне казалось, хотя я и не употребляю обычно это слово. Мы будем зимовать вместе. Ты и я. И снег, вороны, и старые яблони под окном. И все проблемы исчезнут, все страхи сойдут на нет...

Любитель идиллий! Создатель иллюзий... Со временем я понял, что вместе с адреналином, желудочным соком, холестерином, мочевиной, тестостероном и прочим я вырабатываю иллюзии. Я — машина иллюзий. Когда набирается несколько тонн, я обрушиваю их на тщательно выбранную жертву и она корчится под обвалом, в конечном счете предпочитая проклятую грубую мерзкую реальность моим, красиво раскрашенным и обставленным, мифам.

* * *

Она приехала на поезде. Сияющая, веселая, с корзиночками, сумками, чемоданами. Я выстроил на перроне всю свою гвардию. Оркестр играл марш военно-воздушных сил. Ося был торжественно-бледен. Никита, перехватывая чемодан, гаркнул: «Твою мать! Вот это баба!..» Тоня утирала поплывший глаз. «Детант в действии», — комментировал Саня.

Нагрузив Осин роллс скарбом, я посадил Лидию в такси — жить у меня она никакого права не имела. Фирма давала ей однокомнатную квартиру на Ленинском проспекте, но там не имел никакого права жить я. Все это нужно было быстро обыграть, отметить в посольстве, а уж потом катиться на дачу.

Я сварганил грандиозный обед в тот раз: заяц, утопившийся в чешском пиве. Никита притаранил два ящика мозельвейна. От цветов было душно — слава Богу, стояли последние сухие дни, — я распахнул окна в сад. Лидия привезла свое стерео и кучу кассет: поселок залихорадило от Стива Уондера. Мы просидели до последней электрички. Все расспрашивали её про Париж. Было тепло, уютно, радостно. Я впервые видел Осю пьяным. Он ронял голову на стол, хмыкал и советовал нам купить корову.

«Купите корову и сделайте ей французские документы. Тогда ее в колхоз не возьмут. А чуть чего — обострение международной напряженности, — вы ее быстренько задворками отбуксируйте в посольство. Еще лучше ее покрасить под французский флаг...»

Они набились все в Осин роллс-ройс; Никита вел машину. Мы остались одни. Обнимая ее, «знаешь», — начал я, но она перебила: «Молчи, молчи. Идем баюшки... Споешь мне колыбельную?»

Глаза ее смеялись.

* * *

«Дело в том, что в равновесии стратегических сил наступил перелом. По улицам столицы в сторону Кремля несли с танковым скрежетом черные лимузины. Паники не было, было всеобщее обалдение, янки, коротко стриженные длинноногие янки наловчились промышленным способом производить свободу. Самое обидное, что лаборатория в Ярославле давным-давно вывела формулу производства синтетической свободы, за что начальник лаборатории, профессор Китайчук, был немедленно расстрелян. Формулу обрили, закоптили, перевязали бечевками и засекретили. Теперь же все пошло коту под хвост. В Чикаго уже шуровала на полную мощность фабрика, выпускающая в день около трехсот тонн высококачественной демагого-устойчивой свободы. Конечно, прежде чем наша разведка сообщила точные сведения, информация просочилась в левую французскую Либерасьон. Серж Люли писал в передовице:

«Нам не нужна свобода по-американски, свобода, которую будут навязывать человечеству насильно — столько-то капель в день...»

Слухи, что американцы собираются распылять свободу над всей Евразией, с каждым днем множились. По радио передавали, что передозировка приводит к ужасающим результатам: выкидыши у беременных женщин, депрессия, помутнение классового сознания, выпадение прямой кишки, рвота, перемежающаяся пением гимнов...

Я начал работать. Увы, вместо того чтобы серьезно подумать, как сварганить для детишек цензурно-съедобный фильм, я катал очередной, на самиздат обреченный, безумный рассказ.

На работу уходили утренние тихие часы, после того, как я провожал Лидию на станцию. Пятнадцать минут электричкой до Москвы давались ей не легко. Она могла бы без проблем взять напрокат машину, но у иностранцев были белые планшеты номеров, мы тут же бы засветились. Закончив с утренней дозой бреда, я убирал дом, готовил обед, стирал. К шести в резиновых сапогах и армейском дождевике по разбитой дороге я отправлялся на станцию.

Товарняки грохотали мимо, блестели мокрые рельсы, подходила моя электричка. Мы встречались где-нибудь у метро, ты совсем по-советски тащила какую-нибудь сумку: немного экзотики из Березки, мясо, которое теперь оставляла по знакомству буфетчица Клава.

Мы шли в гости к Сане на Сивцев Вражек, к Тоне или вынырнувшему из дальневосточной командировки Суматохину. Несколько раз мы обедали у Роджера, но Лидия не совсем ладила с Полой, или, вернее, она так глубоко погрузилась в советскую жизнь, что контрастные встречи выводили ее из себя. Работа на фирме была для нее мучением, настоящим кошмаром, в конце концов она была певицей, артисткой, хиппи по натуре своей, но это был ее единственная легальная зацепка в Союзе. Раза три-четыре мы были с нею в кино, на этом ее энтузиазм к советским фильмам кончился, она несколько раз протаскивала меня в кино клуб при посольстве. Я читал ей вечерами по-русски, совсем как в прадедушкины времена, или мы отправлялись на длинные прогулки по черному набухшему сосняку, и я рассказывал ей мимоходом выдуманные истории из жизни профсоюзных принцев и партийных гадалок. Она молчала. Лидия, оглушенная неожиданно дремучей жизнью, она вообще теперь молчала, и я прозевал момент, когда ее мягкая теплая терпимость перелилась в затаенное, силу набирающее, раздражение.

«Прививки против, как его теперь называли, американского дождя были обязательны. Но все же, изловчившись, можно было сунуть в карман белого халата трешник и получить вместо отравы пять кубиков глюкозы. В то же время по улицам Чикаго прошла мощная, около ста двадцати тысяч участников, демонстрация молодежи. «Мы против загрязнения естественной свободы синтетическим дерьмом» — было написано на голубых плакатах. На черном рынке уже можно было купить флакончик американской свободы, но цены были бешеные. Евгений, однако, решился, и вместе с Анастасией одним преступно голубоглазым вечером они, неизвестно для чего раздевшись, приняли по дозе и, усевшись друг напротив друга, стали ждать...»

* * *

Она не объяснила мне ничего. Я не могу считать объяснением черного цвета взрыв мощностью в несколько мегатонн. Шла первая неделя декабря, от снега и солнца болели глаза. Я глядел в окно, Лидия за моей спиной паковала чемоданы. Чудовищный смысл ею произносимых фраз в моей голове никак не укладывался. Оказывается, я ее использовал, оказывается, она вкалывает на меня, в то время как я кайфую, пестую свои литературные претензии, Омар Хайямом, Хайям Омаром сибаритствую меж перекрахмаленных сугробов и мятых простынь. Я увязался за нею только потому, что она француженка. Я никогда не хотел хоть что-нибудь сделать для нас обоих, для нее, в конце концов, а лишь ныл, что в этой стране действовать невозможно.

Самая интересная часть была по-французски. Без синхронного перевода. Я перестал вникать — она просто спятила! Она выпила литр антифриза или пригоршню, под подкладкой сумки затыренных, ЛСД... Мои друзья меня не знают. Она не видела никого, кто умел бы так хорошо устраиваться.

«Лидия, — повернулся я, — дуреха! Кончай свой бред, я же тебя...»

«Пошел ты знаешь куда со своей любовью! Любовь! Что ты в этом понимаешь?»

Я попытался загородить дверь.

«Уйди, — сказала она тихо. — Все кончено, ты что, не видишь? У меня больше для тебя ничего нет».

Грязного цвета такси стояло у калитки. Она вернулась за вторым чемоданом. Я начал соображать, что она действительно уезжает, и уехать может очень далеко. В страшный для меня аэропорт.

«Слушай, — я назвал ее ночным ее именем, в этой ситуации идиотским, — погоди...»
Мне было жутко.

«Пошел на хуй, — сказала она с чудесным парижским акцентом. — Рожу твою видеть не могу... Сиди в своей могиле. Ковыряй свои болячки. Я не махозистка...»

Самое смешное было в том, что такси не могло стронуться с места, буксовало, расшвыривая перемешанный с песком снег, и не кто иной, как я, упершись ногами в фонарный столб, раскачивал и выталкивал машину.

«Все устроится, — бубнил я, старательно игнорируя вздымающуюся внутри хиросиму. — Все это чушь. Все обойдется. Ведь мы только начали жить...»

Такси выскочило и, напоследок забросав меня грязью, юзом пошло вниз по улочке.

* * *

Она улетела на следующее утро. Я этого не знал и еще с неделю ломился в посольство, дважды побывав в приемной ГБ, где со мною обошлись вполне гуманно, но посоветовали больше не пытаться проскочить на территорию лягушатников. Я побывал на ее фирме — вентиля, трубы, газовая техника — и милейший толстяк мне объяснил, что мадам уволилась и теперь — впрочем, он не уверен — пьет шеверни на веранде Липпа или напротив У Двух Мартышек.

Я плохо помню детали, я был заправлен водкой по самым уши. Я боялся хоть на секунду протрезветь. Тоня наткнулась на меня в винном магазине. Я покупал литровую бутылку пшеничной. Она вlepила мне пощечину, а потом заплакала. Алкаши вокруг ржали. Это от нее я позвонил в Париж. Дали, словно издеваясь, мгновенно. Лидия взяла трубку. Было слышно телевизор.

«Не звони сюда больше», — сказала она.

«Я... Я тебе напишу?» — голос у меня был как у Сатчмо.

«И письма твои читать я не буду... Я понятно говорю? Найди себе другую дуру».

* * *

Сиделкой надо мной просидевший ничем не обозначенную вечность, Ося уверял меня:

«Ваша ошибка, дружище, что вы ее держали за метерлинковскую героиню. А она баба из Воронежа. Понимаете? Она просто баба! Вам Париж все мозги запудрил! Нужно было с нею обращаться как с бабой, а вы ей мантры читали! Хлебникова!..»

Никита был лаконичнее:

«Есть такие бабы, — сказал он, — что хоть не вынимай».

Он заставил меня одеться, мы долго тащились куда-то через метель.

«Я тебе пришлою одну дырочку, — втолковывал он — только ты с нею не валандайся. Подъемный кран. Мертвых из гроба поднимать может. Тебе сейчас нельзя без бабы. Сворачивай».

Мы свернули на тропинку между сугробами, снег все сыпал и сыпал, и Никита постучал в окошко кассы.

«Два билета, — сказал он. — Со скидкой на малолетство».

Это были оранжереи Ботанического сада. Миновав японский сад камней, скрюченный подагрой лес столетних карликовых сосен, целую рощу цветущих лимонов, мы забрались в самый дальний угол. Не было видно ни души. Волны тропического тепла и мелкая водяная пыль из распылителя окатывали нас. Мы устроились, сняв шубы, на мешках с удобрениями. Никита вытащил четвертинку.

«Тебе вообще-то пора подумать о парашюте, — он сорвал пробку, — завязывать, может быть, и не стоит, но притормозить пора... Мы с тобой в баньку пойдем, в Сандуны, выпарим твою бредятину и на пиве спланируем к будням нашей родины. В каждом деле должна быть своя техника. И в том числе и в деле протрезвления. Не бэ. Уделал тебя капиталистический рай?»

И он нырнул в густолистые заросли, где наверняка водились змеюги, мартышки, студентки-лаборантки и заспанные зрители, и появился оттуда с полной шапкой душистых мандаринов.

«Африка, — гоготал он, — и никаких транспортных издержек...»

* * *

В Сандуны мы не пошли, мы поехали за город. По той единственно приличной дороге, что разматывается на юго-запад. На даче нас уже ждали. Охранник с кобурой на боку открыл ворота. Хозяин, известный мне лишь по газетным снимкам — «Да нет же! — поправил меня Никита. — Это его сын», — вышел встречать нас на крыльцо. Стол, заставленный закусками, запотевшие графинчики, неизвестно где припрятанный оркестрик, играющий Вивальди, и девицы: чистенькие, ухоженные, обожравшиеся бляди.

Я был весел и остроумен. Я смешил всех, даже каменнолицую прислугу. Приставленная ко мне мокрогубая красотка и вправду замечательный экземпляр — зверски обтянутая свитером калибра корабельных пушек грудь, изумительные, совершенно пустые ореховые глазщицы, маленький зад, удлинённые нижние конечности — при каждом приступе хохота энергично наваливалась на меня своей надводной частью.

«Майя, — пояснял через стол Никита, — из нашего золотого фонда. Прошу без протокола».

Майя скромно лязгнула ресницами. Я был в том эйфорическом состоянии, когда случайное телодвижение вдруг расплескивает болотце фальшивого веселья и тогда обнажается смрадная пропасть. Хозяин тихим, бесцветным голосом рассказывал об африканском племени, где в танце любви женщина выбирает мужчину, счастливцев сидит, опустив голову, положив ему ногу на плечо.

«Они танцуют в чем мать родила и практически, заводя ногу избранному на шею, показывают свой товар...»

Хозяин оглядел нас исподлобья: седой бобрик волос, мешки под глазами, седые усы, безразличный взгляд. Одного движения пальца его престарелого двойника было достаточно, чтобы поменять Кавказ и Урал местами. Меня он начал злить. Залепить ему семгой морду? У него была хорошая интуиция, на ней они и держатся как на подводных лыжах, он кому-то кивнул, и нас уже вели бесшумной ковровой экскурсией, показывая дом: чередой стерильных, дорого обставленных комнат, кинозал, спальни второго этажа и чудесный кожаный кабинет, о котором только можно было мечтать, с книжными шкафами от пола до потолка, с тяжелыми портьерами, в просвете которых сиял серебряной чеканкой синий вечерний сад.

Майя удержала меня за руку, когда все выходили, она и вправду была хороша, и, скорее всего, ее глупость была лишь расчетливой игрой, гаремной мудростью, умением не раздражать честолюбие заносчивых шейхов. К моему удивлению, она и вправду умудрилась восстановить мое заржавелое оружие, но, когда, раскрасневшаяся, со спущенным на одну ногу исподним, она наделась на меня, *easy rider*, и мы тронулись с места среди кожаных волн чудовищно огромного кресла, я тут же обмяк и капитулировал.

«Ты меня не хочешь?» — мотая головой, сказала она.

«Я-то, может быть, и хочу, но он — автономное государство...»

Она все еще сидела на мне — лифчик на шее, чуть-чуть терлась об меня. Мы кое-как разлепились. Застегивая джинсы, я подошел к стенным шкафам — вот от чего можно было кончить! — здесь было все, чем я когда-то так жадно интересовался. Клеветники режима, высланные из страны философы, мемуары участников славных кровавых дел. И все издано пронумерованным внутренним тиражом...

Она еще не раз в ту ночь пыталась меня осчастливить, Майя. *Per aspera ad astra*, сквозь тернии к звездам, но лишь сама сверзлась в небольшой всхлип и затихла. Как и следовало

ожидать, она была из профессорской семьи, занималась когда-то семантикой в Тарту, но (ее фраза) «грудь перевесила».

«Ты не пропадай, — сказала она, — я тебя вылечу».

«Я не тем болен», — отвечал я, но было это уже утром, в Москве. А пока я сидел один в эвкалиптом пропахшей сауне, и все у меня текло: ручьи пота меж лопаток и по груди и, порядочно, из глаз. Я трясся и даже, думаю, подвывал. Хорошая парилка была у слуги народа. Но меня уже звали за стол — в предбаннике стопкой лежали чистые полотенца, на скамью был брошен мохнатый тулуп. Возвращаясь в дом, я набрал полные пригоршни снега и, как мы это делали в армии, умылся им.

* * *

Это был отличный, queen-size, двуспальный багажник. Рафаэль взял кадиллак посла: старикан отправился в Лозанну подзалатать прохудившееся здоровье и Рафаэль остался поверенным в делах. Везуха! У меня был термос с кофе, фляжка скотча, печенье. Ледяной воздух бил откуда-то сбоку, но мне было наплевать. Машина шла мягко, и лишь на поворотах ныл затылок. Никто, кроме матери, ничего не знал. Она постарела за эти три дня.

«Я все равно уеду, — объяснял я ей. — Не сейчас, так позже. Не через Финляндию, так через Израиль».

«Делай как знаешь», — поджав губы, отвечала она.

Фотография — Лидия, обнимая меня за шею, заглядывает в объектив — давно исчезла с комода.

«Если я останусь, я рано или поздно сяду».

«В этом я не сомневаюсь...» — чуть слышно отвечала она.

За окном неподвижно стоял январь. Многое случилось за последний месяц. Харьковские отъезжанты подослали ко мне смешного убийцу: кепочка, улыбочка, кривой зуб да нож, который он мне показывал, словно предлагал купить... Не все вещи дошли до Вены. Знаю ли я, чем это пахнет. Жареным. Кто-то мухлевал в этой игре. Я был уверен в Рафаэле. Не потому, что он с утра до ночи занимался мною, а потому, что я знал его теперь гораздо лучше. Мудрил, я в этом был уверен, получатель в Вене.

Я прожил у Рафаэля две недели безвылазно. Пил с утра, проснувшись. Около постели всегда стояла бутылка скотча. Рафаэль забивал холодильник выпивкой. Днем я держался на пиве, а к вечеру нагружался ячменной. Он не перечил мне, разговаривал со мною так, словно мы не стояли на разных берегах скотчевого моря. Он готовил еду, прятал снотворное, вышвыривал повадившихся вдруг вставлять лампочки электриков. Я спал, только набравшись до зеленых чертей. Два часа, не больше. Просыпался от ощущения дыры на месте сердца. Пульс сто двадцать. Экстрасистолия. Если зациклиться, начиналась паника.

Я лежал и думал об одном: почему? Потому, что кончился карнавал? Три дня здесь, два там, весело, навывлет, в лихорадке любви. До тех пор пока у одного из нас не начинались легкие неприятности с эпидермой. Вечно под наркозом чередой идущих оргазмов. Так часто, что страхи и сомнения взорваны и распылены. И вдруг — дыра, дожди, проселочная дорога с подслеповатым фонарем, потеря ритма, контора, беготня за продуктами, передовые будни. Некуда в общем-то пойти. Все двусмысленно. Мы уже не набрасывались друг на друга, как в наши урывочные свидания. Она порывалась мне что-то сигнализировать, я понимал это теперь. Но что? Я кропал свой акростих, я распустил в том месяце счастливые сопли, я перестал за нею охотиться. Я думал, что теперь она рядом. А она почувствовала себя нигде.

Может быть, у неё МДП? Выскользнула из одного периода, сверзилась в другой? Слишком просто. Граница двух проклятых систем шла ровно через нас. Через ее шею, грудь и колени. Через мои мозги, ребра и подвеску. Через наш дом, кровать, планы и мечты. Было наивно с

моей стороны думать, что мы презимуем в кое-как налаженной идиллии. Отовсюду торчали гвозди.

Она не снилась мне, сколько по этому поводу я ни усердствовал. Я медитировал в шавасане, стараясь настроиться на ее образ. Бухие медитации! От хуя уши! Лишь однажды, на грани пробуждения, она вылупилась из гнилого яйца тусклого утра — вся завернутая в серебрянную пластиковую амальгаму. Она! Но лишь мои искаженные отражения на ней...

Я отправил ей целую голубятню писем. Как в преисподнюю. Или из. И лишь неделю назад маленькая, вряд ли трезвая, записочка:

«Может быть, стоило бы попробовать еще раз, может быть из этого и вышел бы какой-нибудь толк, но я устала. Ты любишь не меня, а свою любовь ко мне. Как жаль...»

Это её «как жаль» и вернуло меня на землю. Запой кончился. Некоторые странности с Рафаэлем — тоже. Он все понимал. Он был чуток. Как однажды я выдал ему, вполне несправедливо, омерзительно чуток. Я вернулся в свою коммуналку. Нужно было решаться прыгать. Но как?

* * *

Финляндия была его идеей. Он бывал там часто, как и все московские дипломаты, обалдевшие от столичной скуки. Я собрал свои бумаги и вместе с пишущей машинкой передал Роджеру — его таки высылали. Он обещал передать их в Париже Лидии. Больше у меня ничего не было. Мы сделали с Рафаэлем несколько пробных ездов. В БМВ было тесновато. Но мне казалось, что, если нужно будет сложиться в четыре раза, я бы это сделал. Мы ждали, когда уедет лечиться посол. Он, как и его поверенный в делах, был на хорошем счету, на их жаркой родине фонтаном забила нефть и, что важнее, левые идеи, и на Старой площади такие совпадения ценили.

В первый же уикэнд своего полномочного правления Рафаэль сгонял в Выборг. Все прошло как по маслу. Раньше он ждал досмотра и пропуска по сорок минут. На этот же раз машину под флагом дружественной страны пропустили без проволочек.

* * *

Я ждал Рафаэля в Питере. Решено было ехать поздно вечером. Я мог сесть в машину, часа три оставаться в кабине, в тепле, полулежа, конечно... Но было куда проще нырнуть в багажник. Меня интересовало только одно — ССС. Служба сторожевых собак. После армии я ненавидел этих тварей. Откормленные, с первого же прыжка к горлу бросающиеся бестии... Рафаэль израсходовал три диоровских дезодоранта, опрыскивая машину снаружи и изнутри. По моим подсчетам, с момента моего перемещения в багажник и до КПП должно было пройти около полтора часов.

И вот я лежал на спине, упершись ногами в бок машины с такой силой, что ушанка налегла мне на нос. Машина стояла. Мое сердце билось так громко, что казалось было невозможно его не услышать. Глупо, если они не употребляют что-нибудь простенькое, вроде стетоскопа. Я услышал, как Рафаэль открыл дверь машины. Два голоса переговаривались под скрип снега. Слов не разобрать. В какой-то момент все закрыло горячей темной волной. Вот достойный финал! Загнуться в багажнике. Откроют, как крышку гроба. Но зажигание не было выключено.

«Семенов, — крикнул кто-то, — позвони на восьмой!..» Снег хрустит, думал я, так по-русски. Так сухо хрустит снег...

Машина тронулась. Я отвинтил крышку фляжки и, заливая лицо, отпил, сколько мог. Не думать! Не думать! Только не думать. Был момент, когда я начал читать молитву. А машина все поворачивала и поворачивала, проскочили какую-то разухабистую музыку, провал, опять провал, я был весь мокрый, как новорожденный... Иди к дьяволу, сказал я сам себе, со своей

литературщиной! Машина стояла, ключ поворачивался и не мог в замерзшем замке. Наконец замок лязгнул, и вместо крыши какого-нибудь там американского посольства я увидел тяжелые (все те же!) заснеженные лапы елей.

«Садись в машину, быстро! — сказал Рафаэль. Я выбрался почти на четвереньках, холодный ветер прохватил меня насквозь. Рафаэль пил из моей фляжки.

«Ничего... — сказал он, — только не психуй...»

«Где мы?» — спросил я как идиот.

«У них — как это по-русски? Strike, забастовка, ass-holes! Нашли время, кретины...»

«У кого?» — я все еще не понимал.

«У финских таможенников. Граница закрыта».

* * *

Вызов мне сделали быстро. Среди двадцати тысяч русских в Париже нашлось несколько однофамильцев. Месяц ушел на сбор документов: печать здесь, легализация там, справка из нашего фуфлового комитета толстоевских, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, пять рублей маркой, десять в кассу и т. д. Наконец последняя бумага была принята, и ОВИРовская офицерша коротко сказала: ждите.

Некоторые ждали по семь лет. Некоторые всю жизнь. Кое-кто приходил сюда самосжигаться. Некоторые вытаскивали самодельные плакатики, их быстро уволакивали. Некоторые просто рыдали. А мимо шли выездные: туда и обратно, а потом опять туда. Умей вертеться. Нечего трагедии возводить...

Я стал бывать у Гаврильчика, я зачастил к Коломейцу — мне нужно было найти и нажать верную кнопку. Гаврильчик звонил куда-то, врал про мою тетку, издыхающую от любви на берегах Сены. Коломеец просто сказал — сейчас не время, скоро будет конференция по Хельсинкским соглашениям, тогда и будем думать. От Лидии пришла раскаленная записочка — давай прыгай!

За неделю до открытия международной конференции меня дернули в штаб народной дружины — пришли два лба и сказали, что меня «просят зайти». Профессию сидевшего за столом дяди можно было вычислить за километр. Он почти не смотрел на меня, он выдвинул ящик стола и вынул стандартную папку, разбухшую от бумаг. Открыв, он положил ее так, что я мог видеть бледную копию первой страницы «Станции Кноль». Видимо, времена наступали действительно новые.

«Держать вас не будем, — сказал он. — Стране вы не нужны. Езжайте. Посмотрим, что вы там запоете. Получите паспорт на год».

Я старался не сиять. Я вообще боялся шевелить воздух. Я попал в счастливики. Я был уже в дверях, когда дядя усмехнулся:

«Наша ошибка. Нужно было прибрать тебя по делу Зуйкова. Расплодилось вас... Зайдешь в ОВИР в понедельник».

Впервые в жизни я боялся перейти улицу на красный свет. Я стоял на зебре перехода и хмыкал. Ротшильд не был богаче меня. Брежнев не мог сделать ноги...

Боже! Значит, все сначала? Целая жизнь?

* * *

На этот раз были проводы. В Никиткиной квартире негде было упасть в обморок.

«Не забывай», — говорили одни.

«Оставляешь нас», — укоряли другие.

«Дурной ты, — сказал мне поэт-авангардист, — ты же от русского языка уезжаешь, ты же будешь в два счета кончен».

Мать сидела в углу. Удивительно спокойная. Улыбалась. Я подливал ей шампанского.

«Я к тетке Евдокии, пожалуй, съезжу, в Киев...» — сказала она.

Я дал ей денег вчера, все, что осталось после покупки билета. Аэрофлотовская барышня (четыре часа ожидания в очереди) канючила:

«Берите обратный билет сразу. Это выгодно».

«А мне не выгодно», — отвечал я.

Это тоже был устный тест.

Расходились под утро. Скомканно прощались. Лишь Генрих С. напутствовал меня со всей серьезностью да Тоня перекрестила.

В пять утра мы стояли с Никиткой под облетающим кустом бульденежа и отливали.

«Представляешь, — хохотал Никита, — у тебя рейс, а мусора нас сейчас повяжут за поведение, унижающее моральный облик строителя мунизма. Суток на 15...»

«Ты меня отвезешь в аэропорт или мне такси заказать?»

«Я же обещал, — грустно посмотрел на меня Никита, — все будет хок'кей...»

* * *

Его драндулет был в ремонте. Он не смог ничего лучше придумать, чем угнать чьи-то жигули. Мы катили в аэропорт на краденной машине. Я рассматривал улицы без любви, без любви и сожаления. Сталинский стиль-вампир, разбомбленный под идиотские коробки центр, тяжелое Ленинградское шоссе, обставленное номерными заводами, Волоколамское, разрезанное окружной железной дорогой... Все изжито здесь. Все прутья клетки знакомы.

Кроме одной шестой мира есть еще пять...

* * *

«У меня есть кое-что для тебя, — сказал Никита, нагло запарковываясь среди служебных машин. — Но, кажется, это тот единственный раз, когда я на тебя не поставлю».

И он вынул из кармана аккуратно упакованного в носовой платок слоника. Слоник был размером со спичечный коробок: два золотых клыка, в глазах по бриллианту.

«Изумруд, — усмехнулся Никита, — представляешь? Стоял у Понта среди чашек. Я ему говорю — это что? А он «да... так... от бабки осталось. Дед чекистом был, прихватил при аресте какой-то балеринки».

«Дашь, я ему говорю, на комиссию?»

«А что, говорит, бери...»

«Тима, японский бог! Он же, деревня, книжек не читает, историей не интересуется... Этот слонище из знаменитой дюжины, подаренной на заре века в Санкт-Петербурге неким великим князем своей любовнице, любительнице па-де-де. На аукционе Кристи рубиновый слоник из этой же коллекции прошел за сто тысяч зеленю! Фаберже... Ну что? Пронесешь на яйцах? Полмиллиона?»

«Нет, — сказал я, — в ближайшее двадцать минут я сам на себя не поставлю».

«Боишься гинекологического досмотра? В кишку тебе полезут? Ты прав. Но постой, время есть, успеешь на свой гнилой Запад, я тебе мульку на прощанье выдам. Здесь как-то провожали одного одесского умника, никакой политики, голодовок и писем в ООН, катись в свою землю обетованную! Зато знали, что он повезет крупный камушек, в который весь клан бухнул все, что было. Не вертись, успеешь... Знали, что повезет он его в каблуке. Настучал кто-то из любви к ближнему. Короче, ему искромсали шузы вдребезги, его обшмонали от и до и ни хрена не нашли.

— Катитесь, ему говорят, Рабинович, чтоб духу вашего не было...

А он и спрашивает: — Что ж я, в свободный мир в носках теперь поеду?

— А... говорят, возни с вами. Возьмите у брата... И смотрят, чтобы брат ему в карман чего не сунул. Он переобулся. И уехал в Вену. С камушком, как и обещал, в каблуке. Такая мультка... А теперь иди, бог даст — свидимся...»

* * *

В кишку мне не заглядывали. Таможенник лишь облапал мою полупустую сумку и кивнул — проходи. Я поднялся по лестнице, в конце которой всегда исчезала Лидия, передо мной был последний власть надо мной имеющий человек, младший сержант войск МВД. Коротко стриженный, затянутый казах. Взгляд — он напоминал меня при приближении, взгляд на фотографию, еще один — контрольный, и теперь шифры и закорючки моего новенького заграничного паспорта.

«Ну скажи мне, что подпись или печать недействительны? Что моя фамилия написана с оскорбляющей законы страны неграмотностью? Что не хватает двух страниц?»

Он вернул мне паспорт.

Я вышел из СССР.

* * *

Но я не верил, пока мы не сели в самолет. Я не верил и в самолете, пока мы не взлетели. Я не верил и позже, у окна, вглядываясь вниз. И лишь через какое-то время до меня дошло, что я пытаюсь разглядеть границу. Внизу же была серая вода Балтики. Я не верил и тогда, когда внизу, в разрыве туч, мелькнула совсем иначе нарезанная земля, и, лишь когда пошли на посадку, когда показался колючий мех виноградника, я сказал себе — Франция. Наверное, лицо мое корчилось. По крайней мере я больше не управлял мышцами лица — их сводило и дергало.

Милейшая дама из Анжу, которой я в течение четырех часов предлагал разделить со мной быстро убывающее шотландское пойло, старалась не смотреть на меня. Я прочел короткую молитву во спасение пилота и экипажа. Звучала она так:

«Теперь, когда все только начинается, Великий и Всемогущий, дай нам приземлиться пусть и с наименьшим комфортом, пусть с техническими неполадками, я согласен и на пожар, но живьем. Не дай, боже, возможности оголтелому террористу угнать самолет назад в СССР. Пусть колеса найдут в себе силы вытерпеть удар земли в брюхо. Пусть гайки потерпят еще немного, а поршни пусть подумают о скором отдыхе... Если пилот испытывает головокружение или внезапные спазмы терзают его мозг, пусть он рухнет на пульт пятью минутами позже»...

Бах! Мы катимся по бетонному полю. Красный бензовоз мчится с нами наперегонки. Капиталистическое ЭССО написано на его боку.

* * *

Я потерялся в коридорах Орли. Чередой идущие витрины киосков в упор расстреливали радугой. Краски были настолько яркими, что все сливалось вместе и я не мог какое-то время прочесть ни одной надписи. Я не понимал ни слова в бурлении языков вокруг. Я был один в этой толпе. Я был, наконец, совершенно один в мире. Я не был никому нужен. Я ни от кого больше не зависел. Никому не обязан. Я был я.

Полицейский, усатый малый, ни хрена не секший по-английски, показал мне выход. Офицер контроля ткнул ручкой в пункт «цель визита». «Туризм», — проставил я корявыми буквами. Я бы написал «любовь», если бы знал, как пишется.

Лидия не видела, как я подошел. У нее был вид мученицы. До меня это дошло гораздо позже, когда мир опять стал миром, хлеб хлебом, подворотня подворотней, а утро — еще одной свежесвеженной надеждой на чудо. Она смеялась, Лидия. Загорелая, веселая. Совсем другая.

«Ну, здравствуй, изменник родины, — сказала она, — добро пожаловать в наш ад».

У нее был открытый бодрый фольксваген. Мы влетели в Париж через туннели и эстакады по невиданной, до горизонта машинами забитой дороге.

«Нужно нам обмыть твой день рождения, — улыбалась она, — как ты думаешь?»

Мы сидели на веранде, как внутри моего фильма. Только всего было больше: глаз уставал впитывать и глотать. Одно мне далось сразу — качество отношений между людьми: полное отсутствие напряжения. Это было невероятно, это позже я назвал зазором между цивилизованностью и равнодушием...

Я положил руку на ее ладонь. На секунду мне показалось, что она хотела ее отдернуть...

«Ты знаешь, — голова моя кружилась, — я как под водой».

* * *

Она жила в двух шагах от Контрескарп. Все мне напоминало дачную жизнь: летящие занавески на распахнутых окнах, горячий пряный воздух, музыка со всех сторон, забежавший посмотреть на русского дружка сосед. Я заснул в ванне, словно меня выключили. Слава богу, воды в ней было на треть. Лидия разбудила меня, в руках у нее была купальная простыня.

«Аллэ, — сказала она, — есть места поудобнее...»

Я проспал до вечера, до темного невероятного вечера, если не оборвать этот пассаж, не хватит эпитетов. Мы где-то были, что-то ели, меня с кем-то познакомили. В памяти остался огромный сад, освещенный совершеннолетней луной, двухэтажный особняк, окна щедро льющие свет на кусты жимолости, на иглы дрока, и стоящий под окнами стол, молодой хозяин в распахнутой на груди белоснежной рубашке, его приятель, такой же загорелый белозубый блондин, их подружки (одна уже успела разрыдаться по-английски на моем плече, во время короткой прогулки к могильной плите в дебрях сада: — Жан меня не любит!), головокружительно красивая Лидия и я, пытавшийся справиться с бронированным лангустом.

* * *

Кошмар начался сразу, без передышки, лишь только мы вернулись домой. Мне было постелено отдельно, в дальней комнате. С ужасом вспоминаю, что меня прохватила легкая истерика. Все что угодно, но я ехал к ней! Она пришла, разделась. Я обнимал ее и рыдал, как в опере. У нас ничего не вышло, вялая возня, я не чувствовал, что она меня хочет. Мы заснули вместе, но я проснулся один. Было позднее утро. У самого моего лица сидел здоровенный рыжий кот. Когда я окончательно открыл глаза, он повернулся и ушел.

Жан-Ив появился уже на следующий день. Она выслала его лишь на двадцать четыре разорванных часа. За кофе с круасанами — я должна тебе сказать — точки над ё были проставлены. Я понимал, что нужно было куда-то уйти. Но у меня словно расплавились все кости. Я смотрел на нее через стол и хотел лишь одного — отдрать ее так, чтобы она взвыла.

Она спустилась за почтой, я вошел в ее спальню и откинул одеяло:

она могла хотя бы сменить простыни — все вдребезги заляпано их спариванием. Я отчетливо помню, что хихикнул в тот момент, меня понесло в маразм. Это был час и день, когда я погрузился в такой колючий мрак, о существовании которого никогда и не подозревал.

* * *

Жан-Ив мне понравился: прост, сердечен, он ее любил. Невысокий, лысеющий, лет на четырнадцать ее моложе. Опять, как в Москве, я спал, лишь напившись. Еще во сне я боялся проснуться и их услышать. Страх этот, этот бред меня и вышвыривал в липкую, душную ночь.

Все было правдой. Я слышал те несомненные звуки, которыми сопровождался человеческий коитус. Скрип, сопение, гортанные приглушенные стоны и, наконец, ее — я впивался зубами в подушку — ее перекрученный финальный вопль. На третью, кажется, ночь, три с короткими перерывами совокупления, я тихо прокрался на кухню и, выбрав самый большой нож, по лунным пятнам прошел в их спальню.

Она спала, раскрыв рот. Грудь стекла набок. От Жан-Ива осталась лишь пордевшая белесая макушка. Почему-то ее грудь, жалкая, растекшаяся и успокоила меня. Попадись мне в этот момент иная деталь — ее рука у него под одеялом, там, где она любила ее держать, или что-нибудь в этом роде, — безумие мое получило бы толчок. Но они спали, как солдаты после сражения, и я вышел.

Меня подташнивало от запаха. Рыжий кот Кики отправился вместе со мною.

* * *

Мы жили где-то недалеко от Касиса. Дом, увитый бугенвиллией, бассейн с трамплином, плантации роз, виноградник. Ужинали, человек двадцать, под звездами, за длинным, уставленным бутылками столом. Там была черная йогиня из Нью-Йорка с целым выводком (семь) детей. Курчавая интеллектуалка и ее курчавый любовник. Весельчак турок и его длинноногая подружка. Еще несколько пар и несколько неопределившихся одиночек. Лидия. Жена хозяина — шиза, красавица, с огнем меж ног: можно было видеть, как ей не сиделось, как ее выкручивало и вытягивало. Еще какие-то люди. Сам хозяин — седой антикварщик.

Я рассказал ему историю со слоником в день приезда. Теперь он собирался ехать в Союз. Повидать Никиту.

Палило солнце. Ночью все звенело от цикад. На хозяйском порше до моря мы долетали за полчаса. Все занимались одним и тем же. Спаривались. Вечером пели. Утром, все нагишом, загорали, купались в бассейне. Турок, одной рукой придерживая изряднейший член, прыгал с трамплина. Хозяйка, сидя в тени, мазала ноги депилятором. Лидия уходила в верхние комнаты со своим старым приятелем Алексеем. Алексей был французом — то ли Жаном, то ли Жаком, — но прекрасно говорил по-русски. Польская панночка плескалась вместе со мною в голубой воде.

Солнце и каждодневное плаванье делали свое дело. Я оживал. Лазурный берег напоминал мне Крым, а Крым был моим домом. Появились первые конкретные детали, я стал делать наброски для статьи «Насморк свободы». Пот капал на страницы детской тетрадки, буквы плыли.

«Моя память спутана, — писал, я. — Волосы после любви. Шнурки перед побегом. Ночная глыба прошлого иссверлена огоньками сигарет. События давних дней почтовыми марками наклеены как попало. Инспекция проводится впопыхах. Так в перевернутой после обыска квартире ищут спички, чтобы заварить чай... Покидая страну, прощаясь с жизнью, протискиваясь сквозь inferнальный ноль таможни, ничего не возьмешь с собою — ни писем, ни фотографии, на которой сидишь в разеванном счастье, глядя мимо объектива на чьи-то летящие волосы. Мать-мачеха выпускает тебя погулять голым. Слово «родина» впервые звучит угрозой... Давно ли, в цветущих горах, обрывающихся над сморщенной кожей моря, ты говорил себе: стану ли разменивать золото памяти на кислую медь воспоминаний?.. Старая записная книжка, не отобранная лейтенантом в аэропорту — вот мое прошлое. Я смотрю на тайнопись телефонных цифр, на строенные инициалы. Любитель жирной пригородной сирени, бабник, шахматный гений, друг стольких лет — усох до иероглифа, до ржавого звука. Так и жить нам теперь с тобою — под каблучком Мнемозины...»

Сквознячки свободы. Мелкие юркие бесы. Я схватил от этого насморк. Мои глаза слезятся. Я раздираю их в липком сне.

Сквозь шуршание хрупкой утренней тишины я слышу, как по пустой улице медленно ползет, лязгая гусеницами, помоечный танк. Охают переворачиваемые баки. С закрытыми веками я вижу, как лиловый малый в грязных перчатках на пенящейся молодым солнцем розовой улице разглядывает вытащенные из нутра машины драные джинсы. Секунду он думает и откладывает их в сторону. Казнь не состоялась.

... Высокооктановый бензин, пряности из пиццерии, пузырьки духов — вот кокаин переселенца. Волны запахов обвивают тебя со всех сторон, и, прежде чем ухо начинает впитывать музыку чужой речи, прежде чем глаз начнет свывкаться с новой скоростью новых красок, нос уже пьянствует отдельно от всех, грозит аллергией, систематизирует и разлагает, и где-нибудь в подвальчике Шатле выдает резюме: четвертый год после войны, угол Цветного бульвара и Самотеки, бабка, торгующая свежими теплыми ирисками — все тот же запах жженого сахара, свежей карамели.

Ах, чертово разбомбленное детство, трупы ограбленных дугласов за бараками железной дороги, осколки воспоминаний, прочно засевшие под кожей дней... В том-то и фокус, что, начиная жить с нуля, начинаешь новое взрослое детство, где запахи и краски, жесты и гримасы пытаются лечь сверху на затвердевший и уже не белый пласт, рождая иногда чудовищные, иногда трогательные аппликации.

Взрослый ребенок, наивный старик, ты живешь тем же, чем и в пять лет, — первоэмоциями».

* * *

Юг был уловкой. Способом от меня избавиться. Вряд ли она это сама это знала. Просто парижская её квартира была на грани взрыва. Мы почти не разговаривали. Так, несколько пустых фраз в день. В то же время я понимал, что могу получить её назад: не сразу, а через два месяца, полгода, год. Нужно было только ожить, согласиться с происходящим, перестать пожирать ее голодным волчьим взглядом.

Для всех остальных мы были парой. Как бы — парой. Она спала в одной со мною комнате. На разных кроватях. Ночью луна стояла неподвижно в огромном окне. Серебряный мех виноградников стлался до самых холмов. Она спала голая, спала беспокойно, вертясь, ерзая, бормоча что-то неразборчивое, мучаясь сама собою. Лишь однажды она пришла в мою постель — накануне отъезда, ее отъезда. Она была пьяна. Вдребезги пьяна. Я никогда не видел ее такой. Она упала, а не легла рядом. Ее ноги были раздвинуты. Потянула меня к себе. Она вся текла. Как телка. Это было наводнение. Я обнял ее — с нежностью и отвращением. О, это была не она! Тяжелая, горячая, чужая. Я ничего не мог. Тогда с силой, которой я за нею не подразумевал, ухватив мою голову за волосы, она ткнула ее — *rago pro toto* — себе меж ног, и, попав лицом в это месиво раздавшейся, истекающей соком плоти, я понял, что она только что сделала это с кем-то другим:

Жаном, Жаком, Алексеем, хозяином, турком или со всеми вместе...

Я с трудом освободился от этой вдавливающей руки. Она спала, похрапывая, с лужей на простыне, со слипшимися волосами на лбу. Это был конец.

* * *

Лидия уехала после завтрака. Польская панночка переместилась с бортика бассейна в мою комнату.

«*Mais tu es fou!*» — резюмировала она час спустя.

Бледная, со слабой улыбкой, она равномерно икала.

«Я тебе пришлю Мону, — попыталась приподняться она. — Это как раз для нее».

Мона, гостеприимнейшая Мона, явилась с бутылкой шампанского, с тарелкой поздней черешни.

«Я сказала Пьеру, что иду к тебе. Он возится с мушкетом. Купил у кого-то в Борм-де-Мимоза...»

В ней была порода, в этой худой кобылице. В тот длинный, незаметно в вечер соскользнувший полдень она получила все, что предназначалось Лидии, всю мою ярость, всю клокочущую нежность. Сидя ночью под широко распахнутым небом, невпопад отвечая на вопросы антикварщика о петровском фарфоре, еще менее удачно на вопросы нью-йоркской йогини о советских мусульманах-суфи, всматриваясь в посерьезневшее лицо Моны и все еще глупое польской дивы, я в первый раз за долгие месяцы чувствовал себя свободно. Я был пуст, но пустота эта меня не пугала. Я был все еще в лихорадке, но болезнь моя сходила на нет. Я был один, но не был одинок.

Мы расходились поздно. Кто-то нырнул в бассейн в платье и с бокалом в руке. Голые загорелые спины женщин куда-то шли под штоковыми розами, вдоль кустов жасмина, по глазированной луной дороге, ведущей к виноградникам. Мона попросила у мужа ключи от порша. Он не возражал. Кивнув нам на прощанье, он взял садовую лампу и отправился к двери йогини.

Мы где-то были той ночью. То ли у ворот правительственной дачи Жискара, то ли на верхней площади средневекового, террасами над морем стоящего, городка. Одно я помню точно: пожар возле Сен-Рафаэля: тревожное зарево и тени самолетов, сбрасывающих черную воду над горящим сосняком.

Порш делал длинную туннельную дыру в ночи; передвижение было выстрелом. Мона спросила мой парижский телефон. У меня его не было. Она дала мне свой. Я так ей и не позвонил, а под Новый год узнал, что на этом же порше она сверзилась с обрыва, здесь же, на этой дороге, между Сен-Рафаэлем и Сен-Тропе, ночью, после дождя. Об этом мне рассказал ее муж. Мы сидели в Бильбоке, куда он меня пригласил, отличное трио наяривало Night in Tunisia и феллиниевская стопудовая Милица Батерфилд, скорее задрапированная, чем одетая, рычала так, что тряслись стаканы на подносе скользящего по лестнице официанта. Я не знал, что ему ответить. Она явно просилась если не туда, то прочь отсюда, а он поседел задолго до смерти Моны.

* * *

Как скоро я забыл Москву! Как скоро выучил кривой язык парижских улочек... Я где-то жил — там неделю, здесь ночь. Я ходил в ВНЛ в часы, когда на третьем этаже бойкая бабенка варила, рекламы ради, отличный суп в новой скороварке. Пять-шесть клошаров, какая-нибудь зазевавшаяся старушенция и явный внештатник левой газетенки следили за упоительным процессом сохранения витаминов. К сожалению, это был один и тот же, переморковленный, на бульонных кубиках, супец. Впрочем, грех жаловаться. Я посещал Самаритен перед серьезными свиданиями: там в районе шанелей и ланван можно было изрядно окропиться бесплатным одеколоном. Там же, в Самаре, на крыше под оранжевым зонтиком я дописал «Насморк свободы»:

«Недопитое пиво, придавленные томиком Йетса страницы блокнота, облака и серо-розовый равнодушный город... Это город, где жить нельзя, если ты несчастлив... Нет, если тебе плохо, а набережные все же золотят душу, а закат льется мирно и успокаивающе, все еще не так плохо, значит, ожог в душе не так страшен и скоро безобразные струнья опадут, обнажив порозовевшую, но спасшуюся ткань существования...»

Но если тошнит пеплом и пропала надежда, что случайный ветер, неожиданное чудо или точно адресованная помощь освободят от этого серого, тлеющего, уже

равнодушного к боли ожога, тогда здесь жить нельзя. Тогда нужно бежать, завернувшись в плащ, спрятав голову под мышку, молотя промокшими сапогами по мостовым. В любом направлении — лишь бы прочь! Этот город — огромный усилитель, он только напрягает, доводит до предела чувства. И Париж разворачивает их в симфонию, выкручивает ручки громкости до суставного хруста. Как вопит тогда его хваленая красота, как вонзаются в душу иглы соборов, как мерзко шелест падающих листьев платанов, как нескончаем, ни с чем на свете не сравним этот зависший, закисший пронзительный дождичек, как мутна рыжая вода Сены, как безразлична нарочито счастливая толпа, бесконечно текущая мимо твоего остывшего кофе...

Мне попадались в те дни юродивые бабки, завернутые в пластиковые мешки с изыществом, которому позавидовал бы Кристо, одноногие попрошайки, псориазные красотки, изголодавшиеся по мордобою убийцы. Меня преследовали маленькие желтые плакатики всяческих обществ, желающих принять участие в моем самоубийстве. Мой слух был изрезан и кровоточил от рева полицейских и санитарных машин, а все перекрестки Монпарнасов, Сен-Жерменов, Распаев и авеню Обсерватории переходили, сбивая палкой невидимые поганки, бесчисленные слепые горбуны...

Вечерами Париж не пылает костром, а тихо тлеет в лучах заката, косо бьющих с Монмартра. Розовая Сакре-Кёр, теряя вес, под рев гитар идет на взлет. Дешевые украшения ночи, расплавленные духотой, оплывают, теряя резкость. Вечный рубиновый крестик самолета застрял в непогасшем облаке, бессильный пробиться к океану. Первые опавшие листья на острове Сен-Луи танцуют мышинные хороводы на ленивом ночном сквозняке. Над набережной миллионеров восходит луна. И она оплыла огарком. Ни отношения людей, ни приметы мира не могут уплотниться нынче до трезвой конкретности. В Чреве хозяин крошечной лавочки укладывает спать приехавших издалека друзей прямо на пухлых подушках витрины. Дрожат юбки и рубашки на вешалках, китайская чашка вместе с блюдечком ползет к обрыву полки — в магазине совершается дорожная любовь...

Днем я видел голых дам в меховом магазине на улице Лафайет. Их шубы унесли, их меха спрятали от прожорливых маленьких бабочек. Они стояли, растопырив цветущие пальцы, их груди и ноги лишь до половины были вызолочены краской — экономия соблазна... В три утра на Конкорд, отлепившись от потных джинсов, я пронырнул насквозь ледяную чашу фонтана. Незнакомая особь неизвестного пола на всех языках сразу приветствовала мое появление на другом берегу.

«Ты сумасшедший», — сказала оно.

Толстая самокрутка марихуаны напомнила мне трубу Диззи Гиллеси...

Дома в лунной луже на полу валялась исчерканная рукопись. Духота давила потной грудью. Вода в ванной училась считать до тысячи...»

* * *

Я пузырился идеями. Я то придумывал пластиковые книги для чтения в ванной — незамысловатый сюжет, крупный шрифт, развеселые иллюстрации, — то выдавал поток рекламных сюжетов, пьесок, взрывоподобных одноминуток. Я даже послал в фирму, выпускающую дверные глазки, сценарий по Достоевскому. Великий писатель, утопая в бороде, при свете свечи гнет спину над манускриптом. Герой-убийца с топором и горящими глазами поднимается по лестнице. Стук в дверь жертвы. Но старуха-ростовщица, заглянув в дверной глазок и разглядев молодого нигилиста, дверь не открывает, и бедный Достоевский сидит в обалдении над незаконченной рукописью. Из фирмы пришел в свое время ответ (на адрес синеволосой филиппинки, допуск к телу которой разрешался чрезвычайно редко); директор

фирмы писал, что сюжет «Преступления и наказания» вряд ли известен рядовому покупателю французских дверных глазков.

Ночами, рассматривая уютные витрины мебельных магазинов, я придумывал способ забраться вовнутрь. Это ли не решение проблемы, кожаный диван в джунглях веерных пальм, под фальшивым Утрилло? Я спал днем в Бобуре, в библиотеке, за полкой с Толстым и Солженицыным. Пол был выстелен бобриком. В огромном зале было тихо. И пока на улице шелестел гнилой дождик, я кимарил под осторожное перешептывание лилового сенегальца и задастой блондинки. Рядом журчал лингафонный класс, где я и отоварился несколькими уроками. Я не рисковал остаться здесь на ночь, мысль быть запертым на сто ключей не прельщала меня. И все же однажды я продрал глаза в полной темноте. Я долго вертелся на моей выдавшей виды шубе и в итоге второй раз проснулся уже от шума пылесоса. До открытия центра было еще два часа, и мне пришлось поиграть в прятки со здоровым олухом,, впряженным в пылепожиратель.

Ночь на самом деле не пугала меня, я уже недурно знал жизнь набережных, а под мостами, хоть и несло мочой, все же было действительно сухо. Однажды я еще раз приперся в Бобур перед самым закрытием. Я был посрамлен: за польским стендом, рядом с моим, лежал, укутавшись в плед, краснорожий длинноногий бородач; на полу стояла ополовиненная бутылка красного, лежал раскрошенный багет и круг камамбера. К верхней пуговице штормовки поляка был прицеплен фонарик...

Бездомных ночей было не так уж много. В одну из них я открыл для себя крошечное теплое кафе в одном из проулков Чрева. Здоровые усачи мясники тянули красное вино и крыли реформы правительства. Кафе открывалось в четыре утра и закрывалось после ленча. Я встретил здесь Брандо мутным грязным утром. Он был все с тем же усталым прищуром, с хрипотцой в голосе. Шляпа его дамы занимала ровно треть помещения. Но настоящим Сезамом тех дней был подземный супермаркет в квартале Часов. Сезам работал двадцать четыре часа в сутки. Все клошары, все шизы города, маргиналы и проголодавшиеся педрилы собирались здесь под утро. Наплевав на телекамеры, обитатели ступенек Святого Евстахия вскрывали дорогие коробки английских бисквитов и, давясь, пожирали содержимое. Дама лет шестидесяти, за которой числилась решетка метро на перекрестке Риволи и улицы Лувр, хромая мимо стенда с шоколадом, привычным жестом аннексировала здоровенную плитку Золотого Берега, отправив ее в складки вполне цыганской юбки. В закутке между медом и вареньями однажды ночью я чуть не наступил на вторичные признаки средних лет джентльмена, который пил, лежа, из стофранковой бутылки шато-лафита.

* * *

«Время маленьких кофейных чашек, время ветра, лижущегося, как щенок, время вялых от усталости секретов. Знаете ли вы, обратился я к парижанам, струящимся мимо моего столика, что вы двигаетесь по-иному? Ваша обычная дневная, вечерняя, замаянная или свежая пластика движений так же отличается от нашей, как пальто, сшитое фабрикой имени Дружбы Народов, от обычного пиджака, купленного в захудалом Монтройе? Тоталитаризм — веселая штука, некий двигательный паралич, ощущение рамок, тяжести, ограничителей: двигательная самоцензура. Глядите: вот они переваливаются в синем свете вечерней кинохроники по коврам Георгиевского зала, а вот и мы, такие же тюлени, дружно ковыляем через Красную площадь в полиомиелите верноподданничества. Попробуй разреши рукам делать то, что им хочется, они такого натворят! А ногам, скажем, идти туда, куда тянет, — ай-ай! — как бы из этого чего худого не вышло... И пульсируют перекрученные нервные волокна, звенят в ушах звоночки, кипит в крови адреналин, и мы расходимся по домам, советские куклы, походкой, от которой сходят с ума психиатры. Не здесь ли загадка нашего родного

спорта, гипертрофированных мышц, преодоления самоторможения по разрешению сверху?..

Позднее, в побежавших наперегонки денечках, в мутном бульоне подземных станций, я за сто шагов мог определить собрата по счастливому прошлому, двигающегося по платформе с изяществом вытасченного на поверхность краба. Думаете, и я не пробовал ходить так, как тот вечно весенний студент на углу улицы Суфло и Бульмиша? Я тут же чувствовал себя подкуренной тварью, терял мозжечок, облакачивался на мирных старух, наступал на хвосты собак или врезался в тележки с мороженым. О нет, видимо, мне это не суждено — шурыганье парусов, свободный ток воздуха возле висков; не суждено забыть про углы локтей и колен, освободиться от зрячей спины и десяти невидимых пальцев, вцепившихся в шею.

О, вечный глаз с пластмассовой слезой, глядящий из прошлого...

Я весь обмирал от зависти, сидя на скамейке люксембургского сада, глядя, как не идут, а струятся мимо белые и черные, волосатые и лысые, курчавые и бородатые, молодые и кряхтящие. Они текли, их несло временем, а если они спотыкались, значит, в воздухе образовалось сгущение, небольшой тромб из скопившихся поцелуев...

Самый последний клошар, икающий так, что голову его подбрасывало, полз по отвесной, ошпаренной до волдырей августовским солнцем улице Монмартра с такой уродливой грацией, что мне хотелось пустить вокруг него лебединый выводок балеринок, а сверху в прыжке повесить улыбающегося Барышникова...»

* * *

Статья наконец вышла. История моей жизни стала вдруг напоминать мне историю моего героя. Человек улицы, я, кажется, получал контракт на книгу, и мое бродяжничество кончалось.

«В будние дни, — это был последний пассаж «Насморка свободы», — нет ничего лучше на свете пустого огромного парка Сен-Клу. Толстый ковер ржавых листьев съедает все звуки; небо сочится такой густой синевой, что не приведи господь когда-нибудь заглянуть в такого же цвета глаза... Взмокивший фотограф и две манекеницы в пелеринках, шляпках, перчатках, вуалетках, с зонтиками, сумочками, сигаретами в мундштуках, с чисто вымытым пуделем цвета сливочного мороженого, со скучающим ассистентом (фляжка скотча в руке) — все это танцует на маленькой, полной золота поляне, с косыми дорогостоящими лучами позднего солнца, бьющего сквозь облысевшие кроны.

Город виден внизу, серое стадо крыш, пылающие румянцем окна. На пушке телескопа кимарит ворона, изредка давя косяка. И кроме полицейского в воротах, полоумной старухи на пеньке, фотографа с друзьями — в парке ни души. Идеальное место для любви или убийства». Точка. Копирайт. Дата.

В Сен-Клу, судя по всхлипу в крови, мне все еще хотелось затащить Лидию.

* * *

Кло позвала меня к телефону. Голос был незнакомым, с восточным акцентом.

— Я от вашего приятеля из Москвы, — сказал он, — кое-что вам привез... Подъезжайте побыстрее. Я на Восточном вокзале.

У нас оставалось два билета на метро, пачка сигарет и — ни сантима. Кло ходила нечесаная, кое-как одетая.

«Я скоро вернусь», — сказал я от дверей.

«Ага...» — ответила она с безразличием, которое меня давно уже пугало.

Я пулей проскочил мимо двери консержки — баранина, чеснок, вопящий телевизор — за квартиру мы не платили вот уже два месяца. Только идиот вроде меня мог с первых же денег снять шестикомнатную квартиру на набережной Генриха Четвёртого. Плата сжирала все деньги. На жизнь оставалась чепуха. И это учитывая, что Кло вовсе не была рядовой Армии Спасения и выкладывала свою половину.

Шел дождь, бесконечный, занудный — зубная боль, а не дождь. Я все еще сравнивал: этот дождь — с теми, в России, эти дома — с московскими и питерскими, я сравнивал хлеб, молоко, волны Сены, качество заката, носы алкашей, сравнивал все подряд. Я искал разницу, я искал совпадения. Я выбирал, что оставить и что похерить...

До метро было пять минут. До грязного, обшарпанного метро, которое было в сто раз честнее и милее сердцу, чем мрамор московских подземелий. До меня недавно дошло, что советское метро суть продолжение мавзолея: подземный храм, царство мертвых. В нишах там живут пустые постаменты, все еще не занятые бюстами партийных богов; мозаика рассказывает о жизни главного покойника, и от его гробницы на самой красной в мире площади по тайным трубам и туннелям разливается по подземным переходам и станциям леденящая стерильность, мрачная поднадзорность, а заодно и чувство вины, вины в том, что ты не принес себя в жертву его банде, что ты еще жив... Как и мавзолей, как и режим, метро занимается рекламой Аида:

«Наш Аид самый чистый, самый светлый, самый глубокий, самый красивый в мире!», «Помни, что, плюясь в Лимбе, ты, быть может, плюешь в вечность!», «Сделаем десятый круг самым образцовым в Инферно!».

Поэтому я и полюбил парижское метро, дыру, мутный грязный воздух бесконечных коридоров. За невранье. За отсутствие показухи. За честность намерений и соответствие средств и способа выражения. Все эти месяцы в Париже, за исключением лишнего всякого юмора задвига первых недель, я не переставал радоваться неподтасованной действительности: облезлым фасадам Марэ, уличным базарам, попрошайкам с испитыми рожами и лощеным хмырям, болтающим по телефону в кабинах серебряных ягуаров. Все — и собачье дерьмо и рододендроны — было честным. Продавец в лавочке на углу пытался меня наколоть на три франка, пользуясь эмбрионным состоянием моего французского. Двое фликов честнейшим образом пытались мне втолковать, пользуясь жеваной картой города, где я живу. Фашист в кафе честнейшим образом занимался оскорблением соседа и лил ему на пиджак остывший кофе. Ему честно набили морду. Они, думал я, еще не знают, какие они счастливые. Их жизнь еще не разделили на пятилетки, не вычли из их жизней квадратный корень буржуазных предрассудков, не взяли их мертвой хваткой в скобки передовой морали. Они не знают, что такое быть мутантом.

Я чувствовал, что нас не просто обокрали там, дома. Нас наглым образом выебли во все возможные места и заставили клясться, что мы счастливы. Публично клясться.

Меня спрашивают: тебе не хочется назад?

Боже! Я с ужасом думаю об этом. Мне снятся, как и всем эмигрантам, знаменитые сны: я попал куда-нибудь на Арбат, визы нет, паспорта нет, ничего нет, ты снова заперт и приговорен — просыпаешься в холодном поту, и лишь голозадый гений свободы в небесах над Бастилией (в окне светает) успокаивает: я в Париже...

Недалеко от нашего дома есть антикварная лавочка. Называется она Ностальгия. Золото на темно-зеленом. Единственная ностальгия, известная мне в этом городе.

* * *

Дипломат был от Никиты. Мы не переговорили и минуты. «Я должен бежать, — сказал он. — Я здесь транзитом. Это вам». И он подтолкнул ко мне здоровенный чемодан. У меня не было денег пригласить посланца доброй воли на стаканчик. Но я сблефовал...

«Я правда не могу, — застегивал он плащ. — Мне надо бежать. Может быть, в другой раз. Я надеюсь, что ничего не испортилось».

«А?» — переспросил я.

«Икра, — он протягивал мне почти девичью руку, — здесь двадцать килограммов икры. Никита сказал, у вас проблемы...»

Я был Крезом! Я пер здоровенный сундук по подземным переходам и кряхтел: мне бы на такси и домой... Билет оказался негодным, пришлось, протолкнув чемодан, перепрыгивать вертушку. Я взмок, пока дотащился до дома. Кло валялась на постели, трепалась по телефону. Проигрыватель наяривал рэгги.

«Эй! — позвал я ее. — Ты когда-нибудь ела икру ложкой?»

Она пришла. В одном сапоге, словно собиралась сбежать, да передумала.

«Русский юмор?»

Я взломал чемодан — знакомые синие двухкилограммовые банки, в газету завернуты коробки кубинских сигар. Ах, Никитка... Я убрал в холодильник девять — там было пусто, а десятую поставил на стол. Открывать икру — наука. Срезал резиновую ленту, потянул крышку. После четырех столовых ложек она начала канючить. Хвала небесам, канючила она всегда по-французски, можно было не вникать....

«Я есть хочу! — это я разобрал. — У нас даже хлеба нет!..»

Мне и самому пустая икра больше не лезла в глотку. Я взял с мойки чашку, получится грамм сто, с верхом нагрузил ее икрой, прихватил куртку. Хозяин углового магазина улыбался — мы всегда шутили друг с другом, он немного знал английский.

«Махнемся?» — сказал я, протягивая ему чашку.

«*Qu'est ce que c'est ca?*» — он понюхал.

«Икра», — я гордо улыбался...

Я получил масло и хлеб, взял две бутылки мюскаде, молоко, джем и кофе на утро. Я помахал ему на прощанье:

«*Vonne soïree*, старикан...»

Дома Кло, разрезав багет, намазала маслом и выложила с полкило икры. Мы пили вино и ржали как идиоты. Чек должен был прийти послезавтра.

«А послезавтра, — сказала она с полным ртом, — суббота и всё закрыто...»

* * *

Я пытался продать икру, но русские рестораны давали такую мизерную цену, что я быстро отказался от своей идеи. Было воскресенье. По бульвару Генриха IV, полыхая золотом труб оркестра, шагом шла кавалерия. Кло жаловалась кому-то по телефону:

«В доме шаром покати. Откроешь холодильник, а там, кроме икры, — ничего!..»

Она была в свитере, Кло, и носках. Больше на ней ничего не было. Мы провели все утро и большую часть дня в постели. Ее волосы еще были влажны от пота. Она была хороша, Кло, вот если бы не строптива... Все равно возможности удержаться с ней или с кем-то еще не было.словно одна единственная Жена раскололась на тысячи кусков и в каждой из этих нынешних случайных была лишь часть, осколок. Попыткой моей собрать ее воедино, да и не попыткой, а случайным шансом, была Лидия. Теперь, когда мы были на равных, когда цветной туман мне не застилал глаза, она меня не интересовала. Не потому, что я увидел ее другою, нет! Потому, что то место, где она была, выжжено.

Я встретил за эти месяцы целую вереницу милых, взъерошенных нежных, вздорных, растерянных одиночек: исчезнувшие мужья, плохо выбранное время для развода, опустевшие враз дома, страх, что их больше не выбирают, за ними не бегают, неловкие попытки выбирать самим.

«Какого дьявола, — иногда взрывался я, — нас зажала меж ног, зажала ногами ненасытная ловушка секса?! Все проваливается в нее, все честолобивые помыслы, все мускулистые подвиги, все отчаянные, все великие мечты. Она лишь с виду податливая, робкая, нежная, дышащая, влажная. На самом деле она перетирает камни, в ее складках хрустят, лопаясь, сейфы, исчезают, всё ещё не сплющенные жизнью, таланты. Она гасит все наши порывы. Словно, если бы разрешить мужскому началу неостановимо, неослабеваемо нагнетать и нагнетать в мир свою силу, — произойдет катастрофа... Она и есть наша прижизненная тюрьма, дверь, которая всегда открыта и куда мы возвращаемся сами.»

Кло была одним из таких осколков. В редкие минуты она пыталась быть для меня целым. Но ее не хватало. Не хватало сил удержать осколки вместе. Без травы, без литра белого она могла продержаться не больше двух дней. В ней была запрограммирована неотвратимая конечная измена, как в военных спутниках — финальное саморазрушение. Я наблюдал, как накапливание, уплотнение наших мелких невзгод (деньги! деньги! и деньги!..) будило ее, заставляло пошире распахивать всегда заспанные глаза и нашаривать сквозь туман мигрени или похмелья нового любовника. На которого можно было бы положиться, с которым можно было бы отключить тикающий пульсирующий механизм тревоги.

Чтобы остаться с Кло, ее нужно было разминировать. Мне это было не по силам. Все что в России просекалось с первых двух слов, все что там было ясно о человеке уже через 10 минут знакомства, было закрытой книгой здесь, в Париже. Я не читал в местных душах. У меня не было кода. И был рад. Можно было отдохнуть от всего остального человечества.

* * *

Ближе к вечеру я позвонил знакомым американцам.

«Хелло, — сказал я, — это Тим. Как насчет шампанского с икрой?»

«Гениально, — сказала трубка, — сумасшедшие русские... Конечно!» «Отлично, — я подмигнул Кло. — В восемь? Устраивает?»

«Заметано. Что-нибудь прихватить?»

«Э-э-э-э... — протянул я, — было бы неплохо... Мясо... сыр, вино, хлеб, салат», — я выдал им полный список.

Целый месяц мы продержались на икре. Через дом прошла целая толпа журналистов, музыкантов, бездельников, фотографов, переводчиков, толкателей наркотиков, хиппарей, издателей, авторов песен про тесто, чьих-то мужей, социологов, психиатров...

Я отключал телефон, по которому наголо стриженная негрятка пыталась дозвониться в Лос-Анджелес, я заставал на кухне двух отполированных солнцем блондинов за дележом кокаина, я пытался объяснить директору свободолобивой популярной газеты, что я диссидент с семи лет, с первого класса школы, но вовсе не диссидент в смысле одноименной парижской секты, что, скорее всего, я — китаец, и объяснить ему, «что же там в конце концов происходит», за бутылкой скотча не могу.

Мне обрыдли эти идиотские, наивные и в то же время заносчивые вопросы. Столетняя дама, подруга юности Блез Сандрара, интересовалась, брать ли ей с собою двустволку-спрингфилд — она собиралась повторить транссибирское путешествие поэта. Служащий торговой фирмы с филиалом в Москве расспрашивал меня с напускным равнодушием об отношении закона в стране рабочих и крестьян к практике гомосексуальных отношений. Каждый знал слова «борщ», «на здоровье» и «я тьебя лублу». На нашей последней вечеринке было человек двести — вчетверо складывающиеся двери комнат были раскрыты, толпа танцующих отражалась в зеркалах, рок-группа, только что выпустившая диск в Лондоне, наяривала до самого утра.

В тот вечер ко мне прилип и не отклеивался невысокий рыжеватый чех из эмигрантов, неистощимое любопытство которого наводило меня на мысль о ГБ. Совсем недавно я отослал

паспорт в Москву, дал интервью нью-йоркской Таймс и Мунд, где, может быть, с излишней яростью проставил некоторые акценты. В то же время молодой человек из местной контразведки, занимавшийся моей проблемой, в более чем короткой беседе посоветовал мне не выпендриваться и вести себя тихо.

«У нас не так много возможностей защищать всех вас здесь. Мы ограничены в средствах. У нас просто не хватает сотрудников...»

Эмиграция захлебывалась в кагэбэвании, каждый не отсидевший был на подозрении, каждый не согласный с настроением группы был агент, а про одного вполне мирного, от дрызг уставшего старикана мне было сказано:

«То, что он сидел, еще ни о чем не говорит. Он слишком хорошо сидел...»

Конечно, все это работало на руку только одной конторы. Но я еще не знал насколько привольно сотрудникам этой конторы жилось в стране. У них было столько доброжелателей!

* * *

Чеха я послал в итоге куда подальше. Он улыбнулся и слинял. Но моя подозрительность, без спроса, кормилась хоть чем-то, но каждый день. То это был странный, во всех языках сразу спотыкающийся звонок. То тусклая алжирка в старом пальто с платком на голове, попавшая мне на окраине, куда я поехал знакомиться с переводчицей, мелькнувшая на обратном пути в метро и пошедшая, не скрываясь, по улице, до моего подъезда. То это было приглашение никому не известной организации выступить у них — адрес пригородной резиденции — на вечере в защиту австралийских кенгуру, лохнесского чудовища или права на самоубийство.

В Люксембургском саду, где я играл в теннис, между плохо организованным взрывом подачи и броском к сетке я успевал перехватить торчащий из воротника тяжелой шубы стопроцентно славянский взгляд, подмороженный расчетом. Помню, как один из таких, «вовремя замеченных», персонажей поднял мой вылетевший за ограду лимонный мячик и с отозвавшейся у меня горячим переплеском в загривке ухмылкой перебросил его обратно. У меня было ощущение, что я держу в левой руке злую подделку — что это все рассчитано и от моего удара пушистый комок превратится в огненный клеткот...

Я пытался найти баланс между параноидальной фантазией сбежавшего из тюрьмы мечтателя и реальным количеством в будни влитого активированного зла.

Киса, прикативший в Париж меня проведать, располневший, розовощекий, непьющий Киса подтверждал мои опасения.

«Нас пасут, приятель, и без всяких сомнений. Среди смывшихся правдами и неправдами, конечно же, есть твердый процент трансплантатов. Я думаю, что основная цель эмиграции, с советской стороны, именно упаковать свой железный процент в отбросах ненужных государству охламонов, вроде тебя. Дать им шанс вращаться в общество, занять если не ключевые места, то хотя бы прихожие сферы влияния. Война давным-давно идет; но акции размыты, замаскированы, обставлены ложными ходами для потехи общественного мнения...»

Мы сидели все в том же Люксембургском саду; дети в ожидании билета на теннис выстраивали поперек игрового поля железные стулья и перебрасывались через них. Корты были публичные, но надменные бугаи из Сената имели право резервировать время. Работали тайные привилегии: хорошие отношения с мерзнувшим в каменной будке продавцом билетов, незначительная переплата — одним словом, я видел родную советскую систему в действии.

Когда ближе к весне Киса вдруг исчез из своей нью-йоркской квартиры, я вспомнил наш короткий разговор. Он был хорошо информирован, Киса; судя по всему, он числился за военным департаментом и иллюзий не имел. Его исчезновение отозвалось удивленным эхом в нескольких газетах, но тут же затихло. Меня навестил корректный молодой человек из Вашингтона, его вопросник был составлен со скучной дотошностью, и, насколько я понял, он занимался не

розыском просвета в напрочь затемненном Кисинем деле, а последней страницей его досье. Правом поставить точку.

* * *

Мои отношения с русской колонией ограничивались случайными встречами на улице и неизбежными — в русскоязычных редакциях. К ужасу своему, я обнаружил, что страницы моей Станции Кноль продолжают обрастать плотью. Аэропорт в Бурже — не совпадал, парижские улицы — лишь частично, но дух третьей волны эмиграции, увы, был угадан. Бывшие жертвы цензуры сами становились новыми цензорами, бывшие борцы за свободу — боссами этой свободы, а проповеди о терпимости кончились мордобоем и хамством. В структуре западной русской прессы проглядывала до тошноты знакомая однопартийность, запрет и умалчивание были правилами, и было в пору начать создавать свой парижский самиздат. Тот, кто был аутсайдером в Союзе, оставался за бортом и здесь. Люди жили на политический капитал московских акций десятилетней давности. Деньги и внимание местной прессы, отсутствие потенциальной критики меняло их на корню. Мегаломания процветала. Каждый пророчил и писал свой апокалипсис, а приодевшись и обставившись, крыл гнилой запад.

Дошло до того, что кое-кто стал поругивать «...ад западного супермаркета...».

Все это было не смешно. Языков никто не учил, новости с опозданием на неделю приходили в интерпретации кривобокой, однопартийной «Парижской правды». Оправданная дома, в Союзе, асоциальность не переходила в свою противоположность. Меньшинство, бывшее когда-то подпольной элитой, в нынешнее большинство не вливалось. Все было заморожено на уровне группового постсоветского сознания. Лишь минус менялся на плюс и вместо «Атас! легавый...» шептали: «Смотри, флик...».

Самой замечательной метаморофой был переход части бывших антисоветчиков на просоветские позиции. Многие действительно лучше жили в Москве — кусок пирога, которым им затыкали рот, казался им теперь амброзией богов. Идеализм большинства, споры о месте русского народа в истории, полуночный захлеб стихами кончился вопросами — есть ли у тебя машина? В престижном ли квартале города ты живешь?

Престиж! Каждый приехавший, прежде чем снимал угол, заводил себе роскошную визитную карточку! «Аркадий М. Рататуев! борец за права.»

Унижение прошлого не смывал и ветер с океана. Спорадические издания частенько выходили под названием «Я» или «От Я до Я».

* * *

Кло уезжала. Она звала меня с собою, в Бразилию. Перевод книги был почти что закончен, последняя глава, заново переписанная, становилась первой. Нужно было прощаться с огромной, ставшей еще больше теперь, когда вещи были сложены, квартирой. Кло надеялась сделать свой миллион на кокаине. Она знала нужных людей, знала их повадки, знала, как они продают клиентов полиции получая товар назад. Это была почти беспроектная игра. Худенькая, растрепанная Кло собиралась их всех перехитрить. Я пытался отговорить ее. Семь лет тюрьмы в жарком климате засушат се, как бабочку на растяжках. Она меня не слышала. Было решено встретиться в мае, в Дакаре. Маршрут конкорда звучал как сон: Париж — Дакар — Рио...

Она катапультировалась первой. Я нашел дешевую студию на Сен-Жорж: корабельные окна, высококачественная тишина, польская консьержка. Название книги наконец вылупилось — Станция Кноль была жирно перечеркнута и строчка из Бродского «Ниоткуда с любовью» была вписана на титульный лист. Консьержка обещала поливать цветы пана писателя; веселый толстый фотограф колесом прокатился со мною через полгорода, скармливая жужжащему

никону мое смущение и мою небритость: готовилась реклама, я покончил с предварительным интервью для ведущей газеты и наконец в брюхе боинга пересек средиземноморскую лужу.

* * *

В Тель-Авиве ветровые стекла запаркованных машин были закрыты картоном: солнце било отвесно, раскаляя внутренности фордов и тойот. Город был помесью советской и американской провинции. На всем лежала серая пыль. Кассирша в магазине говорила на семи языках. Вечерами в крошечном сосновом парке прогуливались парочки и пыхтели бегуны. За узкой, чуть шире ручья, рекой, по которой беззвучно скользили байдарки, при свете раскаленно-синих прожекторов носились баскетболисты. Луна высвечивала на ночном пляже разведенные колени и стволы автоматов. Проститутка около автобусной станции была затянута в красное и называлась «пожарной машиной». В Яффе пассажиры рынка были раззеваны с наглядностью учебных пособий по кариесу. Нечищенное серебро и тусклая бронза росли из паутинистого мрака, как металлические муравейники. На базаре продавались вполне московские соленые огурцы, жирная копченая рыба и — совсем за бесценок — пахучие крепкоголовые бомбы дынь.

Кесария была пуста. Римский акведук торчал голливудской декорацией меж степью и морем. На дне той же эпохи амфитеатра, на заново вымощенной сцене квартет в пляжных костюмах наярывал Брамса. В Тиберии, на берегу Галилейского моря, сидя в рыбном ресторанчике, потягивая дрянное розовое, я рассмотрел сквозь дрожащий воздух снежный призрак высот Галана. Мальчишки ловили рыбу на пустой крючок. Официант скармливал равнодушному коту гору объедков. Катер с водным лыжником проскочил вдоль самого берега, обдав столики пресными брызгами. На станции турецкой железной дороги в раскаленной до мути Беершебе была устроена выставка японской эротической графики. В пустых залах не было ни зрителя, ни электронной защиты. Солдаты, в толпе которых я пил пиво в тот полдень, говорили по-русски с южным акцентом. Небо над пустыней было цвета солдатского хэбэ, выгоревших парусиновых палаток, ракетных батарей. Сквозь волны зноя бедуины гнали овец, женщины на ходу сучили шерсть.

* * *

Иерусалим еще цвел. Волны зноя поднимались из долин и окатывали ущелья улиц старого города. Пройдя ворота Давида — солдаты проверяли сумки и карманы — я дотронулся до прохладной шершавой стены. Беременная женщина шла на базар — вздутый живот, ослепительно белая джелоба, корзина в левой руке и узи в правой. В армянском подворье мне дали голубя с фисташками и бутылку перемороженного пива. Золотистая пыль покрывала ресторанный скатерть, лепестки цветущего миндаля, ствол танка в проулке, плечи пилигримов, соломенную шляпу американки. Я бродил на автопилоте по вымощенным римскими плитами улочкам, и перепады солнца и тени чередовались с такой интенсивностью, что кружилась голова. Здесь не нужно было во что-то верить или в чем-то сомневаться, утверждать или отрицать: на Виа-Долороса случившееся было осязаемым.

Арабские мальчишки гнались за мною, клянча деньги. Аркады рынка, ковры, шелк, золото, вентиляторы темных лавок, мятный чай, турецкий кофе, продавцы воды с узкогорлыми чайниками на перевязи, руки, тянущие тебя в дюжину узких пенальчиков, ослики, груженные цветастыми тюками, неожиданная накипь жимолости на раскрошившейся стене, толпы иностранцев, патруль, обыскивающий сжавшего зубы палестинца, пирамиды сладостей, бурлящий в цилиндрах ледяной сок, хитрый взгляд беззубого попрошайки, сверкающая глыба медной подставки чистильщика обуви — все это дробилось, поворачивалось на невидимых лопастях, было залито густым, как дикий мед, тягучим воздухом.

У Гроба Господня, куда я втиснулся за тремя монашенками, здоровенный амбал собирал доллары. Стоило труда не врезать ему по небритой роже. Верблюд поднимал седую даму на Масличную гору. По узкой дороге и я вскарабкался наверх. Серо-розовая даль была распахнута без предела. Сад скорченных маслин был огорожен высокой стеной: Гефсимания была размером с теннисный корт. У стены русского монастыря в лиловой пене тамариска гудели пчелы. Маленький седой батюшка принял меня. У него был провинциальный русский говор. Маленькие острые глаза его понаделали во мне дыр. В ушах моих стоял звон — я забывал пить воду. В храме было прохладно, спокойно.

Жара поджидала меня выходе. Я сомневался в том, что нужно было перепрыгивать в Африку. Я чувствовал неутолимый соблазн все бросить и остаться здесь, на горе, в тенистом саду над Иерусалимом. Тройка фантомов, я поднял голову, бесшумно прошла в сторону Сирии. Чуть погода грянул гром.

* * *

«Утром, когда черный слуга вкатил тележку с завтраком, между кофейником и сахарницей была вставлена открытка с видом на Страстной бульвар. Парижский адрес был перечеркнут и сбоку вписан дакарский. Открытка путешествовала три месяца. Вести с того света... Слуга налил кофе. Как всегда, на завтрак было несколько долек папайи.

«Можешь идти, Самба», — сказал он.

Окна были глухо задраены, урчал кондиционер, но все равно, мельчайшая песчаная пыль была везде. На чехле пишущей машинки, на стопке книг, на полу, спинке кровати, в простынях, на лице и во рту. Он выключил, кондиционер и толкнул раму широкого окна. Вода в бассейне была покрыта такой же розовой пленкой пыли, как и сад. За высокой стеной резиденции, за бамбуком, веерными пальмами и вездесущей, трех цветов, бугенвиллей, начинался пустырь. Посередине его картофельным клубнем торчал баобаб; вдали были видны бараки сумасшедшего дома. «Valley of Shitters» — на языке белых назывался пустырь. И сейчас он видел орлами сидящих меж колючек. Некоторые приходили парами и устраивались друг от дружки невдалеке, так, чтобы можно было переговариваться. У каждого с собою была пластиковая бутылка воды.

Он взял с трельяжа глазную капельницу, закапал по две капли — от песка глаза были мышинового воспаленного цвета. Сахара задувала всего лишь вторую неделю, но в доме все кашляли и сморкались, а Рафаэль снова стал носить роговые очки — контактные линзы в таком климате были катастрофой.

Перед ланчем он попросил шофера отвезти его в Медину, но на полпути передумал, и берегом океана они покатали прочь от Дакара, на юг, через крошечные поселки, где еще уцелели постройки старого колониального типа, где вместо такси пылили по обочинам весело раскрашенные конные двуколки, где вдоль шоссе каждый продавал что мог: тот — кокосовые орехи, этот — пару стульев, третий — малолетнюю сестру.

Бедность не вызывала в нем никаких чувств. Лачуги, составленные черт-те из чего — автомобильные покрышки, куски железа, ящики, старые рекламные щиты (американские ковбои с мальборо в зубах добрались и сюда), — в крышах не нуждались: дождя не было несколько лет. Не трогали его ни надутые животы детишек, ни попрошайки, облеплявшие машину перед каждым светофором. Это были не просто попрошайки, а армия калек: безруких, безногих, перекошенных, волочащихся, с пустыми глазницами... После них посольский кадиллак, ревниво отполированный сухим стариканом Асиньо, водившим посольскую машину в форме и фуражке, но босиком, тускнел, а стекла теряли прозрачность.

Он перестал бросать им ничего не стоящую мелочь — деньги попадали к марабу. Роскошные виллы марабу соперничали с дворцами банкиров, ближневосточных дельцов и резиденциями послов. Бедность не трогала его по простой причине — он вспоминал осеннее, залитое ледяными дождями поле, богом забытую, перекошенную деревеньку, мужика в телеге, везущего по колдобинам рожаящую бабу неизвестно куда. У мужика было надорванное испугом лицо. Русская бедность была безнадежнее, заснеженнее, отчаяннее. Сколько он видел их — провинциальных городишек, глухих от застарелого ужаса, мертвенно-пустых... Здесь же длинноногие черти таскали из моря омаров и креветок, в каждой фанерной будке с рекламой газеты *Soleil* продавался точно такой же, как в Париже, хлеб, а на рынке целая верста была заставлена ларьками с транзисторами, магнитофонами, одеждой, обувью, консервами, коврами. Обо всем этом в Москве невозможно было и мечтать. Да и за протянутую руку в Союзе давали срок, а калек и инвалидов войны Гуталин сослал на острова — с глаз долой.

Лес голых баобабов, цвета северных деревенских срубов, был слева. Океан — золотая резь в глазах — справа. Над уютной деревенькой возносилась шахматная ладья мечети. В кругу из камней на коленях стоял человек и бил поклоны, замаливая восток. Они повернули домой.

Ланч был по полному протоколу: треп ни о чем, удавка галстука, взмыленный, боящийся перепутать, с кого начинать очередное блюдо, слуга. Директор авиакомпании (эмблема: крылатые сандалии бога-воришки), заместитель министра культуры с из цельного куска эбенового дерева выточенной женой, командор французской базы и друг дома, милейший мульти-пульти-миллионер Итонской выпечки. Он был вдребезги глух — старик Ларри. Широкий шелковый бант на шее, розовое милейшее лицо старого фагота с водянистыми глазами.

«Как вы спали, мой друг?»

«Спасибо, Ларри, плохо. Барабаны — всю ночь...»

«Да? — и поправляя слуховой аппарат: — А у меня, знаете ли, такая тихая комната...»

Он спал после ланча: задраенные окна, кондиционер на полную мощность. Проснулся от воплей и, натянув плавки, слетел вниз. Самба бамбуковой тростью лупил по кусту роз: змея!

«Господин, может быть, не знает — она была самого опасного серого цвета...»

Разбежался и, вытянувшись в одну линию, врзался в воду. Десять раз от бортика до бортика. Нырнул за пятисантиметровой монетой. Промахнулся. Нырнул опять. Задыхаясь, вынырнул. Самба стоял у бортика — черный в белом кителе, с серебряным подносом в руке.

«Что ты пьешь, господин?»

«Вы» у них не существует.

«Водка-кампари...»

На закате он лежал в шезлонге на верхней террасе. Небо быстро гасло. Зеленая звезда вставала над океаном. Слуга-карлик расстилал на балконе соседа ливийца молитвенный коврик. Низко висел, выпростав шасси, зашедший на посадку боинг. Аэродром начинался сразу за пустырем. Он с трудом повернулся на отсыревших подушках шезлонга — его недавно вырвало, и теперь ослабевшее тело сотрясала крупная дрожь. По спине равномерно прокатывались крупные волны: горячая, ударяющая в виски и затылок, и ледяная, от которой взмокали ладони.

Вспыхнул свет на лестнице, и в проеме раздвинутых дверей показался Рафаэль. Он нес плед и лошадиную дозу американского хинина.

Ужинали на острове, в доме еще одного одного мульти-пульти: свечи в саду, местный оркестр, играющий в глубине зала второго этажа. Разговор о русском Берлине двадцатых годов. Экивок понятно в чью сторону. Отличное белое вино. Южный Крест где-то там наверху. Он подумал, что Южный Крест совсем не впечатляет. Куда ему, скажем, до Скорпиона или той же Кассиопеи...

Он отказался возвращаться со всеми вместе домой и на разбитом, дребезжащем такси отправился в порт. В Таверне, чуть ли не бронированная дверь, зарешеченное окно кассы, вышибала в спортивном костюме, было полутемно — красные лампы светили откуда-то из-за спинки диванов. Он заказал двойной скотч, сел в темном углу. Подошла девица. Ничего. Черна как ночь. Длинные запястья, маленькая голова. Улыбнулась. Пододвинулась ближе. Раскрыла складки бубу.

«Иди, иди! Потом... позже!»

Черное на черном. В такой тьме ничего не видно. Ушла. Теперь они будут подходить по очереди. Предлагая товар лицом. Запах мускуса и духов. Немного пота. Сигарет. Через зарешеченное окно — не бордель, а тюрьма! — доносились раскаты барабанов. Весь город трясся под их дробь... Тянуло гнилью из порта, шафраном с кухни, бочечным пивом. Хорошо после длинного дня с голубыми сидеть в борделе. Подошла белая девочка. Вместо лица — каша из краски. Тра-та-та... И тут он услышал — и его окатило ледяной водой — русскую речь.

За спиной несколько голосов считали деньги.

«Серега, — говорил один, — не жлобься. Продадим икру — получишь башли назад».

Боже! В африканском борделе на берегу океана русские ребята собирали на пару лоханок! Морячки! Он повернулся к ним. Их лица были с трудом различимы. Много скотча и дешевого вина внутри, мало света — снаружи.

«Могу одолжить», — сказал он.

В таких местах кредитных карт не принимают. Гони наличные. Он угощал. Народ прибывал.

«А ты не брешешь, что ты невозвращенец?» — спросил белобрысый, похожий на младшего брата, парень.

«Чего тебе дома не жилось?» — спросил второй.

Знакомые дела — пока они вместе, ни одного человеческого вопроса от них не услышишь: пасут друг друга. Твою мать! Они пили еще. Белобрысый, когда очередная девица раскрыла перед ним бубу, запустил ей промеж ног руку и переменившимся голосом сказал:

«Ну я пошел, ребята...» — но остался сидеть.

«Иди, хрен с тобой», — отпускал его второй.

Еще один, сидевший в самом углу дивана, молчал. Было видно лишь, как ходили его желваки. Он пил пиво, доливая в него скотч.

Драка вспыхнула как солома. Двое ребят, то ли немцы, то ли датчане, спросили, на каком языке идет разговор.

«На русском», — был ответ.

«Global trouble-makers! All fucking problems are from those Russian ass-holes...» — сказал кто-то.

Пивная кружка просвистела в угол. Белобрысый кореш летел через залу, на ходу вытаскивая морской ремень из портков. Грохнул опрокинутый стол. В баре прибавили музыку. Капля крови, совсем черная в этом свете, капнула ему на штаны. Он сидел какое-

то время, равнодушно наблюдая свалку. Русских теснили в угол. У одного из них кровь заливала лицо.

Тогда он, как ему показалось, медленно, с дурной усмешкой, вытянул из джинсов и свой пояс, так же неспешно продел его в ручку пивной кружки. Он вскочил — в ногах была подлая слабость — и, раскручивая кружку на ремне, ринулся в общую свалку. Он не рассчитал первый удар и попал скандинаву не по спине, а по голове. Сзади кто-то замахивался табуретом. Вышибала распахнул дверь настежь. Вдали уже вопили сирены полицейских машин.

Они бежали до доков, до плотной, непроницаемой тени складов. Где-то рядом, у автобусной стоянки, была колонка с водой. Но там в теплой пыли спали бродяги, а на пустых ящиках ливанцы резались в кости. Они кое-как оттерлись, отдышались. Ворота порта были совсем рядом.

«Ну, воп, — сказал он по привычке, — я пошел.

И вместо ответа получил сильный плоский удар в ухо.

* * *

Им никто больше не занимался. «Академик Северцев» был в открытом море. За эти дни он загорел больше, чем за месяц в Африке. Никто с ним не разговаривал. Капитан, чем-то похожий на отца, казался человеком вполне порядочным. Более того, было видно, что, позволь он себе забыть про порт приписки и слишком сообразительные похитители получили бы по тридцать горячих и по паре недель губы. Но все уже заливал знакомый советский сон. Все опять было заколдовано.

Безнадежность изжогой разъедала нутро. Море было спокойным. Искры солнца лениво плавились в ленивых волнах. До Гибралтара были сутки хода. Он стоял на корме, перекачивая на ладони последнюю таблетку валиума. Всегда носил с собой. Боялся, что как-нибудь откажут тормоза и начнется неподконтрольная реакция. Чушь! Бросил в воду. Оглянулся. У русских мужичков под их бесхребетностью и бесформенностью живет волчья какая-то интуиция. В этом была единственная опасность.

Бежит волна волне волной хребет... Таласа... Ломая... Перешагнув трос, подлез под поручни. Кто-то бежал по палубе. Никогда не мог проплыть больше двухсот метров. Особенно в пресной воде. На Волге ныряли с дебаркадера поплавок-ресторана. Было опасно. Стась Липицкий так и не вынырнул — ударился в сваю.

Сзади свистели. Рывкнул гудок. Прощаются. Он и не прыгнул, а шагнул. В конце концов, это и был не прыжок, а шаг».

Кил — Дакар — Париж, 1982